

K1445 272

ac

Владимир Кудрявцев

СТРАНА  
ЗАЛЕСЬЕ

МЕСТНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР



УДК 821.161.1(470.12)-3

ББК 84(2Рос-4Вол)-44

К88

Редактор А. Смолин

При оформлении книги использованы работы художников  
М. Копьёва и С. Лихачевой.

Кудрявцев, В. В.

К88        Страна Залесье: рассказы о детстве / Владимир  
Кудрявцев; [предисл., послесл. авт.; ред. А. Смолин]. –  
Вологда, 2012. – 352 с.: ил.

ISBN 978-5-91967-085-8

Читательские отклики на книгу лирических новелл о детстве «Град Китеж» вдохновили автора на новые рассказы. Вместе со старыми новеллами, которые тоже обновились и обрели «вторую жизнь», «Страна Залесье» значительно расширяет светлое, но не всегда радужное пространство детства и раздвигает горизонты счастливой и драматичной жизни деревенского мальчишки за год перед школой.

УДК 821.161.1(470.12)-3

ББК 84(2Рос-4Вол)-44

ISBN 978-5-91967-085-8

© Кудрявцев В. В., 2012

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ

# СТРАНА ЗАЛЕСЬЕ



РАССКАЗЫ и НОВЕЛЛЫ  
О ДЕТСТВЕ

ВОЛОГДА  
2012



В предисловии к первой книге новелл «Град Китеж» (Вологда, 2007) писатель Александр Грязев писал: «Удивительно, как точна в деталях память Владимира Кудрявцева, но замечательно, что помимо деталей она наполняет воспоминания романтическим отношением к эпизодам того благодатного возраста, когда человек еще только начинает осознавать себя в окружающем мире, в который он явился, чтобы жить в нём и чувствовать его». Читатели тепло приняли первую книгу прозы поэта Владимира Кудрявцева.

«Рассказы прочитала на одном дыхании от первой до последней страницы. Благодаря им, я окунулась снова в детство, полежала на русской печке, послушала, как потрескивают дрова, как отблески огня «быются на оконном стекле, шевелятся на черных щершавых боках чугунов, плещутся в ведрах и расцвечивают бабушкины щеки...» Как всё живо и родно!..» (Ольга Александрова, Вологда).

«Рассказы в их житейском драматизме («поломанные машинки», «ночной поход», сенокос) и с подробностями крестьянской жизни обжигают душу и читаются с интересом. Их хочется читать и перечитывать. Эта книга, естественно, станет одной из тех, к которым я буду возвращаться, читать и думать, радоваться и любить...» (Петр Пересыпкин, Ставрополь).

«Всё еще не могу отделаться от чувства причастности к событиям, что описаны в «Граде Китеже». Пахнуло на меня со страниц книги и деревенскими буднями, и праздниками, и скорбными днями войны...» (Иван Зародов, Чагода).

«Вся книга украшена великолепными поэтическими образами. Когда вы прочитаете книгу, то уверен, увидите мир, который нас окружает, в самых светлых и добрых тонах» (Юрий Гребенёв, Вологда).

«Прочитала «Град Китеж»... Искупалась в утренних росах, полюбовалась грозой. Спасибо! Я словно сама побывала в другой стране – чистой, прозрачной. Ощущение присутствия – абсолютно реальное» (Ксения Р., письмо из Интернета).

А вот мнение профессионального критика Андрея Смолина:

«Книга прозы Владимира Кудрявцева «Град Китеж» – это, конечно же, своеобразный постскриптум к судьбе целого по-



---

коления «крестьянских» детей середины прошлого века, а для самого автора – «книга родства», память о с в о ё м роде.

На первый взгляд, это и не проза вовсе, а очерки крестьянского быта и бытия, где нет выдуманных героев, где за каждым поворотом сюжета – конкретика самой жизни, увиденной и запомненной автором. Но парадокс в том, что «типичность» судеб и характеров как раз и возникает в этой самой конкретике, потому что так, именно так, и жили миллионы сверстников автора в «герметизме» своего селения, именно так постигали на ч а - л о мира и самой жизни.

Отметим также, что почти и не чувствуется «сделанности» самой прозы, мы даже не всегда понимаем, что за автором-рассказчиком стоит профессиональный писатель, имеющий запас слов и впечатлений, значительно отличный от ребенка-первоклассника (даже ещё и дошкольника). Доверие к такой прозе возникает полное, а это основа успеха прозы Владимира Кудрявцева.

Я, впрочем, далек от мысли, что «Град Китеж» должен бы уйти в разряд «детской» литературы, хотя, конечно, прочитать бы его должны и нынешние дети, городские в том числе. Ибо верно показана психология любого ребёнка, а все эти игры, испытания, открытия «Вовульки» — это будет понятно всем и каждому, в каких бы условиях его детство не проходило. А самое главное, это просто интересно и познавательно, т а к о й жизни уже не будет никогда в размахе и объёме русской жизни, которые были ещё в прошлом веке.

Не буду возвращаться к сюжетике рассказов «Града Ките-жа», не буду говорить о лиричности, подлинной достоверности, истинном знании автором крестьянского быта и деревни – это категории в данном случае очевидные. Скажу лишь, что «деревенская проза» получила новый образчик, в хорошем смысле этого слова, своей продукции. Даже после «Последнего поклона» Виктора Астафьева, рассказов о детстве Василия Белова, проза Владимира Кудрявцева имеет достоинством то, что она отражает судьбу совсем иного поколения русских крестьян...»

*Посвящаю моим внукам и внуchkам –  
Кириллу и Михаилу, Лидии и Полине*

## НА РОДНОМ ПЕПЕЛИЩЕ (вместо предисловия)

### 1.

Только в такой день, не летний – солнечный, а в серый – осенний, с низкими тучами и моросящим дождём, и мог я пойти на холм моего детства. А не был я на нём четверть века. И были на то свои скорбные причины.

В июне 1980 года неожиданно умер дед Михаил. Вернулся с улицы, сел на лавку у печки и уснул вечным сном, будто святой – сладко и тихо. Шел ему семьдесят четвертый год.

Я едва успел тогда на похороны: из Ленинграда поездом до Бuya, от Buя до Копцева на автобусе, а от поворотки по жаре нахлестывал пятками по шершавой и звонкой бетонке до самого кладбища. И хоть бы одна машина нагнала! Подбежал, когда уже Валюха Цветков гроб заколачивать стал. Слава Богу, успел проститься. В этот же вечер написал стихотворение:

Подожду. Закурю. Помолчу.  
Снова вечер на улице нашей.  
Будто слышу за окнами – Чу! –  
Твой надрывный удущливый кашель.

Пусть гудят провода за окном.  
Пусть, как прежде, на зорьке разбудят.  
Я не знаю, что будет потом,  
Только думаю – горше не будет.

Ты прости, что сухие глаза.  
Нет ни боли, ни страха, ни силы.



---

Ведь не смерть поразила – гроза!  
Как ни странно – гроза над могилой.

Землю будто качали, трясли.  
Гром гремел и закладывал уши.  
...Это ангелы в рай понесли  
Твою чистую русскую душу...

В июне похоронили деда, а в ноябре бабушка Анна, еще не оправившись после его смерти, возвращалась с внучкиной свадьбы из Костромы и с иващевского холма увидела над деревней клубы густого дыма и всплески жадного огня. Она сразу поняла: горит наша изба.

Пока добралась до Сумарокова, пока бежала с горы на гору по мерзлым кочкам и скользкой тропе, дом сгорел дотла. Так и осталась моя бабушка, в чем мать родила.

После пожара, приезжая на могилки стариков, смотрел я на Попово только с сумароковского холма.

И вот спустился к мосту, остановился на берегу речки, а в гору подниматься не спешу – духом собираюсь. Стою и думаю, неужели и правда последний раз я поднимался на родной холм двадцать пять лет назад?

## 2.

Накануне полистал свой дневник и прочитал запись, сделанную 25 мая 1975 года:

«Верно, нет у нас великих рек. Течёт с той стороны сумароковского холма Водыш, а с этой – Гремячка, воробью по колено. Только она не меняется и не иссякает, а так в округе много перемен. Нет уже за деревней овина, сгнил и рухнул под тяжестью снега, надломил спину. Зато в Сумарокове у телятника новый ток работает, и слышно его шум даже у нас в деревне. Нет на ферме телят, не ходит по утрам Ленко сгонять стадо. Зато в Сумарокове ближе к лесу красуется кирпичная ферма, вернее, не ферма, а целый животноводческий комплекс, и видно вечером с нашего холма его веселые огоньки. Нет в конюшне лошадей, не выгоняет их к пруду дядя Толя Осипов. Зато стоят за огородом у бани тракторы его сыновей – Виталия и Николая. Приходят из армии парни и остаются работать в совхозе.



---

Но я думаю сейчас о другом. Чтобы понять себя, надо ещё раз, повзрослев, пережить детство. Твой первый шаг приняла эта земля. Она же услышала твоё первое слово и подарила в жизни всё самое первое: солнце, дождь, хлеб...»

А вот строки, которые я написал 24 января 1973 года:

«Два дня был в Попове. Всё меньше и меньше остаётся в ней людей. Уже опустел Ленков дом и Ермиловны, а Груня и Маня живут вместе. Я жалею их. Выдали дочерей замуж, подняли внуков и вдруг остались одни. Трудно им, но жить надо. Наверно, под старость легче коротать время вдвоём, а в одиночку — страшно.

На улице почти всегда пусто. Ходят только за водой, да в поседки. Даже собаки — и те не лают, да и есть ли они в деревне? Замерла жизнь. Старики сидят в избах, а если холодно, забираются на печку и дремлют, пока не стемнеет и не придёт пора поить скотину. Потом сидят у телевизоров и пьют чай. И так изо дня в день. Утром слушают сводку о погоде и, если потеплеет, выбираются в гости, чтобы поговорить и снова успокаиваются до какого-нибудь праздника, а то и до весны.

Деревня зимой красивая. Она словно сгрудилась, чтобы согреться, но всё равно ёжится, потому что на улице морозно. Я люблю безмолвие, настороженность и терпение, с которым она переносит стужу, и боюсь, как бы ни разбудить её скрипом снега и своим дыханием...

Когда я приезжаю в Попово, мне становится грустно. Я смотрю на свой дом, как на всю свою жизнь, которая здесь начиналась и не кончается. Даже зимой мне рядом с родным домом тепло. Я ищу в окне лица стариков и, хотя не вижу их, но знаю, что они видят меня и смотрят, как я подхожу, потому что, войдя в избу, я застаю их в прихожей. Они рады. Они не плачут, потому что встречают, но всегда слезятся, когда я ухожу. Мне тоже больно оставлять их, словно я в большом долгу перед ними...»

Когда я писал эти строки, мне было всего двадцать лет. Но и тогда уже, приезжая в деревню, я не мог не видеть, особенно зимой, и не мог не чувствовать, что дни жизни родной деревни сочтены и будущего у Попова нет. И не только у Попова...

### 3.

Зимой 1974 года (26 января) я сделал такую запись:



«Сегодня ходил на лыжах в лес. В лесу чудно! Снегу – пропасть. Деревья увязли по первые сучки. Их будто воткнули в снег – глубоко-глубоко! Ощущение, будто в чаще идёт грандиозная стирка. Снег, как мыльная пена, висит, где попало, цепляется за каждую, даже самую малюсенькую веточку и набухает, распускаясь бутонами. Кусты стоят внаклонку. Гнутся. Иногда снег срывается и бесшумно скользит вниз. Ветки пружинят.

Старая лыжня. Снег валит и валит, и два желобка, словно подтаивают изнутри и синеют. Иду по лыжне и вид у меня, наверно, снежного человека, будто меня взяли и обмакнули в сугроб.

Вышел на поле. Ни следочка. От белизны в глазах всё сливаются. Иду по лыжне и покачиваюсь, как на жердочке. Поднимаю глаза и вижу заросли кустов, столбы и деревню. Небо серое-серое, чуть воспалённое у солнечного круга, больше похожего на слепую луну.

Хозяин встретил на улице. Почему хозяин? Потому что в деревне всего один жилой дом. Познакомились и разговорились. Алексею Петровичу семьдесят семь лет. До слова он охотлив. Да и как иначе, если за всю зиму живой души в деревне не бывало. Деревня, вернее, дом, стоит на островке. Вокруг лишь снег. И нет в деревню Татаринцево ни входа, ни выхода. Замурована в снегах до самой весны. Главная деревенская «магистраль» – тропинка от крыльца до колодца. Алексей как раз вышел за водой с вёдрами.

– Какой день, – говорит, – и четыре ведра принесу. А сегодня старуха полы моет. За работой-то и мне поохочее. Токо ноги болят. К вечеру насили до койки добреду. Болят ноги. Восьмой уж год, как болеть стали…

Издалека Алексей Петрович похож на мужичка из русской сказки: шапка-ушанка завязана на подбородке. Тулупчик сенного цвета, перепоясанный узким ремешком, и даже с трухой на воротнике. Бородка зайндевела. Седая-седая и аккуратная. Только-только прикрывает подбородок. Усы свисают в рот. А глаза, как два масляных семечка – не моргнут, будто в ледышки превратились.

Алексей Петрович пригласил в избу погреться. В тепле он неожиданно заплакал. Слёзы так ручьём и потекли по рыхлым щекам и, блеснув, тут же исчезали в бородке.

– Не знаешь, – спросил, – почему я часто плачу?

Я не нашелся, что ему и ответить.

— Не от жизни ли это, а? — не дождавшись ответа, сказал он.

В избе пахло старостью и навозом. В загородке нервничала овца. На печи постанивала старуха.

— Анна, там, — объяснил Алексей Петрович, задергивая занавеску. — А это жена моя — Еликанида Петровна. Ей уж восемьдесят годов. На три года меня старше, а ничего еще — на ногу легкая...

Круглица старушка с пухлыми щечками, разрумянившимися от работы, наполовину распрымила спину и застыла над полом, с удивлением рассматривая меня. На ней была старая в лохмотьях юбка. В руках она держала тряпку, словно конец подола, и черная жижница стекала прямо ей под ноги, обутые в валенки с галошами.

Сел на лавку у лежанки. В углу стол, над ним образа — черные, словно вымазанные сажей. Низко над столом висит голая лампочка. Окна запотели. Кухню от комнаты отделяет заборка, а в проёме вместо шторок висит красный матерчатый лоскут.

— Велика ли пенсия-то? — спросил.

— Пенсия-то, — ответила Еликанида, — а у дедушки восемь рублей. У меня двадцать, да сорок — у Анны.

— Хватает ли?

— А что нам — не наряжаться ведь. Вера хрипелёвская хлеб нам носит, а почту в Лучкине оставляют.

Она умолкла, и снова, хлюпая водой, заскребла половицы железной щёткой.

Анна слезла с печки и ушла наверх (дом двухэтажный). Анну зовут нянькой, потому что она нянчится с ягнёнком (ярка принесла одинца). Потолок дрожит. Слышно, как резвится ягнёнок. Наверно, он радуется няньке.

Господи, какое странное существо человек. Как нелепо всё человеческое в Еликаниде и в то же время всё в ней так естественно и просто.

Алексей сел за стол. Пепельные волосы вперемежку с седыми слиплись и топорщатся как после сна. Грубо связанный шарф из овечьей шерсти царапает ворсинками морщинистую шею.

Он читает канонник и плачет. Алексей сует под очки неловкий палец, будто хочет остановить слезы. Я посидел еще минут десять.



---

Потом взял вёдра, наносил в тару воды из колодца, расколол у крыльца уже напиленные на козлах кряжи, попрощался и встал на лыжи.

Алексей Петрович проводил меня.

— Приезжай летом, — пригласил он, — может, чем и поможешь...

— Как Бог даст...

— Вот возьми-ка на память, — подал мне книгу, — может, пригодится в жизни, а у меня такая еще есть...

Это была книга всех святых...».

И верно — пригодилась. Пришло однажды и у меня время для православных книг.

#### 4.

Сегодня от Сусанина до Сумарокова я добрался по асфальту минут за двадцать. А было время, и оно на моей памяти, когда у моста под Исаковым по весне проехать было нельзя даже с трактором. Из-за двадцати метров дороги с бездонными колеями, затянутыми густой жижей, машины делали крюк в пять-семь километров по другим холмам — через Попово, Шелки и Замятино. Не ездил бы, не поверил и сам, а ведь не раз стоял в кузове вездехода дяди Бори Яблокова, держался за деревянный, занозистый борт и дрожал от напряжения вместе с мотором до самого райцентра.

Теперь и дороги есть, а в округе, кроме Сумарокова да Ивашева, нет ни одной жилой деревни.

А у меня перед глазами изба, как живая, во всей своей красе: с балконом и чистыми окнами в наличниках с хитрой резьбой и нарядной раскраской. Я будто вижу, как стёкла, всегда бабушкой до блеска протёртые, отливают приглушенным светом отраженного неба, а в нём, как тени минувшего, качаются ветки рябины с резными листьями и тяжелыми оранжевыми гроздьями. Я даже деревья у избы пересчитываю: две рябины, кусты акации и сирени, тополь и черёмуха, а сразу за палисадом у лавки — две старые березы.

Сижу у мелкого бочага с прозрачной водой. На каменистом его дне уместилось всё мглистое небо с шерстяными тучами. Сижу, вспоминаю, думаю и никак не могу представить на месте дедовой избы зловещее пепелище.

Двадцать пять лет меня неодолимо тянуло в Попово. И вот я рядом с холмом, но, признаюсь, что и сейчас боюсь встречи с деревней, в которой нет уже ни одного жителя.

Многие лежат на кладбище у церкви. Одних дети забрали в город, там и похоронили, другие перебрались на центральную усадьбу – кто в купленные дома, но тоже старые, кто в казенные квартиры совхозных бараков. Когда я искал фотографии для книги воспоминаний отца, то обошел в Сумарокове всех однодеревенцев из Попова, кто еще был жив.

## 5.

Помню неуют и какое-то жалкое сиротство в тесной квартирке у Толи Куликова.

В Попове-то у Куликовых была своя изба – не казенная. Мы ходили к ним зимой в поседки, когда они жили у пруда, наискосок от нашего дома. Но когда Аньоха Васильева в Мурманск уехала, то Куликовы перебрались в её дом и стали жить через две избы (братьев Цветковых – Александра и Бориса) от нас.

В избе у Надёнки всегда было чисто прибрано. Случись у кого гость на порог, а налить нечего, бежали за поллитровкой к Наде. Она без запаса не жила. Родителей её – Александра Ивановича и Анну Ивановну – я не застал. Знаю, что два её старших брата погибли на войне. Мужа её тоже не помню. С ней, кроме сына, в старой избе жила еще Анфиса – больная сестра.

Толя – сын так и не женился, так и прожил всю жизнь холостяком. Потому, может, Надя так сильно любила Груниного внука – Вальку Конькова. Ему всё своё не растроченное тепло и отдавала. Нянчилась с ним, как с родным, и баловала его. Порой и одежду на него справляла. А ведь был сын её Толя таким видным парнем и завидным женихом. Я гордился, что он живет в моей деревне. Учился Толя одно время в Буе на машиниста, да видно не по душе ему пришлась городская жизнь: поездил он, поездил по железным дорогам, да и вернулся по родному разъезженному просёлку домой к маме Наде. С ней они тихо-мирно и коротали свой век, и друг без друга жизни не мыслили.

Толя, похоронив мать, недолго без неё и пожил. Привычный, годами отлаженный быт разом обвалился, не стало лада ни в жизни, ни в душе. Без мамы он жить не умел и никак не мог привыкнуть к холодному и пустому одиночеству...



## 6.

Нашел и новое жильё Цветковых – Валентина и Лидии.

Именно жильё, потому что настоящий дом у них тоже стоял в Попове, ладный дом, срубленный дядей Валей с братьями не на одну жизнь, а тётей Лидой, как гнездышко, душевно увитый и с любовью украшенный. Мне порой казалось, что в нем так чисто выкрашено и вымыто, выстирано, накрахмалено и выглажено, что всё – от печки и до пола, от шторок дверных до занавесок источало свет, который в ненастную погоду пробивался сквозь стекла на улицу и тихо с матовой теплотой мерцал у смиренных окошек.

В Сумарокове они купили дом на хуторе. Я уж и забыл, кто в нём раньше жил. Увидев меня в проёме дверей, тётя Лида, помню, обрадовалась и как-то виновато заулыбалась, будто извиняясь за домашнее неустройство и даже за старость, так неожиданно подкравшуюся к ней и мужу. Дочка Гаяля с мужем живут в Костроме. Детей им Бог не дал, а значит, и они остались без внуков.

Дядя Саша лежал в комнате на кровати, прикрытый свалившимся одеялом на вате. В ногах у него сидела кошка. Она, мирно дремавшая, только и напоминала о былом уюте и сытости. На мосту и в доме стоял стылый запах отсыревшей пыли и кислый дух увядших цветов, обвисших по краям потухшей хрустальной вазы. На столе валялась развернутая районная газета, а на ней сверху лежали подслеповатые очки с дужкой, заклеенной белым пластырем

Дядя Саша хотел привстать, но смог приподняться только на локти, отчего на шее у него от напряжения вздулись жилы. На глазах студенисто проступили слёзы, а губы задрожали, выдавая помимо его воли всю беспомощность могучего некогда организма.

Господи, да те ли это люди, которых я знал!

– Вот до чего дожили, Вовонька, – стояла в дверях тётя Лида, не зная, что делать и как встречать нежданного гостя. – Ни улыбнуться, ни слова не сказать. Ты-то как, радость моя? Всё ли, слава Богу?

Мы разговаривали, не слыша друг друга, а меня не покидало чувство, что я здесь лишний, чужой и пришел не ко времени.



---

Им было ещё больнее, потому что я увидел то, чего бы видеть не должен. Им тоже хотелось оставаться в моей памяти в том прежнем образе красивых и сильных людей, какими я их однажды и навсегда оставил...

## 7.

Потом с отцом зашли к брату Валентина – Александру Васильевичу Цветкову, для меня – дяде Саше. По деревне мы – соседи. Когда разобрали на дрова дом, стоявший между нашими избами, то образовался широкий и ничейный заулок, заросший ближе к задворкам травой, лопухами и крапивой.

У Василия Николаевича и Марии Ивановны Цветковых было семеро детей. И только двое (Валентин и Александр) остались в деревне, а остальные, не знаю, где теперь и живут, да и живы ли? Борис с женой Валентиной по примеру других купили часть дома в Костроме за Волгой (у них была дочка Лена – года на три моложе меня, и сын Коля). Туда же увёз любимый зять Марьян и дочку их Файну (она работала на железной дороге). Толя затерялся где-то в Сибири, вроде в Бийске, а куда судьба забросила Николая и Виталия (с Валентином они – двойняшки), я не ведаю и до сих пор.

Я не забыл, как дружной семейной артелью Валентин, Борис и Александр и приезжавшие в гости братья на месте старой отцовской избы поднимали из могучих брёвен новую – самую большую в деревне. В ней дядя Саша жил с матерью, а потом привел из-за леса и молодую хозяйку – красавицу Софью Андреевну.

Дядя Саша всю жизнь плотничал, а жена его работала в совхозе агрономом. Мужики её побаивались, но уважали и за глаза называли «Соней-барыней». Такой она и была – домовитой и строгой, потому и дом у неё всегда, даже в худые времена, был полной чашей.

Двоих сыновей подняли, теперь на внуков не нарадуются, коротают старость на пару и чувствуют себя в ней уверенно, принимая жизнь такой, какая она есть – с неизбежными болезнями и ежедневными таблетками. Но старость для них – не бремя, а дар Божий, потому и возраст свой несут они красиво и с достоинством и не жалуются на свою чувствительность к переменам погоды.



Вспоминают, конечно, о Попове и о доме, из которого бы никогда не уехали, если бы деревня не обезлюдела. Не без грусти жалеют, что жизнь оказалась такой короткой и быстротечной. Они и оглянуться не успели, как она, подобно солнцу, обогнула за день небосвод и на короткий час зависла над горизонтом отгорающим закатным заревом.

Мы долго листали их семейные альбомы, аккуратно оформленные Софьей Андреевной. В них много цветных фотографий, но очень мало «карточек» черно-белых из той далёкой поры, когда все они были молодыми. И всё же десятка полтора снимков с их разрешения мы с отцом взяли с собой...

## 8.

У дяди Толи Осипова (Анатолия Дмитриевича) успел побывать незадолго до его смерти. Тетя Маня умерла раньше. Мне не удалось проститься с ней. Она из рода Цветковых – Николая Михайловича и Ефросиньи Григорьевны.

Ефросинья – Колькина бабушка. Я хорошо её помню, грузную, с красным лицом и редкими седыми волосами. Она с трудом передвигалась, шаркая валенками по полу, неделями не мётёному, и сбивала на них тканые половики, давно потерявшие свой радужный цвет. Летом ворчливая бабушка обычно сидела в полудрёме на светлой терраске, лениво отгоняя мух, а зимой – тяжело с бульканьем в горле дышала, скрытая в сумерках тесного закутка избы. Колькина мать, Марья Nikolaevna, к старости стала похожа на неё.

Друг детства, Колька Осипов, после армии сошелся с какой-то женщиной, работавшей в Сумарокове, и уехал на её родину под Кострому. Там и погиб трагически в июньский день, когда по ивановской и костромской земле пронёсся страшный урагансмерчь, каких никогда прежде и не бывало. Мы в то утро, жаркое и светлое, ограбили в огороде картошку. Не забыть, как по гумну бежала к нам тетя Маня, зная, что я в деревне, и по-babы пронзительно голосила:

– Коля-я-я-я!..

Это была страшная и тяжелая минута для меня. В жизни я никого из друзей еще не терял. У брата его, Вити, квартира в Костроме, там и семья, а сам он после смерти отца поселился в его доме и стал заниматься частным извозом.



---

Был тихий без солнца осенний вечер, когда я постучался в осиповскую половину казенного двухквартирного дома. Никто не отзывался. Толкаю рукой упористую дверь, она с шипением и скрипом подаётся, переступаю порог и сказываюсь:

— Есть кто живой?

Сначала слышу у печки скрип половицы, а потом вижу фуфаченную спину дяди Толи, сгорбившегося над ведром. Он медленно и нехотя повернул голову, прикрытую желтой тряпичной кепкой, чуть прищурился, посмотрел на меня, как на пустое место, и снова отвернулся, погрузившись в дело.

Может, не узнал? Пригибаюсь, чтобы не шаркать головой о полати, и осторожно прохожу на кухню. Дядя Толя дело не оставляет.

— Один, — спрашиваю.

— Матка умерла, — отвечает, а голос у него такой, будто мы с ним уже полдня в беседе.

— А Витя-то часто приезжает?

— Недавно уехал...

Мне так хотелось о многом его расспросить, просто посидеть с ним за столом, поговорить и повспоминать, взглянуться в старые фотографии. Я на всякий случай прихватил с собой бутылочку винца и коробку конфет.

Но чувствую, ему я в тягость. Он так и разговаривал со мной, не разгибаясь и даже не поворачивая головы в мою сторону. Мял в кулаках картошку и хлеб, пошмыгивал носом. Резал яблоки и брюкву. Разливал воду и, не спеша, размешивал ковшом приготовленное пойло.

— Кого держишь?

— Поросёнка...

Оглядываю крохотную кухонку. Смотрю и удивляюсь: чего только в ней нет — в углу за тарой свалены ухваты, на переборке покосился и едва держится посудник, заставленный банками, тёрками и чашками, на шестке и на полу теснятся чугуны, тазы и вёдра, на заваленном столе ютится самовар, а на краю — тарелка с остатками щей.

Запах стоит такой же, как в детстве, когда бабушка Анна обряжала скотину.

— Ну, я пойду, — говорю, — кланяйся Вите...



Дядя Толя не отвечает. Оставляю ему сетку с подарками и ухожу. На сердце разные чувства – и грустные, и светлые одновременно. Вспоминаю его глаза, уставшие от света и жизни. Это была наша последняя встреча...

## 9.

Толю Конькова встретил на центральной улице села.

Вот уж не думал, что он еще ходит по земле. Толя жил так широко, рисково и разгульно, что, казалось, своей смертью он не умрёт. Ах, нет – скрипит курилка и даже улыбка на лице всё та же – с хитринкой, а в глазах, потерявших цвет, по-прежнему искрит охальное озорство и молодецкая удаль. Были бы зубы, так хоть сейчас на беседу.

Сам Толя из Стуглева – это жаровская сторона, а в жены взял нашу поповскую Валентину – дочку тёти Груни. Не сразу, но однажды он привёз жену и троих детей на житьё к тёще.

Жили они в старом большом доме, что стоял как раз посреди деревни, но на другом порядке – у пруда с карасями и пиявками. По весне под его окнами кипела белая сирень, и пенистый цвет её плескался через палисадник, а воздух в заулке, напоённый сладким ароматом, пьянил и кружил голову!

Не знаю, кто избуставил, и сколько было ей лет, а до них в нём жила бабка Евгения, жена родного брата деда Михаила – Дмитрия Семёновича, погибшего на войне. Для кукол её внучки Наташки я катал крохотные валенки.

Толя уже похоронил тёщу и жену, дети живут отдельно, а сам он скрипит и к врачам не бегает. И в этот раз шёл из леса с корзинкой, а на дне её – шуршали орехи в жесткой с рюшками зеленою оправе. Раньше мы собирали их в телятнике, так назывался близкий лес у бывшей деревни Теляково. Теперь уже и в Телякове стоят избы и казенные дома.

– Где брал? – спрашиваю.

– А там, где и вы, сорванцы, – отшучивается он. – Не забыл, куда курить-то в детстве бегали? – смеётся Толя, прикрывая языком желтый зуб, и придирчиво рентгеновскими глазками оглядывает меня, будто хочет найти во мне какой-нибудь изъян.

– Не рано ли поседел-то, – язвит, не отводя лукавых глаз, – или жизнь потрепала?

– Всякое, – отвечаю, – было, а тебе, вижу, всё нипочем...



Толя всю жизнь работал на гусеничном тракторе. И каким бы он, порой, пьяным ни был, трактор, как верная и умная лошадь, всегда доставлял его на задворки дома. И только в деревне, уже заглушив мотор и погасив фары, Толя выпадал из кабины и с помощью жены, урча и ругаясь, долго поднимался по крутым и скрипучим ступеням крыльца.

От его замасленной фуфайки, кажется, и сейчас еще пахло соляркой, а на щеках темнели зарубцевавшиеся оспины от ожогов.

Даже в набухшие поры глубоко въелась чернильная пыль от тракторных выхлопов.

Он, как в песне, каким был, таким и остался – бодрым и не унывающим. Может, потому до сих пор и жив...

## 10.

Однажды видел Гланю Мошкову в магазине Али Розой, вернее, её мужа, Виктора Михайловича Марфунина, тогда директора Дома инвалидов. Она, как застывшая тень, сидела на низком подоконнике в черных с головы до ног одеждах. Кожа на лице тонкая и серая, как плёнка в стоячей воде. Глаза сухие, будто присыпаны пеплом, а взгляд тихий с холодной искоркой поверху, которая, дунь ветерок, и тут же погаснет.

Семьи у Глаши не было. Иногда прибивались к ней странные, такие же горемычные, как и сама она, люди из чужих краёв, те, что кочуют по русской земле, как перекати-поле и редко где надолго задерживаются. Нынче много таких переселенцев. Работала Глаша санитаркой в инвалидном доме.

В Попове Гланя жила с матерью Марией Ивановной. Изба их стояла у пруда на Колькином порядке. Отца её – Евгения Сергеевича я не застал. Ни разу не видел Глашину сестру Валю и двух братьев – Ленка и Сашу. Они сразу после школы уехали в Мурманск.

Глашкина мать держала в деревне гусей. Мы их боялись, серьх и важных, и никогда не заходили к Мошковым в заулок. Гуси плавали в пруду, ловили лягушек и мирно щипали на берегу травку. Мы, конечно, дразнили их и с криком разбегались, когда гуси начинали по-змеиному гибко и хищно водить над землей упругими шеями, чтобы с силным и злым гиканьем броситься вслед за нами, норовя прихватить красным клювом



за пятку или долбануть им по ноге. Бывало, и мне от них доставалось.

Даже не помню, приезжали к ним гости или нет. И нас в избу Гланька заводила редко и только тогда, когда мать её была на работе...

В магазине мы с Гланей даже словом не перемолвились. Может, она не узнала меня, а может, просто не захотела признаться, но после этой встречи долго во мне саднило чувство неосознанной вины перед ней. Кто мог знать тогда, в детстве, как сложатся на земле наши судьбы, хотя взрослые, наверно, наблюдая за нами, уже догадывались, кому какая на ней выпадет доля...

## 11.

Не готовил бы книгу воспоминаний отца, не искал бы для неё фотографии прежних лет, то и с ними бы, однодеревенцами, кого застал в здравии-здравии, никогда в жизни не встретился, как не успел встретиться со многими другими, которых уже давно нет в живых.

Думал ли, что Тамару Мошкову (сужу по записи в дневнике) последний раз увижу в Попове 30 января 1974 года. Тогда я учился на третьем курсе Ленинградского университета и был в деревне на каникулах после зимней сессии. Она тоже приезжала из Костромы навестить бабушку Маню. У Ермиловны тогда жила и Груния, которую зять Толя Коньков выгнал из дома. Больше я Тамару никогда в жизни не видел. От людей узнал, что умерли не только её родители – тётя Зоя и дядя Паша, вернувшийся из тюрьмы, но и самой-то её давно нет на белом свете...

Один раз, будучи уже студентом, встретился с Валей Каюровой. Она тоже родом из Попова.

Её дом, стоявший внизу деревни рядом с Колькиным, сгорел, когда мы еще не ходили в школу. Тогда я первый раз в жизни видел пожар. Погорельцам – Василию Григорьевичу и Глафире Сергеевне, её родителям, – дали жильё в Сумарокове.

После школы Валя уехала в Кострому и работала продавщицей в магазине. Коле Осипову она нравилась, но он от природы был робкий и скромный. Когда пришел из армии, мы с ним ездили к ней.



---

У прилавка, пока не было покупателей, только и поговорили. У неё наш приезд большой радости не вызвал.

Я втайне надеялся, что они поженятся, но что-то у них не получилось. Коля сошелся с другой и погиб, а как сложилась судьба Вали – не знаю. Уже тогда, в середине семидесятых, переехала из обезлюдевших Шелков в Попово Маня Нечаева. Дом её, похожий на баньку, поставил на задворках своей избы Алексей Семичев. Ночевала она в ней редко, чаще жила у зятя Азора в Сумарокове, но занавески на окошке висели.

А с Леной Семичевой увиделся – аж! – через тридцать восемь лет в июне 2009-го в Сумарокове на встрече выпускников школы разных лет.

Родители её – дядя Лёша и тетя Аля (оба умерли) – из новой избы, срубленной уже на моей памяти, переехали в Сусанино на улицу Крупской.

Помню живую избу, где по весне на ступеньках крыльца я тайком оставлял для Ленки букет первых подснежников, собранных в овраге у Гремячки. Помню и пустой дом, когда с друзьями-студентами из Ленинграда и Москвы, приехавшими в деревню на мой день рождения, танцевали в стылой комнате без света, но под патефон. Не видел я с тех пор ни брата её – Сережу, ни сестру Нину.

И вот что удивительно: в 60-е годы, кроме деда, срубыли новые дома братья Цветковы (Валентин и Саша), Алексей Семичев и даже дядя Толя Осипов. Строились мужики всерьёз и надолго. Никаких других мыслей не было. Никто тогда и подумать не мог, что через четверть века на холме не останется ни одного дома.

Какая же она жестокая и безжалостная – правда жизни русской деревни конца двадцатого века!

## 12.

Не знаю, сколько лет пролежали в моём дневнике девять мелко исписанных листков писчей бумаги. Не было мне до них дела. А недавно разобрал их и несказанно обрадовался. На листках сохранились бесценные для меня записи.

Хватило же ума, хоть и молод был, а усадил однажды деда с бабушкой за стол и дотошно расспросил обо всех жителях Попова, кого они знали и помнили.



На моей памяти в деревне было шестнадцать жилых домов. Еще раз пересчитал их по памяти на обоих порядках. При мне же в разное время разобрали четыре дома, а кто в них жил, не помню. В двух избах я даже ни разу не бывал. На их месте выросли лопухи и крапива.

Дед не говорил мне о своих родителях. С нами жила его мать, пока не умерла, – слепая Анна, моя прабабушка, но у меня к ней не было никаких чувств, кроме страха. Оказывается, два его брата жили в Попове, а сестра – в Соломинине.

У Дмитрия Семёновича и Евгении Кузьминичны Соколовых было трое детей, но все они разъехались по разным городам. Валентин – на Украину, Лидия – в Кострому, Анна – в Калинград.

У Захара Семёновича и Екатерины Николаевны Соколовых семья была еще больше – шестеро детей: Леонид погиб на войне, Катя, Галя, Нина, Марья, Валентина и Руфина одна за другой перебрались в Ленинград. Тогда это было обычным делом.

Екатерина Семёновна, сестра, жила в Соломинине, и мы на Покров ходили к ней в гости. У её мужа (он потерял на войне обе ноги) была единственная на всю нашу округу собственная машина с ручным управлением. Она стояла в деревянном гараже, маленькая, как божья коровка, только не красная, а бледно-зелёная. Он получил её как инвалид войны и не раз катал нас по деревне с его рыжим внуком Вовкой.

У Вовки старший брат был дурачок – один на три деревни. Я побаивался его, когда он подходил, брызгал слюной, пытаясь что-то сказать, и размахивал руками, будто его изнутри ломала нестерпимая боль. Но вообще-то Толька был добрый и безобидный, если его не злили и не обижали. Потом он неожиданно умер, и никто о нём уже не вспоминал. Дед Михаил однажды так и сказал: «Нет, Толька не жилец...». Сказал, как в воду глядел, а мне Тольку было жалко...

Братьев деда и детей их я никогда не видел, а бабку Катю последний раз навестил 24 января 1973 года. В дневнике о нашей встрече осталась такая запись:

«Сегодня был в Соломинине у бабки Кати. Она усадила меня за стол и собрала скромный завтрак. Мы с ней выпили. Она всегда угожает и, гораздая до разговоров, выкладывает все новости о жизни сельчан. И немножко о себе. Ей уже восемьдесят лет, но она еще бодренькая, читает книги и всё помнит. Живет

одна на самом краю деревни и не боится. Есть еще силы в руках и ногах. Топит печку, ходит в поседки, любит винцо.

Поблагодарила, что зашел – не забыл. А я рад, понимаю, как одиноко бывает ей у окошка (внук в Костроме, приезжает редко), когда ничего не слышно, кроме гудения проводов и завываний ветра...»

Соколовы – это моя родовая.

В соседях у нас всегда были Цветковы.

У Василия Николаевича (его я не застал) и Марии Ивановны было семеро детей: Борис, двойняшки – Валя и Витя, Саша, Фая (в Костроме), Коля (в Бийске) и Анатолий.

Александр Васильевич с Софьей Андреевной, Борис Васильевич с Валентиной Васильевной (позже переехали в Кострому) и Валентин Васильевич с Лидией Павловной в годы моего детства жили в Попове. Я их хорошо помню. Видел, но редко, и других детей Марии Васиной (так её по мужу звали в деревне), когда они приезжали к матери в отпуск или на какой праздник – престольный или государственный.

Семья Василия Михайловича и Марии Зиновьевны Цветковых (оба умерли до войны) тоже была многодетная: Саша Цветков жил в Сумарокове, Ленко в Мурманске, Толя в Соломинине. Дочки Фая и Александра уехали в Мурманск.

У Николая Михайловича и Ефросиньи Григорьевны (дедушка и бабушка Кольки Осипова) Цветковых было трое детей: Василий, Сергей (в Караваеве) и Марья (мать Кольки Осипова).

А Смирновых в Попове жило восемь семей.

Из них я знал Анну Васильевну - жену Сергея Александровича Смирнова, до войны он был председателем колхоза «Правда», в который входили всего две деревни – Попово и Соломинино. Анна Васильевна долго жила одна, а потом уехала в Мурманск, а в её дом вселились Куликовы.

Из рода Смирновых и тётя Маня (Ермиловна) – бабушка Тамары Мошковой. Она была дочерью Ермила Никифоровича и Екатерины Никоноровны. У неё было еще две сестры – Ольга (упала с машины и погибла), Наталья вышла замуж и уехала в Поназырево, а брат Дмитрий погиб на войне.

Из большой семьи Сергея Ивановича и Александры Васильевны Смирновых (оба умерли до войны) я знал только Глафиру – мать Вали Каюровой. Всего же у них было пятеро детей. Александра, Серафима и Людмила перебрались в Королятину,



---

а Николай уехал в Мурманск. Все они, наверно, приезжали и не раз в гости к Каюровым, но я не видел их, а если и видел, то не запомнил.

Из четверых детей Александра Ивановича и Анны Ивановны Смирновых я хорошо знал только Надю (Надёнку Куликову). Два их брата, Михаил и Павел, погибли на войне. Узнал от деда Михаила, но никогда не видел Дмитрия Романовича и Марью Константиновну Смирновых. Не застал в деревне и детей их – Николая и Катю. Они обосновались в Калининграде.

До моего рождения оставили Попово и два его брата. Дети Александра Романовича и Александры Петровны – Сергей, Надя и Алексей – перебрались в Ленинград, а у Василия Романовича и Анны Михайловны дочери – Фаина и Галя – устроились в Москве, а сын Александр уехал в Мурманск.

Не застал я в Попове и семью Павла Никифоровича и Марии Васильевны Смирновых. Один их сын, Александр, поселился в Русакове, другой, Сергей, погиб на войне.

Из Мошковых, а их в Попове жило в разное время четыре семьи, я хорошо знал только дядю Пашу (отца Тамары Мошковой). Кроме него, у Дмитрия Павловича и Марии Ермиловны были еще две дочери – Анна и Валя. Обе жили в Сумарокове, но я почему-то не запомнил их.

Жили в Попове еще три брата Мошковых – Сергей, Павел и Михаил.

Михаил Арсентьевич и Екатерина Андреевна умерли до войны. Детей у них не было.

До войны похоронили и Павла Арсентьевича с Евдокией Никитичной. Из их родовой я знал тёту Груню, а её брат Дмитрий женился на Марье Ермиловне (значит, он был дедом Тамары Мошковой), но я его не помню, как не знал и Василия с Анной. Все они, кроме Груни, рано умерли.

У Сергея Арсентьевича и Антонины Дмитриевны старший сын Евгений умер в войну, а дочери разъехались в разные края: Лиза – в Мурманск, Валя – в Пензу, а Саша жила в деревне Пундово Галического района. Их дом стоял там, как я понял, где потом был разбит сад Валентина Цветкова.

Четверо детей было и у Евгения Сергеевича и Марии Ивановны Мошковых. Где жила Глафира, старшая дочь, не знаю, а Ленко, Саша и Валентина обосновались в Мурманске.



Из двух сыновей Василия Перфильевича и Анны Ивановны Семичевых я знал дядю Лёшу (отца Лены), а Сергей у них умер.

Приезжали временно на житьё в Попово и другие семьи. Одна даже была из Белоруссии. Как и при каких обстоятельствах появились у нас Александр Александрович и Ульяна Кузьминична Новолоцкие, сказать не могу. В моих записях нет о них никаких пометок.

Внизу деревни в доме под берёзой жила одно время семья Владимира Лукьяновича и Селектии Игнатьевны Кожевниковых. Их я не помню, а вот Корзинкины и Голубковы вселялись в эту маленькую избу уже на моем веку. С Людой Голубковой мы даже учились в одном классе. Недавно узнал, что она умерла.

Внизу же, где дорога выходит из деревни и поворачивает в обход оврага, в избе под клёном жили Алексей Васильевич и Евдокия Яковлевна Орловы. Они, по словам деда, умерли до войны, а детей у них не было.

Жила в Попове до моего появления на свет и большая семья Серебровых. У Василия Александровича и Екатерины Алексеевны было пятеро детей, и все они – Вера, Анна, Олимпиада, Мария и Николай уехали в Мурманск.

Против имени Николай пометил, что он был ровесник деду и погиб, бросившись под поезд.

В Мурманск уехали из деревни Владимир и Людмила Зверевы. Где и как долго они жили в деревне – не знаю. Про их детей дед тоже ничего не сказал.

Записана у меня еще семья Яковлевых. У Василия Яковлевича и Александры Григорьевны было двое детей: Гая и Людмилы. О них у меня нет никаких данных.

### 13.

На этом записи мои заканчиваются. Жаль, что в них так мало подробностей. Но уж и то хорошо, что я их однажды сделал и сохранил, иначе бы все мои земляки канули для нас в Лету.

Перечитываю их снова и в который раз расставляю деревенские избы по своим местам: и те, что сгорели или сгнили еще до меня, и те, что раскатили на дрова уже на моих глазах. Расставляю под берёзами и клёнами, тополями и рябинами по



обоим порядкам вверху и внизу деревни и мысленно заселяю их людьми, которые в них когда-то жили.

Кого-то я застал и смутно помню, кого-то никогда не видел, но для всех, родившихся здесь, деревня была такой же родной, как и для меня.

Посчитал, сколько же было детей в семьях, живших в Попове до и после войны, и ахнул – более семидесяти. Все они родились в Попове, иначе бы дед с бабушкой не вспомнили их. Допускаю, что они кого-то могли забыть, кого-то не так назвать, кого-то с кем-то перепутать, но, уверен, в основном вспомнили они всех правильно и главное – поименно.

Это они, жившие до нас, набивали в округе тропы и расчищали под сенокос делянки, распахивали поля и выкапывали пруды, строили силосные ямы и наводили через реку лавы, поддерживали родник и опускали сруб в колодец, строили овины, рубили склад для зерна и амбары под соломенной крышей, возводили конюшню и ферму для телят.

Даже странно, почему же к началу шестидесятых годов в Попове остались только два мальчишки – я да Колька Осипов, а с нами еще три девчонки – Гланя Мошкова, Тамара Мошкова и Лена Семичева. Это потом у нас с Колей появилось по брату – Слава и Витя, у Лены – сестра Нина и брат Сергей, это потом родились Гая, Лена и Коля Цветковы, Валя Каюрова. Но и с ними вместе наша деревенская ватага даже в лучшие годы не насчитывала больше пятнадцати человек.

Теперь-то я знаю, что мои многочисленные земляки, а теперь уже их потомки, жили и живут в Ленинграде и Мурманске, Москве и Пензе, в Костроме и Бийске, на Украине и Калининграде, не говоря уж о родной округе и районах Костромской области.

Боюсь, мало кто из них помнит, откуда были родом их деды и прадеды, но для меня лично очень важно, что через Попово я по рождению связан с сотнями, а может, и тысячами людей, разбросанных трагическим двадцатым веком по России и по ближнему зарубежью, а может, уже и по дальнему.

А с другой стороны, должны бы дети приезжать на родительские могилки, должны бы, по моему разумению, и внуков с собой привозить, чтобы показать им родимый холм?

Пишу и верю, что книга моя дойдет однажды через дальних родственников и знакомых, живущих еще в нашей сумароковской стороне, до тех, чья родовая берёт истоки на поповском

холме, срединном и корневом. Справа от него – на пологом холме Шелки, а слева на таком же низком – Соломинино.

Так хочется, чтобы мы в этом мире знали и даже по-родственному чувствовали друг друга и хранили память о нашем общем на земле доме. Может, настанет день, когда мы встретимся на безымянном уже холме и поставим на нем памятный крест в память обо всех, кто на нём когда-либо жил и трудился?

Я верю, что это однажды случится и случится еще в нашей жизни...

## 14.

Вот с такими мыслями сидел я на берегу Гремячки, пересчитывал на дне серые камешки, окинутые мелкой сырью воздушных шариков, и настраивал душу на встречу с деревней и детством.

И, кажется, сегодня мне предстояло не просто взойти на холм (сколько раз в жизни я поднимался и взбегал на него), нет, у меня было такое чувство, что я внутренне готовлюсь к трудному восхождению на крутую и незнакомую мне гору.

Тучи надо мной клокотали и ходили черными кругами, как старые обтрёпанные половики в дедовом банном кotle. На мысовке шумели сосны – мирно и глухо. Они вздыхали и словно задерживали дыханье. Всё было, как вчера, когда мы с Колькой подбегали к краю оврага и смотрели сквозь облетевшие кроны ольшаника, как у подножья холма поблескивает, огибая черные камни, чистая ключевая вода, испятнанная желтыми и красными листьями.

Сосны шумели так знакомо, будто и не было тех лет, которые я прожил вдали от них.

Поднимаюсь не по тропе, что прежде бежала вдоль оврага, её давно заглушила огрубевшая трава, а выхожу на укатанную тракторами дорогу. По ней ездят в делянки за сеном-древами и ходят из Сумарокова за ягодами-грибами.

Раньше дорога пролегала рядом с тропой, но с годами, когда вода вымывала глубокие колеи, она постепенно отодвигалась к полю, а нынче из-под моста дорога уже с разбега вбегает в бугор и поднимается вверх, отхватив от пашни еще метра три земли.



Прежние дороги покоятся рядом, как русла высохших рек. Они заросли травой и клочастым кустарником, но и в них легко угадываются колеи, превратившиеся в широкие канавы и маленькие овражки.

Теперь и не найти уже, на какой из дорог я однажды летел через руль велосипеда. Как и жив остался – мог бы и руки переломать, но легко отделался – шишкой на голове да ссадинами на локтях и коленках. Колька ехал за мной и потому успел во время затормозить. И где было знать, что дорога, не раз нами проверенная, оказалась вдруг в одном месте перепахана. Нарочно, нет ли? – не скажу, но трактор, разворачиваясь на кромке поля, зацепил её лемехом плуга. Поднятая земля подсохла и приняла цвет дорожной пыли. Попробуй, разгляди её сверху...

У меня есть снимок (см. стр.350), сделанный ещё в школьные годы фотоаппаратом «Смена». На фотографии, хоть и в дымке, хорошо видна поповская гора, только-только освободившаяся от снега, вся изрытая гусеницами тракторов, исполосованная колёсами машин и стянутая глиняными узлами по серому дёрну.

А сейчас я иду по сухой дороге, как по звонкой тропке. Иду с одышкой и на бзветрие чувствую, будто сила какая недобрая упирается мне в грудь, пытаясь преградить путь на гору.

Ищу межу, по которой, голося на всю округу, бежала Надя Куликова в день убийства Анны чубыкинской. Ищу межу, выглядываю и не нахожу. Её давно перепахали. Теперь она здесь никому не нужна. А ведь это была не просто межа, разделяющая два поля, на ней лежала тропка, соединявшая деревни. И ничего, что в Чубыкине тогда стоял всего один дом. Ведь и эта деревня была когда-то многолюдной. Потому люди и не трогали межу, берегли её, чтобы в случае чего могли быстро перебежать с одного холма на другой.

Мы с Колькой не раз бегали по межевой тропинке, не такой, конечно, звонкой, как другие, но тоже настоящей, но добегали по ней только до первых ольховых кустов, где тропка подныривала под высокую траву и скрывалась в глухом овраге.

Но прежней межи нет. По левую руку – сжатое поле с потухшей соломой в копнах, осевших под дождём (в детстве мы с Колькой устраивали в них норы и прятались друг от друга). По правую руку – темнеет впадина старого оврага, уже заросшего осинками, кустами бредины и ольхи.

А прямо передо мной – небо. В детстве я думал, что мы, живущие на холме, ближе к нему и солнцу, чем те, кто прозябает на равнине. У меня всегда было ощущение, что, перейдя речку, я начинаю подниматься не на холм, а в небо, нависшее над холмами и низинами.

Оно бывало разным. Это сейчас небо, будто дым, развороженный ветром, вытекает из-за горизонта серо-темными клубами и нависает над сжатым полем. А если бы оно было синее с молочными облаками, то походило бы на осколок стекла, выпавший из детского калейдоскопа и вставший на ребро у деревенской окопицы. А зимой, особенно в серый, тихий день, когда на улице начинало смеркаться, небо вырастало прямо от подножья холма, слепо сливаясь со снежной целиной померкшего поля.

Прежде, летом стоило только чуть подняться от журчащей речки в гору, и уже слышно, как из деревни доносятся живые звуки: то ведро у колодца звякнет, то петух заголосит, приглашая сородичей на перекличку, то песня по радио из открытого окна донесется. Звуки вспыхивали и гасли, услышишь, как хлопнет дверь в избе у Ермиловны, и на душе сразу станет тепло и спокойно. Значит, в деревне всё мирно и ладно, и не о чём пока беспокоиться. Вот, думалось, было бы так вечно.

Я поднялся уже на середину горы. Отсюда прежде открывались избы нижнего конца деревни: на бугре дом Голубковых, маленький в три окошка, как игрушечный, чуть выше, за пепелищем каюровского дома, изба Осиповых, а за ней – конёк крыши дома Тамарки Мошковой. Теперь сорняковая трава – ягель, крапива да лопухи с человеческий рост, кусты шиповника и сирени – выровняли все складки холма: ни бугра, ни пепелища, ни взгорка.

Ищу яблоню на угore, но не нахожу. Она стояла корявая с раскидистой кроной, одинокая, а яблоки на ней росли кислые – вырви глаз, но мы всё равно, морщась, их надкусывали и друг другу нахваливали. Теперь на её месте торчат какие-то дикие неряшлиевые заросли. У деревни осталась только одна верная примета – это липа, похожая на самовар с медными боками. Её видно издалека. Смотришь на неё и кажется, что в мире ничего не изменилось. Точно такая же липа венчает и чубыкинский холм, будто они приходятся друг дружке родственницами. Под её кроной и стоял дом Анны, застреленной Панком Чёрным.



---

А вот и островок осинника. Он с виду всё такой же – шумный, трепетный и загадочный. До него от деревни метров сто, аказалось, что он был из какого-то другого мира.

Не удержался, подхожу, чтобы заглянуть, есть ли вода в мальчиком пруду, вокруг которого и растут деревья. Нет, за четверть века столько листвы опало на землю, что уже и берега-то у прудовой ямы едва угадываются, а на мягким, зыбком дне до-гнивают, плесневея, стволы рухнувших осин, тех, которые еще помнили нас с Колькой, когда мы по весне перебегали пруд по вспученному рыхлому льду.

На сердце чуть отлегло, когда заметил у коряги добродушного мухомора в разлохмаченной шляпе. В наше время здесь росли подосиновики и сыроежки.

За этим осинником открывается еще один остров, но без пруда. Он, как корзинка, был сплетён из кустов дремучей бредины. За ними была отворотка направо. Дорога приводила в заулок между домами Гали Цветковой и Лены Семичевой, а налево вела к таинственному и мрачному овину.

Останавливаюсь и пытаюсь найти её следы, но безуспешно. От овина тоже ничего не осталось.

Место, где он стоял, выдают темные заросли травы-дурнинь. С овином у всех нас связано много воспоминаний – радостных и не очень.

Я уже на холме. Раньше с дороги хорошо были видны массивные зады шести дворов, стоящих на нашем порядке, а в проёмах между ними выглядывали окна изб Анны Кудрявцевой и тети Жени, жены Дмитрия Семёновича Соколова – дедова брата. Их сеновалы были обращены в сторону Соломинина.

Теперь не сразу и поймешь, где какая изба стояла. Только в одном месте из травы торчат брёвна. Похоже, именно там ютилась избушка Мани Нечаевой. Если отсчет избам вести от неё, то можно их поставить на свои места, и то приблизительно.

Надо же, на старых огородах (насчитал три убранных поля) ещё сажают картошку. Не ожидал. Это, наверно, берегут и не запускают землю кто-то из дальних родственников, живущих в Сумарокове, или кто из переселенцев. И опять не могу никак сообразить, на чьих задворках они распаханы? Мы тоже огород держали у дороги, но я не уверен, что это наш картофельник. По краям тогда не росли черёмухи и рябины.

Останавливаюсь, где дорога чуть поворачивает вправо.



Здесь, если не ошибаюсь, и была наша изгородь, а рядом с ней, метрах в пяти от дороги, должна быть неглубокая яма. Весной в резиновых сапогах мы измеряли в ней глубину. Иногда и зачерпывали поверх голенища. Пробираюсь по пояс в траве вглубь гуменника, но никакой ямы не нахожу. Может, её тоже сопревшей травой затянуло?

Именно сюда бежала светлым июньским утром Марья Осипова, чтобы сообщить мне о гибели сына – моего друга Кольки.

## 15.

Вокруг всё изменилось и заросло. Трава, бурая как лён после трёпки, гривастая с бледно-желтым отливом на холке, выжжена солнцем и прибита дождем. Она не увита ветром, не взъерошена, а с пышным начёсом аккуратно уложена на бочок. Трава так густа и жестка, как проволока, что и сапогом не разодрать. Она без проплешина укрывает всё некогда свободное пространство, на котором умещалась конюшня с фермой, два пруда и дом Куликовых. Нет уже прежнего простора, его скрадывают выросшие деревья и кусты.

Ищу глазами пруд, что был сразу за дорогой под боковым окном. Без него я не смогу найти и пепелище. Пруд – единственная неизменная вешка в травяном разливе и в буйстве сорных кустов. Только от него и можно взять верный курс и отмерить шагами расстояние до старой черёмухи, стоявшей у самого угла нашей избы.

Если б взлететь над холмом, то сверху я легко бы увидел заросший пруд. Он теперь должно быть похож на свитое в траве птичье гнездо, примятое и насиженное.

Такое место я и выглядываю поверх серо-бурового травяного покрова. И вот вроде вижу над ним всклоненный хохолок осоки, с одной стороны – сухой, с камышовыми коричневыми шишками, а с другой – ярко-зеленый, будто весенний. Значит, под ней еще не вся вода прудовая высохла. Туда и правлю, путаясь в траве и с трудом переставляя ноги.

Да, это наш пруд. От его края, обращенного не к лесу, а к деревне, до угла дома не больше пяти-шести шагов. Вот и деревья. Только теперь они поднялись стеной, и среди них я выискиваю ветки с ягодами черёмухи.



Раньше и деревья в палисаде были как родные. А к тем, что остались от прежних изб и стояли одиноко, будто на отшибе, мы относились, как к сиротам. Веток на них не ломали и кожуру ножиком не срезали.

Их было немного: две яблони – одна напротив нашего дома, а другая на бугре перед колодцем, два клёна – один вверху, напротив дома Мары Васиной (здесь еще стояла и большая берёза), а другой – в самом низу, где дорога круто выворачивала из деревни на склон холма.

Потом к ним прибавились и другие осиротевшие деревья, росшие у старой избы Куликовых и у сгоревшего дома Каюровых.

Никогда не забуду, какую обиду затаил я на дядю Сашу Цветкова, когда он спилил бездомную берёзу. Пень от неё долго сочился, а покрасневшие опилки и после зимы проступали из травы, как запёкшаяся кровь. Без берёзы эта часть деревни стала вдруг совсем голой и чужой, и мы почувствовали, как без неё загулял по улице деревни дерзкий сквозняк...

Пробрался сквозь кусты к месту, где должна бы стоять изба, и сразу же оказался под ветками огромной лиственницы. Увидел её и обрадовался. У меня отпали все сомнения. Я стою в родном заулке. Как же я мог забыть о ней! Лиственницу посадил дед. Она была совсем маленькой, когда я уехал в Ленинград. Удивительно, что лиственница не сгорела, и никто её не срубил и не сломал. Может, она и уцелела-то для того, чтобы стать для меня живой вешкой на пути в прошлое?

Я подошел к ней и поднял голову вверх. Раскинувшиеся лапы, чуть покачиваясь на ветру, заслонили серое небо.

Какая она высокая и статная!

Подхожу ближе и трогаю рукой корявый, жесткий и занозистый ствол. Видно, что огонь крепко обдал его жаром. В кору въелась сажа, и потому она рано растрескалась и ороговела.

Толстая и грубая, кора покрылась болезненными наростами от растопленной смолы, и от неё, шелушась, отпадали шершавые пластинки, похожие на крыльшки засохших жуков-кошедов. Зимой лиственница, наверно, сплошь усыпает ими девственный вокруг себя снег.

Обхожу её, а под ногами хрустят шишки, как майские жуки. Хвоя на ветках тоже в светло-рыжих подпалинах. Ствол на уровне моей груди ощетинился сучками, похожими на короткие



бычья рога, отполированные и на тупых концах чуть заострённые. А выше по стволу ветки торчат вразброс, часто и как попало, толстые и тонкие, будто лиственница, пережив пожар, лишилась древесного рассудка, и внутри её что-то повредилось. Она росла рывками и оттого сильно пострадала. Потому и сучья у неё от нестерпимых корчей искривились, как после судороги. Они-то и вытянули из лиственницы все последние, здоровые соки.

Какое счастье, что она выросла.

Теперь дороже дерева для меня на этом холме нет – и уже, наверно, никогда не будет. Она единственная, к кому я испытал на безлюдном холме по-настоящему родственные чувства...

## 16

Стою под её кроной и слышу, как за деревьями шумно нахлестывает трава по чьим-то резиновым голенищам. Оборачиваюсь и вижу, как над колючками лопухов и желтыми стеблями вызревшей метёлки мелькает голова молодого пастуха в тряпичной кепке. Он, перекинув плеть через плечо, решительно и по-хозяйски агрессивно правит в мою сторону.

А приветствует меня добродушно и даже стеснительно. Он раскраснелся, да так, что всё лицо пышет жаром. Хотя на пальце его замечаю обручальное кольцо. Значит, женат.

– Здравствуй, здравствуй, – подаю ему руку. – Как зовут?

– Володя.

– Значит, тёзки, а чьё стадо пасешь? – спрашиваю и спохватываюсь, понимая, что задаю глупый вопрос. Знаю, что в Сумарокове в личных хозяйствах коров нынче мало кто держит.

– Совхозное – отвечает.

– Велико ли?

– Двести бычков...

По виду Володя возраста моего сына, или даже чуть моложе. Одной рукой держит мобильный телефон с горящим экраном, а другой, изловчившись, пытается заправить в плеер новую кассету. Вот как нынче скот пасут – с музыкой и телефоном, разве сравнишь с нашей прежней пастушней, когда в карманах штанов у нас с Колькой были в лучшем случае самодельные свистки из черёмухи.

– А сам чей будешь?



— Смирнов, — улыбается, глядит исподлобья, с хитрецой и, видя в руках у меня камеру, спрашивает. — А Вы что тут снимаете?

Спрашивает и, чувствую, понять не может, что же можно снимать в этом почти непроходимом буреломе.

— Да вот, — говорю, — ищу место, где стояла изба деда. Пришел, так сказать, на родное пепелище...

Володя сначала не без любопытства оглядывает меня, а потом с удивлением и mestность, будто хочет помочь мне, но, судя по тому, куда он тычется взглядом, понимаю, что для него от моей деревни осталось одно название. И то хорошо, а дети его уже и названья-то не вспомнят.

— Заросло всё, — вздыхает Володя. — Пойду я...

— Удачи, — говорю и жму его руку, а сам думаю, как всё-таки хорошо, что пока еще можно встретить на безлюдном холме светлого человека с доброй душой. Дай ему Бог, сил и здоровья. Он и ушел так же шумно, как и появился. Я долго смотрел ему вслед, пока его бледно-розовая кепка не пропала за шаткими и седыми макушками одичавшего иван-чая.

После встречи с Волоедом я уже не чувствовал себя одиноко, и на душе у меня стало чуть спокойнее.

## 17.

Прислоняюсь спиной к лиственнице, чувствую, как упёрлись в меня бойцовские сучки, мысленно представляю, где стояла изба. От неё до палисада было-то не больше трех-четырёх шагов. Слева должно быть крыльцо, покрашенное темно-бордовой краской, а рамы — синей, прямо передо мной — окно в цветных наличниках, перед ним столб с антенной, справа — рябины и берёзы. Берёз нет. Наверно, засохли и упали, но красные грозди вижу. Только не знаю, та ли это рябина, что росла под окном рядом с клёном. Клёна тоже не нахожу. Да и рябин тут уже целый выводок.

Раньше поутру я садился на кухне у окна, ставил на подоконник горшок с пшеничной кашей и смотрел на улицу. За окном такая открывалась даль, и такой сквозил над оклицией простор, что у меня дух захватывало. Лес, казалось, стоял далеко-далеко и всегда, даже в ясную погоду, его скрывала легкая, табачного цвета, дымка. Чтобы добраться до него, надо было пройти ко-

нююшню, ферму, дальний пруд, склады с амбарами, а за складами еще три поля с островками осинника и одной дорожной отвороткой на Соломинино.

А теперь смотрю из-под веток бредины и вижу перед глазами желтое поле, а сразу за ним – темнеет лес и, кажется, до него рукой подать. Никакого простора. Тесно, вязко и глухо.

Отсчитываю шаги в направлении печки. Продираюсь сквозь густые и жесткие заросли. Крапиву приминаю сапогом, а руками раздвигаю ветки и сучки, колючие и цепкие, смахиваю с лица липкую паутину и вот уже замечаю в траве красные и сырье, будто кровяные пятна.

Еще два шага и я погружаюсь среди дня в тихие вечерние сумерки. Да, тут она и стояла, наша белая и теплая, а иногда и огненная русская печка. Сколько времени я провел на ней, сколько видел снов и о чем только не мечтал, уставясь в засиженный мухами потолок.

На месте её выросли осины, и сейчас они как-то особенно мелко дрожат и виновато трепещут надо мной. У корня стволы их, уже с огрубевшей корой, окинуты плотной тиной едкого зелёного цвета. В другой раз, я на неё и внимания не обратил бы, а тут меня от одного вида ядовитой плесени судорожно передёрнуло. Стою, топчуясь на месте и хожу вокруг печки.

Вот здесь, за перегородкой в одну доску, стояла железная кровать. Всё детство я проспал на ней за пазухой у деда, просыпался среди ночи и слушал, как дышал в кронах деревьев весенний ветер, и шуршала по завалинке сухая снежная крупа поздней осени...

## 18.

Печка была центром избы! Не те ли самые кирпичи, натёртые до блеска нашими пятками и ладошками, боками и спинами, валяются в крапиве, на которых я, обжигаясь, калил озябшие до ломоты ноги. Я, кажется, и запахи на ней все помню. Душные – от ношеных валенок, а пыльные – от старых пальтишек. Дымные – от ватных фуфаек, а хлебные – от лотка с мукой на припудренных полатях. Терпкие – от лука на шесте, а песчаные – от замазки на трещинах печной трубы. Кислые – от поднявшегося в кастрюле теста, а потные – от мокрых варежек, засунутых в горнушку.



Поутру, когда зимой просыпался на печи, я слышал, как билось в печной свод ломовое пламя, как гудело оно в пустой трубе, готовое вырваться из неё, полыхнуть над крышей и раствориться в морозном воздухе.

У печки день и ночь хлопотала бабушка. Здесь у неё был свой мир, только ей ведомый, ею управляемый и только ей одной подвластный. Уму непостижимо, как в тесном кухонном пространстве умещалось столько хозяйской утвари: ухваты и чугуны, тары для воды, посудник с тумбочкой, икона с лампадкой, стол в углу, лавка по стене и полка под самым потолком, заставленная лотками и решетами. Даже дыра для кошки – и та чернела в полу за ведром под замызганным умывальником.

Всё помнится: каждый гвоздь, вбитый в косяк, торчит перед глазами, каждая кровяная клякса на потолке от убитых резиновой хлопушкой мух и каждое пятнышко на белых с желтизной обоях.

Я и не заметил, как на мгновенье мое сознание отключилось, и я будто перенёсся в прежнее время и почувствовал себя семилетним мальчишкой, вбежавшим с осенней улицы в жаркую избу с запахами праздничной сдобы. Скидываю пальто, кепку, сдёргиваю о порог резиновые сапоги, отпиваю голью парного молока из кринки и с босыми ногами по теплым ступенькам лестницы залезаю на печку, подсовываю руки под валенки и на жарких кирпичах грею одеревеневшие пальцы.

Мне хорошо, потому что я дома и в тепле, и знаю, что так будет всегда, пока я буду жить на белом свете. На кухне бабушка ерзает со скрежетом по шестку тяжелыми чугунами с вареной картошкой и свёклой.

Слышу крахмальный запах распаренной мякоти и пыльный – сморщенной кожуры. В кути пахнет кислой шерстью. Здесь дед, сгорбившись над столом, оглаживает ладонью грубую постилу, укрывшую мягкий шерстяной чулок – будущий валенок.

За перегородкой часы мирно отбивают шесть раз, и шелестящий бой их снова возвращает меня к жизни. Смотрю на печные развалины, скрытые от солнца и глаз людских, и уже ничего не чувствую, кроме стылого в сердце холодка.

Стою на пепелище родной избы. Я даже в мыслях никогда не допускал, не видел в самом страшном сне и тем более не мог представить наяву, чтобы на холме не было деревни, а на краю её – дедовой избы.



## 19.

Вот здесь примерно была входная дверь. Она, как живая, шумно и устало вздыхала. Со всхлипом, когда её открывали с улицы, нашарив в темноте ручку, и с хрипотцой, когда, выходя, захлопывали. Но всегда недовольная.

На мосту стояли вёдра с родниковой водой, прикрытые чистой фанеркой и тут же, на лавке, лежали два коромысла. У того, что пошире, на концах были железные крючки, оно под полными вёдрами прогибалось и натужно поскрипывало, когда бабушка входила в крыльце и снимала коромысло с плеча. С потолка свисали пыльные волотья паутины и ломкие былинки сена.

Делаю два шага вперёд, и оказываюсь в чулане. В нем всегда воздух был настоен на съестных припасах, и один запах смешивался с другим. Даже паутиной и мышами – и теми попахивало.

Там было много всякого добра: кадки с квашеной капустой и солеными грибами, корзинка с яйцами и мешки с мукою, горшки с салом и взбитым маслом, а главное – кринки с молоком и творогом. Я часто блудил здесь, снимал с кринок густую и жирную сметану и уплетал её за обе щеки вприкуску со сдобным колобком. До сыворотки редко добирался, с одной кринки был сыт по горло. За день-то, бывало, раза три-четыре в чуланку заглядывал. А вечером уже хлебал из блюда расписной деревянной ложкой сладкую, горячую сыворотку с творогом, дозревшим в печке до ноздреватой, сырной массы.

Через дверь в загородке выхожу во двор. Дверь из досок с тугой пружиной громко хлопала, и потому, сидя в избе, я всегда слышал, когда бабушка возвращалась от скотины, а дед – из бани.

Прямо передо мной под высокой крышей открывался огромный сеновал, и дух здесь стоял тяжелый от прогорклой на солнце травы и свежего навоза. От него в носу появлялась сухость, а в горле першило и жгло.

С осени жердяной пол, слегка подтёсанный, чуть ли не до самого верху заваливали сеном. Я любил кувыркаться, прыгать и мяться на нём, когда летом приносили его на слегах с гумна, а зимой привозили на санях из лесных делянок. Сено вилами забрасывали с улицы в широкий проём в боковой стене, а на



сельнице по указке бабушки его укладывали по разным углам: лесное отдельно от гуменного, а мягкое с нежным цветом – от грубого и колкого.

Здесь же были две лестницы. Одна, крутая, вела на холодную подволоку. Сколько всего дед с бабушкой хранили на ней! От берёзовых веников до огромного колеса для снования пряжи. От клюквы, рассыпанной на газете, до засохших гроздей рябины, от грязных кулей с шерстью, взвешенных на безмене, до жердей и досок, сложенных про запас.

По другой лестнице спускались в теплый и духовитый двор, где обитала вся домашняя живность.

На насестах сидели и спали куры с петухом. По утрам они, квохча и шурша крыльями, выпархивали на улицу через лаз, выпиленный внизу ворот.

Полдвора занимало стойло коровы, отгороженное жердями и досками. Справа от него темнел срубленный из брёвен теплый омшаник для овец. Рядом с ним в тесную загородку вселялся телёнок, живший после рождения с нами в избе до апрельского тепла.

Теперь на месте двора, хорошо удобренного, царствует и буйствует крапива. В её жестких и частых зарослях ничего не разглядеть. Пройти бы сквозь неё до бани и не обжечься.

В баню мы летом ходили через сад и прикрывину (дедушку мастерскую), а в снег или дождь – через двор. Баня, пристроенная к задней стене двора, в хозяйстве нашем, как и печка в избе, занимала особое место.

В ней мы по субботам парились, вернее, парился до красного каления дед, а мы с бабушкой после него мылись с открытыми дверями, да еще и к полу пригибались.

На следующий день, когда жар спадал, бабушка стирала в бане бельё. В ней же по осени в грибной год отваривали в кotle и соленину.

А когда дед решил ставить новый дом, и старую нашу избу начали раскатывать, то мы и жить перебрались в баню, и обитали в ней с весны до самой осени.

Вот тут, у пруда, она и стояла. Оглядываю пространство под густыми кронами больших деревьев, но ничего, кроме сгруденных в куче красных кирпичей, не вижу. Всё, что могло пригодиться в хозяйстве – котлы и задвижки, тазы и баки – разнесли после пожара сумароковские мужики по своим дворам.



А пруд не высох, не зарос осокой, как у конюшни и на углу дома, он даже тиной – и той не весь затянут. Вода в нём чёрная, отстоявшаяся, испятнана листьями, похожими на разноцветные пистоны к игрушечному пистолету, а по крутым берегам нависают над ней худосочные ветки кустистой бредины. Помню, как этот пруд рыли у самой стены бани, как он долго наполнялся водой, сначала мутной, потом она зеленела и потом уже, спустя год, стала настоящей – прудовой.

По субботам мы вёдрами таскали её в котёл, наполняли водой корыто, все тазы, баки и тару. В пруд мы с кокой Валей даже карасей запустили.

На удочку их не ловили, но в вёдра они иногда попадали – маленькие, с золотистыми блёстками в мелкой чешуйке.

За прудом росли кусты смородины (они теперь растут и на месте бани) и крыжовника, а дальше – яблони, но теперь уж трудно разобраться, что осталось от них, прежних, а что выросло заново.

Срываю ветку черной смородины, и от горькой сладости крупных черных ягод меня пробивает приятный озноб.

Прохожу через прикрычину, выхожу в сад к грядкам, где бабушка сажала огурцы и лук, но грядки расположились и снова стали некопаной целиной с жестким дёром.

Мысленно открываю садовую калитку, будто и скрип её петель в тишине слышу, минуту дровяник с «козлами», на которых мы пилили хлысты, и останавливаюсь у лиственницы. Теперь уже прислоняюсь к ней, обернувшись на деревню. От неё хорошо было видно её верхнюю часть, и даже край крыши Колькиной избы с глухой боковой стеной.

В прежние годы, приходя в гости, я первым делом брал на мосту пустые вёдра с коромыслом и бежал за водой на Гремячку. Только вот и коромысло моё тоже сгорело вместе с крестовиной, которую опускал я в полные вёдра, чтобы из них по дороге не расплёскивалась через край драгоценная ключевая водица.

Пора на Гремячку...

## 20.

Сначала, как только научился носить вёдра на коромысле, я ходил на Гремячку по деревне, чтобы все видели, какой у бабушки Анны вырос помощник. Я шел, по-взрослому закинув



руку на коромысло, и косил глазом на окна изб: уж так мне хотелось, чтобы кто-нибудь отдернул занавеску и проводил меня в спину одобрительным взглядом.

Потом, когда уже все и не раз видели меня не только с двумя вёдрами, но и с тремя (третье ведро нес в свободной руке), я стал сворачивать на задворки у дома Анны Кудрявцевой, где мы выходили к полю на соломининскую тропу. На задворках была дорога. По ней ездил на тракторе Толя Коньков. В свой, изрытый гусеницами, заулок он заезжал задворками и снизу из-под дома Голубковых, и сверху мимо конюшни.

Сегодня идти по пустой деревне смысла не было, да и заросла она по грудь бурьяном.

Пробился по нему, работая ногами и руками, до деревенского пруда, заросшего пегой осокой, и свернул направо в заулок между избами Цветковых и Семичевых, чтобы выйти на гумно.

Здесь, за изгородью, прежде начиналась тропка, по которой мы выходили на край холма и спускались по ней к мосту. Кто-то из сумароковских гумно и ныне местами выкашивает. Даже стожок, на метр-полтора съехавший со стожара, скромно приосел посреди ярко-зелёной отавы — забытый и неухоженный.

После бурьяна, вязавшего ноги, я будто вырвался на свободу и почувствовал в теле и в душе какую-то детскую легкость и необъяснимую радость.

Я шел к липе.

После лиственницы у пепелища я на всём холме только к ней еще испытывал родственные чувства, только она властно и неумолимо притягивала меня к себе и настраивала память на светлые воспоминания.

Но это издалека липа, как женщина в годах, дородная, статная и сильная, а когда я увидел её вблизи, то понял, что и она на этом холме — не вечная, сморщилась и постарела. Стоит, прикрывшись бледно-желтой листвой, а листья на ветках какие-то болезненные, с оплавленными и почерневшими краями. На её стволе с окаменевшей корой серебрится клочками жесткий и цепкий лишайник, похожий на рюшки у детского чепчика. А корни у земли давно без коры, обнаженные, и, казалось, обдаст их ветер или оросит дождик, и они обожгут липу нестерпимой болью, да такой, что передернет её от корней до верхушки нервной судорогой. При виде их и у меня сводит скулы.



Провёл по коре ладонью и почувствовал под шелушащейся сухостью лишайника живое тепло и тихую дрожь сиротливой липы.

Она, словно почувствовала мою руку, и сразу приветливо затрепетала надо мной. Липа то захлёбывалась листвой от набежавшего ветра, то успокаивалась и, не спеша, с каким-то не поддельным удовольствием перебирала на ветках каждый листик. А ведь это она, наверно, на своём древесном языке так выражала искреннее волненье по случаю нашей с ней долгожданной встречи.

Спасибо ей, светлой, за память и за верность родному холму.

Чего она только на своем веку не видела в жизни деревни и её многочисленных жителей, чего только вместе с ними не пережила.

Отсюда хорошо видны за складками исаковского и костинского холмов заливные луга по обоим берегам низинной речки-невелички под названием Письма, текущей в сторону Брызгалова. По её первому льду я не раз добирался до села Головинского, через которое проходит старинный тракт из Костромы в Буй и дальше на север. До него от Попова и всего-то километров восемь.

За Ивашевым, как выгоревшая тесёмка, окаймляет горизонт узкая и неровная бордюрная полоска зеленого леса. А от моста, как печные дымки, струятся в сумароковскую гору две светло-желтых ленты сухой дороги с не разбитыми еще и не рваными колеями.

Хорошо видна и «пожарка» у кладбища (так почему-то называли нежилой с дурной славой дом на краю села за церковью, мимо которого не проходила, а со страхом, как и мы, пробегала, прикрываясь травою, наша поповская тропка).

Гляжу в растворённую даль, и так покойно становится на сердце, столько в нём роится светлых и добрых чувств, что я даже забываю о Попове и о том, что его уже нет на этом старом белом свете.

Время от времени поглядываю и на небо. На нём вызревают тучи, пока не грозно и не обложно, еще с матовыми просветами в фиолетовом разливе, но уже заметно, как тучи на глазах наливаются темью и всё ниже и ниже нависают над притихшей округой, грозя разразиться холодным ливнем.



Думаю, от дождя мне сегодня не уйти, а от него нынче на холме и спрятаться негде.

Надо спешить к роднику. Без встречи с ним я не могу покинуть пустынный холм...

## 21.

От липы до Гремячки в прежнее время я добирался бы минут за десять.

Мог бы пройти по меже, разделяющей два сада – Колькин и Тамаркин. По пути еще сбlundил бы, выдернув на ближней грядке свежую морковку, или, царапая руки под шершавыми, как наждачная бумага, листьями, нашарить на одрябшей огуречной плети колючий зародыш с мягким желтым хвостиком на кончике.

Не открыл бы, а, приподняв над землей, отставил в сторонку, висящую на одной петле калитку, только-только, чтобы протиснуться и украдкой выскользнуть из сада на деревенскую улицу вокурат под окна осиповской избы, где глиняные колеи дороги, как высохшие русла весенних и летних ручьёв, усыпаны вымытыми камнями и битыми стеклами.

Мог бы я от липы сбежать вниз по гумну и выбраться на тропку, где дорога, обогнув по склону холма овраг, метров через сто снова круто поворачивает вверх деревни перед высоким бугром, на котором стоит домик-избушка Голубковых.

Но какой бы путь я не выбрал, не мог пройти мимо яблони, еще одного родного и памятного дерева. Она стоит на другом бугре, чуть ниже последнего дома, не такая раскидистая, как прежде, и уже совсем сухая, без листьев и без коры, с обломанными, как у бодливой коровы, рогами.

Одна тропа огибалась её сверху и сбегала к оврагу по откосу, а другая спускалась под ней и держалась ближе к колодцу. Теперь в травяном царстве мне уже не отыскать ни ту, ни другую, а раньше на холме каждая складка была на виду и все тропки, даже коровьи, завязанные в узлы, лежали поверх окошенной травы и сами уважительно ложились под ноги.

У яблони я всегда останавливался, когда поднимался в гору, особенно если с тремя вёдрами, чтобы отдохнуть и не на ходу перевести коромысло с одного плеча – рабочего, на другое – отдохнувшее.



Сегодня решил спуститься через гумно. Здесь оно, к счастью, окошено и по сочной отаве, готовой для второго укуса, идти куда легче, чем пробиваться сквозь дикую, сорную, перевитую ветрами и почти одеревеневшую к осени траву. Её мне и так не миновать.

На минуту остановился на конце деревни, примерно там, где поворот дороги, от которой не осталось и следов. Отсюда были видны только пять нижних изб, и все они стояли по правую руку. Левый порядок начинался от дома Валентина Цветкова, напротив пруда, но его за яблонями и черёмухами и тогда не было видно.

Господи!

Как же быстро дичает земля, если с неё уходит человек. Только теперь, глядя на буйство и торжество не укрошенной природы, установившей свою над холмом власть, я понимаю, как обжита была, как обижена и как по-домашнему уютна деревенька моего детства.

Если бы мне в городе показали фотографию вот с этим самым видом, который у меня перед глазами, то я ни за что бы ни узнал мой холм, на котором не один век стояла деревня Попово. Я и сейчас-то не могу точно указать место, где, например, стоял дом Осиповых. Вокруг меня бурого цвета трава, а над ней качаются гусиные шеи зелёной крапивы, и таится, не мерцая, в созревших колючках лопухов мертвое фиолетовое свечение.

Высокая трава заглушила и расправила все складки холма. Молодые деревья выжали соки из старых, давших им жизнь и вскормивших, лишили их света и, как бросовый хлам, скрыли под своими кронами, похожими на скомканную в кулаке зелень и брошенную поверх высохшей травы. На холме теперь не осталось ни одной приметы, по которой мог бы я ориентироваться и двигаться в чужом пространстве некогда родной деревни.

Постоял, порысал жадными глазами по травянистому покрову в надежде обнаружить что-нибудь знакомое, но так ни за что взглядом и не зацепился. Опустил голову и, уже не оглядываясь, без троп и дорог продолжил трудный путь в сторону Гремячки.

Она-то жива ли?..

## 22.

Когда подходил к оврагу, ветер усилился, и трава на склоне



холма стала зыбать, как поверхность пруда, плотно затянутая цветущей тиной. Наша сторона оврага пологая, утыканы кустами и одинокими деревьями, а та, соломининская, – крутая, почти отвесная, заросла настоящим лесом. Кроны на горе клубятся и волнуются, на порывистом ветру перекатываются волнами. У зелени, по-летнему яркой и не тронутой еще осенью, разные оттенки – от темной и сочной у широколапых елей и черёмух до сухой и бледной у ольхи и могучих осин.

Небо сегодня неспокойное. Под куполом оно синее с разорванной паутиной, чуть ниже прикрыто белым, будто выглаженным, облаком, а над самым лесом горбится синяя туча, как губка, напитанная влагой. По краям, окаймляя её, пробегает искристым золотом оголенный ток. Туча вот-вот, как воронка в черном омуте, властно затянет в себя молочное облако. Я вижу, как она тяжело и хищно надвигается, вот уже и конец скомканного облака, как легкая простынка, скрывается в её ненасытной черной утробе, но в это самое мгновенье в узкую расщелину вдруг врывается отчаянное солнце и царственным веером выбрасывает над землей ослепительные лучи.

Это мгновенье я никогда не забуду. Мне показалось, что это ко мне оно прорывалось – неутомимое солнце, это меня хотело оно подбодрить и одарить теплом.

В овраг я не спустился, а сорвался. Тут и раньше на тропе не мудрено было поскользнуться и упасть, и падали, особенно после дождя или когда морозец прихватит землю и насколзит тропу. Слава Богу, ноги не подвернулся. Только обжег крапивой руки, да штаны испачкал в сырой глине. Я встал и замер. Даже дыханье затаил.

Я не услышал родника, а почувствовал его. Но сначала в траве увидел ржавую трубу, увидел и ужаснулся. Труба была сухая и наполовину забита землей. В ней на фоне её черного нутра, обращенного в земную бездну, зеленел юный росток крапивы. Ему явно не хватало солнечного цвета. Листья у крапивы были резные с ворсинками и такие бледные и нежные, что просвечивали насквозь.

Опускаю глаза и нахожу крохотный, не гремящий родничок. Не выдерживаю и вслух приветствую его:

– Ну, здравствуй, Гремячка! – Наклоняюсь и ладошкой зачерпываю родниковой водички, забрасываю её в рот, чтобы не расплескать.

Зачерпываю еще, еще и еще. Вот уже онемела рука, и заломило зубы. Она такая же студёная, как и прежде, но такая же вкусная.

Труба, опущенная зеленым мхом, как высохшей болотной тиной, мертвое торчала из угора, чуть просевшего и уже не такого крутого. Кто её вкапывал? Кто и когда был здесь в последний раз? Придёт ли к нему кто-то еще из наших – поповских? Я помню, как Толя Куликов засекал, за сколько минут набегает ведро воды и сколько её вытекает за сутки, за месяц, за год и за столетие? Даже не представить!

Эту воду я начал пить с первого года жизни. Наверно, она и правда, как говорила бабушка, «пользительная» и приворотная, иначе бы я не пробирался к ней с таким неистовым упорством через древесные буреломы и некошеную траву. А сколько сам я вынес её потом в вёдрах на коромысле? Жаль, что не взял с собой никакой посудины, чтобы набрать ключевой водички и принести её на пробу моим внукам.

Деревянные лотки стгнили. Труба забита землей, и в ней растет трава и крапива, лишайник свисает с неё, как нечёсаная борода сонного лесовика. Вряд ли кто теперь соберётся и обустроит родничок, да и некому уже ходить к нему за водицей?

Вода сочится прямо из земли и течет под трубой. И вдруг я замечаю, как в траве, под листьями, между стеблей и голых корешков струятся по земле десятки серебряных ручейков. Они шевелятся, сплетаются друг с другом и будто образуют мелкие ячейки водяной сети, наброшенной на глиняный склон оврага. Кажется, ручейки радуются, как живые, полнятся и ускоряют свой бег навстречу мне. Их голоса с каждой минутой набирают силу и журчат со всех сторон, напоминая веселый птичий гомон. Прежде, серебряный язычок родника, падая с высокого и скользкого лотка, разлетался на камнях хрустальными брызгами, а теперь водица неспешно собирается в тонкий ручей и, заплетая на ходу жидкую косичку, скрывается в траве и убегает на дно оврага. С него-то и начинается наша речка-невеличка. Она только по весне бушует и ухает, сметая всё на своём пути, да после летних ливней еще оживает и мутнеет.

Я смотрю на родник и такое в сердце чувство, что и он точно ждал меня, ждал и верил, что рано или поздно я обязательно к нему приду. Он чуть плещется у моих ног и ластится к ним, как щенок.



Он по-своему, но искренне выражал свою радость от встречи со мной: вот он стремглав скатывается по шелковой столешнице большого, бросившего в землю, валуна, вот подныривает под жухлый лист клёна, а потом от удовольствия перебирает на дне каждый камушек.

Поднимаю голову, жмуруюсь и радуюсь солнцу. Как бы густо не зарос овраг ольхой и черёмухой, как бы ни глущили его ягель и крапива, над самим родником кроны не смыкаются и в солнечные дни пропускают к роднику свет.

Я так хотел, чтобы сегодня именно здесь, у Гремячки, выглянуло, наконец, осеннее солнышко и наполнило парным светом глухое и сырое пространство оврага. И оно выглянуло. И вот уже вспыхивают пальевые листья осины, багровые и желтые, а по траве скользят летучие, как дым, тени.

Солнце посеребрило воду, и вот уже в ней празднично плескаются весёлые зайчики.

И опять вспоминаю детство. Гляжу на светлый ручеёк, а перед глазами не лохматые блики солнца на воде, а живые комочки цыплят цвета распустившейся вербы, которых бабушка пересчитывает в магазинной коробке из-под печенья. Их воркование и чиканье так перекликается с переливчатым бульканьем негромкого родника.

Давно ли мы с Колькой рвали здесь первые подснежники. Не для себя – для наших девчонок. Не знаю, как друг мой, Колька, но я каждую весну оставлял украдкой на крыльце у Ленки Семичевой маленький букетик нежных подснежников.

Давно ли это было? Тогда мы и в школу ещё не ходили и дальше Сумарокова нигде не бывали. Мы и знать не знали и уж тем более не задумывались, какие и куда нам выпадут в жизни дороги.

И вот стою у родника и, оглядываясь на прожитые вдали от него годы, вспоминаю, куда забрасывала меня судьба. Не скажу, что много мне удалось повидать на своём веку, но от Алтая и Самарканда на востоке и до Львова и Карпат на западе, от Грузии на юге и до Мурманска на севере проехал. Это только по родной стране – по Советскому Союзу.

Поглядел немножко и на мир. Нет-нет, да и вспомню Нью-Йорк и Мадрид, Берлин и Будапешт, Варшаву и Братиславу, Иерусалим и Афины, Марсель и Стамбул, Дюссельдорф и Хельсинки, Канарские острова и Мальту. Издалека я острее почув-

ствовал Россию и понял, что я счастливый человек, потому что родился ни где-нибудь, а в русской деревне.

Стою у родника и думаю о жизни, о том, чем стал для меня этот осиротевший холм и родник с живой водой, давно уже, а может, и навсегда скрытый от глаз людских в заросшем овраге.

Здравствуй, моя чистая река!  
Шел к тебе сквозь грозы и метели.  
И так рад, что мы с тобой пока  
В жизни и в любви не обмелели.

Потому, усталый и седой,  
Я прошу тебя, горя ознобом,  
Душу освяти живой водой  
И очисти до высокой пробы...

Эти стихи я напишу потом, опубликую их в своей книге «Пророчество кукушки» и одну из её глав так и назову – «У Гречмячки». Но это будет потом, а пока я стою у родника и смотрю, как на его серебристой спинке вспыхивают и гаснут золотого отлива огоньки. Это щедрое солнце одарило меня и мой незабвенный родничок по случаю нашей неожиданной встречи.

Рядом с ним память снова и снова возвращает меня в раннее детство, в то самое светлое и самое чистое время, которое живёт в душе, освящает её, благословляя на жизнь, и возвышает над людской суетой и приземленным бытом...





# ОСЕНЬ





# ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

## 1.

Сегодня мне исполняется семь лет. По этому случаю бабушка с утра печет пироги. В избе стоит дух сдобы.

В школу меня нынче не взяли, потому что к началу сентября до семи лет двух месяцев не хватило. Я, конечно, расстроился, а бабушка сказала, что так-то и лучше, год лишний погуляешь, а школа никуда не денется, да и ума прибудет. Бабушка всегда говорит, всё, что не делается, к лучшему. Я бабушку слушаю, не перечу ей, и потому своим одногодкам не завидую.

Весь этот год я буду жить в Попове. Папа учится в городе Иванове в партийной школе. Мама уехала к нему вместе с младшим братом Славой. Сама устроилась на работу, а Славу водит в детский садик. Живут они в одной комнатке на чужой квартире и, как говорит бабушка, дорого за неё платят. Я там еще не бывал, да меня туда, честно говоря, и не тянет.

Мне было три с половиной года, когда брат мой появился на свет. Я не забыл, как его принесли в деревню. Помню, как дед разгородил склизкую изгородь, отделявшую наш заулок от гумна.

Папа с мамой появились из-за кустов прошлогодней крапивы неожиданно. Папа шел впереди, звучно шлепая резиновыми сапогами по раскисшей тропе, а мама за ним с кожаной сумкой аккуратно перебирала ножками в омытых травой ботах. У неё был легкий шаг, как будто и не было позади крутой дороги с одного холма на другой.

Мне показалось, что в эти минуты на небе в проеме спущенных, как пакля, туч блеснуло игривое солнышко и на миг матово осветило нашу старую избу под черной от дождя крышей, и сад с разъехавшимися грядками, и деревню, притихшую под низким серым небом.



Я помню, как братика, завернутого то ли в пестрое одеяло, то ли в мамин темно-коричневый полушалок с толстой бахромой по краям, отец бережно передал бабушке Анне и помню, как они с дедом испуганно всматривались в глубь таинственного свертка.

Потом дед поднял меня на руки, и я тоже посмотрел на красное, как после бани, и сморщенное, будто от обиды, лицо моего брата Славы.

Мне оно тогда, честно говоря, не понравилось, но я понял, что теперь в доме не я буду главным человеком, и что жизнь теперь будет крутиться не вокруг меня, а вокруг него – младшего моего братика, с которым мне еще предстояло познакомиться и жить под одной крышей.

## 2.

Сегодня встаю утром и вдруг чувствую: вроде старше стал, чем был вчера. Правда, в чем именно это выразилось, понять не мог. Подхожу к косяку и замеряю рост: край ладонки чуть выше прежней метки, сделанной дедом в начале лета. Чиркаю по краске ногтем, а потом ножиком делаю новую зарубку.

– Растешь, внучек, растешь, дорогой, – говорит бабушка, застав меня за этим занятием. – Вот ума бы еще Бог дал.

Вернулся из бани дед, положил на край печки валенки, насаженные на колодки. Когда бабушка истопит печку, он их поставит в неё сушиться. Дед после бани всегда сырой и пахнет от него кислой шерстью и едкой краской.

– Дюдь, смотри, насколько я подрос, – подзываю его к косяку.  
– Вот, видишь, где твоя старая метка, а это уже новая – я сам вырезал.

Дед улыбается:

– А ну-ка, вставай, сейчас проверим, – он прислоняет меня к косяку, кладёт на голову еще влажную руку, надавливает, да так, что у меня коленки подгибаются. – Не на цыпочках? То-то ли. А ну, выходи. Так, – наклоняется и смотрит под широкую ладонь, потом кричит бабушке на кухню: – Мать, и верно вырос, не зря, знать, кашу ест.

Дед уходит на кухню, гремит умывальником и, пока, отфыркиваясь, утирается вафельным полотенцем, спрашивает:

– Подарок-то ждешь?



— Жду, — отвечаю с надеждой в голосе, а вдруг, думаю, подарит дед именно то, что я у него давно выпрашиваю.

— А какой?

— Сам, — говорю, — знаешь, сапоги резиновые...

— Сапоги — дело наживное, — говорит дед, и я понимаю, что сапог мне и сегодня не видать, как своих ушей. — Но не первое дело, правильно? Зима на носу, валенки пора доставать, а ты о сапогах печешься, — отшучивается дед. — Мы вот с тобой, внук дорогой, на будущий год избу новую срубим, вот это тебе от деда будет подарок так подарок. О таком не каждый внук и помечтать-то может. Вокурат к школе и поставим. Хочешь в новом-то доме пожить?

От избы новой уже никуда не деться. Срубы давно у пруда стоят. Даже смола на них вытопилась. Сколько штанов на срубах с Колькой изодрали и смолой липкой вымазали.

Бабушка долго отговаривала деда от этой, как она считала, пустой затеи. Ей на избу денег было жалко. Да и зачем, говорит, нам новая изба, уж много ли и жить-то осталось, можно подумать, что кто и останется в ней после нас. А дед ей всякий раз отвечал одно и то же: «Дескать, внук, будет жить. Чай, не бросит землю». На что ему бабушка в сердцах кричала: «Не смеши людей-то, дуралей старый. Неужто, останется в грязи копаться...»

По правде сказать, мне и в старой избе было хорошо. Я к ней привык, а новую, которая выстаивается и сохнет в срубах, я даже и представить не мог, какой она будет. Потому слушать слушал, что бабушка с дедом обо мне судачат, но в разговор не вступал и ничью сторону в нём не занимал, а гнул, как и дед, свою линию и при каждом удобном случае напоминал им о том, что сапоги у внука уже совсем потеряли цвет и нет на них места, на котором бы можно поставить заплатку.

— Что молчишь? — Дед чувствует, что я расстроился, гладит по голове и будто оправдывается передо мной. — Без сапог не останешься, справим, а думать, внук дорогой, завсегда наперёд надо. Иначе и сапоги не помогут, понимаешь ли, о чём дедушка-то говорит, или мимо ушей пропускаешь? — Дед уходит в комнату и уже оттуда продолжает: — Одним днём будешь жить, так и в сапогах с дороги собьешься. И в новых в глине завязнешь.

Я, конечно, из-за сапог обиделся на деда. У Кольки есть, а у меня нет, но виду стараюсь не подавать, хотя обида, чувствуя,



в глазах уже слезой набухает, но всё же пересиливаю себя и согласно киваю деду головой: дескать, так и быть, потерплю.

— А сапоги справим, не горюй, — успокаивает дед. — Пока же вот, держи. — Он нагибается, отставив в сторону хромую ногу, приподнимает у кровати кружевной подзор и вытаскивает из-под неё железную машинку.

Гляжу на неё и глазам своим не верю. От радости даже подпрыгиваю, подбегаю к деду, беру её, но так осторожно, чтобы, не дай Бог, не уронить её на пол, кручу в руках, обнюхиваю, пахнет краской, ощупываю колеса и дверцы, кузов и кабину: такая же точно, как и у Кольки, и цвета зеленого. Нет, не совсем такая — лучше! У меня-то самосвал, вот и ручка спереди, поворачиваю её, и кузов начинает мягко подниматься. Даже на колесах есть резиновые с рубчиками шины. Ну, всё, как у настоящей машины. Даже подножки у кабины есть. Вот уж Колька обзавидуется-то, вот уж поохает! Так и быть, решая, сапоги подождут, а с машинкой можно пока и в старых играть — не проходятся.

Я отбрасываю ногой половину и катаю её по полу. Не гремит и не скрипит, ход легкий. Значит, прямо с завода, и смазывать не надо. Загружаю в кузов бабушкины клубки цветных ниток и везу их к бумажному коробу у дивана. Вот так машинка! Нет, о такой я точно не мечтал. А сапоги к школе все равно купят, не в старых же с заплатами пойду в первый класс.

— Вовульк, ты гостей-то позвал? — спрашивает дед. — Скоро у бабки пироги упекутся.

— Нет, — сознаюсь и чувствую, как жар окидывает щеки.

— Так, беги, созывай, а мы пока стол приготовим. К обеду пусть все и приходят. Как раз и управимся.

— И девчонок звать?

— А какой день рождения без девчонок, — смеётся дед. — Всех зови, всех до единой. Много ли их в деревне-то. Пирогов хватит, а конфет матка твоя из города прислала. Ешь — не хочу.

Дед говорит, обернувшись ко мне, и, не глядя, подтягивает на часах увесистые гирьки цвета камышовых шишек. Они нехотя подползают под их темно-коричневый корпус, и он, отзываясь на их тяжесть, гудит натужным звоном, а серебристая в мелкое кольцо цепочка, отпущенная дедом, хлестко ударяется о синюю заборку и долго по ней, как слепая муха, цокает, пока не успокоится.

Я надеваю в кути у бабушкиных кросен старые резиновые сапоги с заплаткой на правом носке.

— Видишь, — ставлю ногу на каблук и картишко кручу носком перед глазами деда. — А что как заплатка отклейтся?

— Не отклейтся, — дед смотрит спокойно, говорит уверенно, и, чтобы я не сомневался, он вдруг наклоняется и прищипывает заплатку пальцами. — Намертво прихвачена. Вековина. Беги и ни о чем не думай...

Я застегиваю пальто, берусь за дверную ручку и, переступая порог, уже начинаю ежиться, представляя, как же, должно быть, сейчас холодно и неуютно на осенней улице.

### 3.

А денек нынче выдался совсем не праздничный. Он так похож на тот, когда мы встречали моего братика Славу.

Растрапанные в клочья текут по небу низко над землёй черные тучи, как густой дым от резиновых шин, зажженных где-то за лесом, текут медленно и едва не касаются темных, пропитанных водой, крыш. В воздухе сеется морось, противная и липкая. Такое чувство, будто кто исподтишка хочет набросить на лицо влажную марлю. В другой раз, так бы на Кольку и подумал, а сейчас я один одинёшенек стою посреди деревенской улицы. Только взбалмошный ветер мечется слепо на задворках да по безлюдным заулкам, будто что обронил заветное и никак не может отыскать в густой, яркой отаве, украшенной желтыми листьями. Угораздило же меня родиться в такое время, когда цветы на клумбах или обугливаются от ранних заморозков, или закисают и плесневеют от холодных, затяжных дождей, а на голых сквозных кронах трепыхаются на ветру последние обессиленные листочки непонятно какой и раскраски.

Под окнами лежит уже не взбитая ветром сухая и пышная перина из вороха листьев, а преет лоскутное одеяло.

Как-то разом и точно к моему дню рождения облетели у дома все наши деревья: качаются кисейные пряди березы и корчатся корявые сучья тополя, топорщатся короткие ветки рябины и жмутся к палисаднику золотушные плети акации. Только на черемухе еще дрожат зеленоватые листья, но и те свернулись, как поджаренные ракушки с опаленными черными краями.



Голо, сырно и сонно.

На помойке грязная ворона потрошит размокшую корку ржаного хлеба. Зябкие воробышки сидят рядом на скользких проводах и одергивают короткие крыльшки, чтобы прикрыть от ветра взъерошенные бока.

Гляжу на них с жалостью, и мне тоже становится зябко. Прячу шею в ворсистом воротнике и шмыгаю мокрым носом.

Но это сегодня так сиротливо и серо, а в погожий день наша деревня совсем другая – живая, уютная и светлая.

Она, если смотреть на неё с сумароковской горы, похожа на стадо, которое мирно пасется на макушке приземистого холма. Избы уткнулись носами в кроны деревьев, а их серые крыши виднеются из-под них, будто коровьи хребты. По-за огородами и садами, как овцы, стоят амбары да игрушечные баньки.

В деревне два порядка, а на них и всего-то уместилось пятнадцать изб. Я живу в крайней вверху, а Колька – внизу. Внизу жить лучше. У Кольки от крыльца, как на ладони, и низина между холмами, и речка с вечно разбитым мостом, а из наших окон виден только лес, за которым уже нет никаких деревень...

Иду по деревенской улице и думаю, кого пригласить на день рождения, а кого нет.

Всех девчонок, конечно, звать не буду, приглашу только Ленку Семичеву и Тамарку Мошкову. Ну, Кольку, само собой. Гланьку звать не буду. Она уже ходит в школу и с нами гуляет редко. Да и не нравится она мне. Галька Цветкова еще маленькая, ей всего три года, хотя за нами по деревне таскается, как хвост. Кого еще? Вальку Каюрову, чуть не забыл. С ней мы иногда играем в фантики, у неё их много и все любовно сложены в красивые коробки из-под конфет. Вот и всё. Теперь можно идти по домам.

С кого начать? Пойду снизу – от Каюровых.

У Каюровых изба большая. Она смотрит на дорогу и на всех, кто по ней проходит, чуть свысока. Крыльцо тоже с крутыми ступеньками. Пока поднимаешься, не один раз порогу поклонишься. На окнах висят узорные наличники, будто короны, а вверху у них резьба, похожая на павлиньи перья, и окрашены ярко, но пёстро. Я редко бываю у Каюровых и потому захожу к ним робко.

Рядом на бугре стоит не изба, а избенка Осиповых. Хоть и стоит она на холме чуть выше, а всё равно кажется ниже каюровского дома, потому что старое крылечко давно покосилось, а два-три самых толстых венца избы уже вросли в землю. Так что и окна у неё уткнулись взглядом не в дорогу, а в тропинку под ними.

Здесь живет мой друг Колька.

Следующий по этому порядку дом Мошковых.

Он состоит из двух соединенных изб и всегда напоминает мне куриц, стоящих задом друг к другу. А курицы похожи на своих хозяек. Та, у которой хозяйка Ермиловна, худая и обтрепанная, а другая, которая кормится у Груни, толстогрудая и с широкой спиной.

Так и представляю, как, закипая злостью, поцарапают они сейчас когтистыми лапами землю, гребешками грязными потрясут гроздно, шпорами поскребут и разбегутся перед дракой в разные стороны. В той избе, что окнами на деревню, у Ермиловны, и живет Тамарка. Она тоже задиристая. Отец у неё сидит в тюрьме за драку, но скоро должен выйти. Я его никогда не видел, а, если и видел, то не запомнил.

Гланькину избу прохожу мимо. Она нахохлилась, как испуганная, и дрожит с серыми полузакрытыми ставнями на окнах. Дальше огороженного изгородью клочка земли ничего не видит и не слышит. Даже вперед чуть подалась, накренилась от старости и нахлобучила козырек крыши на морщинистый тесовый лоб. В нём Гланька живет вдвоем с матерью – замкнуто и нелюдимо.

За их домом большой деревенский пруд. В деревне есть еще один – поменьше. Он у нашего дома, но воду берут только из этого. У берегов он зарос жесткой осокой, и наполовину затянут чешуйчатой рогожкой желто-зеленою тины. В нём водятся караси. По праздникам мужики ловят их бреднем и тут же на берегу жарят их на закуску.

На открытом месте вода рябит, как стиральная доска, и подбивает край рваной рогожки утиным пухом и перьями.

На мостках стоит Семичиха, Ленкина бабушка. Лица её не вижу. Она в красном платке и черной фуфайке. Шумно расплёскивает ведрами тину, чтобы зачерпнуть воды, а тина цепляется за дужки. Семичиха собирает зелёную слизь пальцами и выбрасывает на берег. Вёдра с водой она носит в руках, потому что до избы ей только дорогу перейти.



У Семичевых дом похож на хозяина.

Дядя Леша хоть ростом и маленький, но мужик живой и громкий. Особенно, когда выпьет. Тогда его по всей деревне слышно. Очень любит хвастаться или, как говорит моя бабушка, перед людьми побахвалиться. Иной раз и с гармонью по деревне пройдет, завернет в каждый заулок и кого у крыльца застанет, того уж без задушевной беседы не отпустит.

Вот и в доме, срубленном им года три назад, есть какой-то кураж. Он, если идти снизу, стоит на левом порядке и как раз посреди Попова. Нет, скорее даже не стоит, а гордо красуется перед старой, уже в годах, избой, в которой живет тетя Женя Соколова. Её муж был родным братом моего дедушки, но погиб на войне. Тётя Женя так и живет одна. Иногда у неё гостит моя сестренка Наташка, но редко.

Дом Семичева и в ненастные дни весь будто светится и словно приподнимается над землей – легко и радостно. На окнах затейливая резьба и не в два цвета, как у Каюровых, а в четыре или в пять, и смотрят они не на дорогу, а поверх кустов сирени куда-то далеко за горизонт. Уж какое, кажется, у Каюровых крутое и высокое крыльцо, а у Семичевых на нём ступеней еще больше.

И не изгородь из жердей колко щетинится у него перед домом, не тычинником он осиновым обнесен вокруг, а резной палисад опоясывает его, да весь из выстроганного штакетника, заостренного на концах, как чернильные перышки, и даже с дырочками посередине.

В таком вот красивом доме живет Ленка.

А рядом с ним стоит дом Гальки Цветковой. Одним боком он выходит в заулок к Семичевым, а другим – в сад. Там уже других изб нет до самого низу. Одни сады. По лицу у дома всего три окна, но и те не видны за кронами яблоней и черёмух. А сколько окон обращено в сад, не видел и не знаю.

Дом очень похож на тёту Лиду Мазову, Галькину мать. Она такая же скромная и тихая. Я и вижу-то её только когда она летом скотину во двор застает, да когда к свекрови своей, Марье Васиной, в гости ходит. Она и ко мне хорошо относится и при встрече всегда угощает конфетой.

Но к Гальке я заходить не стал. Не зашел и к Ленке Цветковой, её двоюродной сестре. Она тоже еще маленькая, как и брат её – Колька. А больше моих сверстников в деревне и нет.

Всех, кого хотел, я обошел и, главное – застал дома. Все обещали к обеду прийти в гости. Теперь можно и мне со спокойной душой возвращаться домой...

#### 4.

Я не успел еще порог переступить, а дед уже спрашивает:

– Ну, всех ли обошел? У нас с бабушкой всё готово.

Я прошел в переднюю и ахнул. Стол и впрямь ломился от пирогов, и от них в избе стоял такой слоеный запах, что у меня потекли слюнки. Я едва успевал их сглатывать.

Дед надел чистую фланелевую рубашку, и теперь выглядит бодро и празднично. Он даже побрился. Об этом я догадался не только по припухшим щекам с порезом на виске, но и по слабому запаху тройного одеколона. Им дедушка пользуется только после бритья. Дед хлопотал у шкафа с посудой. Открывал и закрывал ящики. Что-то искал. Бабушка тоже принарядилась. Она оправляет перед зеркалом белуюшелковую блузку с широкими рукавами и серебристой брошью под воротником.

Через полчаса я уже принимаю подарки. Колька, опустив глаза, не без жалости вручает мне паствушию плетку с резной деревянной ручкой и с хлопцом из конского волоса. Наверно, дядя Толя сплел её Кольке, но у него другого подарка не нашлось, и он её пожертвовал мне. Не ожидал.

Тамарка торжественно, как артистка, выходит на середину избы и преподносит мне коробку цветных карандашей, уложенных в два ряда и еще не заточенных. Она дарит их от чистого сердца, а сама стоит такая довольная, улыбается, будто это у неё сегодня день рождения, а не у меня.

Валька Каюрова после неё смущенно и виновато сует мне в руки плоскую коробку с золотистыми фантиками от шоколадных конфет. Она уже давно обещала мне их подарить, но дождалась удобного случая. Теперь я буду добавлять в коробку фантики от конфет, которые мне мама присыпает из Иванова. На столе у самовара их полная ваза.

Вот и Ленка Семичева скромно дождалась своей очереди, подходит и, краснея, протягивает мне, будто в благодарность за подснежники, толстую книжку в твердой обложке и тихо, почти шепотом, говорит:

– Выучишь буквы и прочитаешь...



Держу подарки в охапке, потом, видя, что ждать больше нечего, кладу их на диван и достаю из-под лавки железную машинку, достаю, чтобы на глазах у девчонок похвастаться перед Колькой. Перед ним и держу её: то так разверну, то эдак, то колесами крутану, то кузов подниму, а Колька смотрит на меня, но даже глазом не моргнёт и никакого удивления не выказывает. Ну, думаю, ладно! Завтра, когда играть у дома будем, спрошу, понравился ли ему мой самосвал?

— Спасибо всем за подарки, — не я, а бабушка благодарит гостей и хлопочет вокруг нас, как наседка над цыплятами, — а теперь занимайтесь места за столом и угощайтесь.

Дед усаживает нас за стол, а сам садится во главе его — себе в граненый стаканчик наливает водки, бабушке в зеленую стопку красного вина и, поглядев на меня, говорит:

— Ну, дорогой внук — с Днем рождения! — Притягивает меня к себе и целует в темечко. — Расти большой и умный! — На последних словах голос его уже дрожит, а глаза туманятся от слёз.

— Ну, дело, — качает головой бабушка, толкает его в бок, достает платок из рукава и сует деду. — На-ко, утрысь, чай, не на поминках, дурья башка.

Дед смахивает со щеки слезу, поднимает стопку, чокается с бабушкиной рюмкой и выпивает.

Мы смотрим и ждем, когда дед крякнет и сморщится, а потом шумно набрасываемся на бабушкины пироги...



## ДЕД МИХАИЛ

### 1.

Сколько себя помню, дед всегда хромал (правая нога в коленке не сгибалась) и катал валенки. А на фотографии, что висит над кроватью, он сидит в форме лесничего с ромбиками в петлицах. Тогда он держал и собаку и бегал с ней по окрестным лесам. Правда, в моей памяти от неё остался только веселый лай.

С тех пор, как дед оставил лесную службу, он целиком отдался ремеслу каталя. Потому с поздней осени до весны мы щиплем по вечерам шерсть. Её приносят заказчики, а приходят они со всей округи.

Вот и сейчас я наблюдаю, как дед обстоятельно оформляет очередной заказ. Женщина пришла из залесской стороны – из Богородского. Там я никогда не бывал и даже не представляю, как за лесом живут люди. Женщина, а зовут её Зинаида Петровна, скинула на плечи ворсистый полушалок, огладила на голове волосы, и от неё пахнуло морозной стынью и духом парного омшаника.

Дед важно надевает очки, достает из-за зеркала тетрадку в зелёной обложке и разворачивает её перед собой на столе. Углы у неё топорщатся, как в колоде засаленных карт, а листки по краям замызганы и потрёпаны толстыми и жесткими дедовыми пальцами.

– Дорога-то не заросла? – Спрашивает дед. – Или ничего?

– Ой, и не говори, Михаил Семёнович, – вздыхает женщина и вздохом своим выказывает всю усталость, накопившуюся в ней за дальнюю лесную дорогу. – Одно название. До делянок колеи, того и гляди соскользнёшь и завязнешь, а между делянками ни следочка, идешь почти на ощупь.

– Тебе с покраской?



— Хозяин просил черные. — Зинаида Петровна с морозца отошла, глаза у неё засинелись, а упругие щеки налились малиновым румянцем. — Да ты и сам знаешь, какие мужику надо. И старым-то валенкам износа нет, а ему выгульные подавай. Иди, говорит, к Семёнычу, пусть новые катает. Вот и пришла...

Дед встает из-за стола, подцепляет пестрый куль с шерстью на крючок безмена с белыми точками и насечками, приподнимает его над полом и потрескавшимся пальцем двигает веревочку, приспособленную от почтового ящика, по железному пруту с круглым набалдашником на конце.

— Хватит ли? — на всякий случай спрашивает Зинаида Петровна. Она уже совсем разомлела и распахнула тулуп на овечьей шерсти. На серых валенках, набухая, светятся серебряные шарики растаявшего снега и скатываются бесшумно на крашеный пол.

— В самый раз, — успокаивает дед. — А не хватит, так добавлю...

Дед муслякает карандаш и надписывает куль, после чего на губах его остается синюшный цвет.

— Когда приходит?

— А через месяц, думаю, будут готовы.

— Ну и ладно! — Зинаида Петровна засобиралась в дорогу.

— Вот и спасибо. Побегу обратно, пока светло. Даst Бог, до сумерек успею...

— Иди, матушка, чайку выпей, — появляется из кухни бабушка.

— Не близкий путь. Да и пирога отведай.

Зинаида, как водится, сначала отказывается, а потом поддается на уговоры и быстренько скидывает с себя платки и тулуп.

Дед снова садится за стол и заносит в тетрадку какие-то цифры...

## 2.

После обеда мы с дедом собираемся в Сумароково. У него там какие-то дела. Редкий случай, когда идем без бабушки, а это значит, домой вернемся затемно. Я люблю ходить в село с дедом.

— С мужиками не путайся, — строго наставляет бабушка. — В контору зайдешь и сразу обратно. Ты, Вовулька, если что неладно, так за рукав его, за рукав. — Она поворачивается и уже меня придиричivo оглядывает с ног до головы, как-никак отпускает на люди, потому и сборы такие долгие. — Одного деда не оставляй, слышишь, что говорю-то?

Она провожает нас до гумна, накинув на голову теплый платок с бахромой по краям. Не оборачиваясь, чувствуя, как бабушка, застыв у отводки в гуменник и прижав к груди концы не завязанного платка, смотрит с тревогой нам вслед и с молитвой благословляет в дорогу. Она так провожает всех.

День выдался серый и тихий. Я люблю затишье перед первыми зимними вынуждами, когда осенний цвет еще вершится над белым подшерстком и с каждым днем в безмолвной округе становится светлей и просторней.

Гляжу в пустое небо и не вижу, как с него падает снег. Кажется, он рождается только у самой земли и на моих глазах превращается в хрупкие снежинки, расшитые тонким ледяным узором. Снежинки весело порхают передо мной и невесомо кружатся, жаля небесным холодом мои горячие щеки. У меня тоже, глядя на него, становится на душе радостно и светло.

Дед тоже любуется снегом. Он подставляет ему лицо, прикрывает глаза и жадно вдыхает морозный воздух, а у старой черёмухи, откуда начинается спуск с нашего холма, дед вдруг останавливается и некоторое время молча смотрит в серую даль, словно хочет увидеть там что-то такое, что однажды в ней навсегда растаяло над горизонтом.

Я смотрю то на деда, то вдаль, но в её молочном кипенье над низиной не видно ни дальнего иващевского холма, ни деревни на нём, и уже невозможно разобрать, где начинается снег и кончается небо, и наоборот.

С горы на гору идем молча. У моста дед выламывает в ольшанике палку. С ней удобнее подниматься в гору. Дед почему-то редко берет клюшку из дома. Она у него хоть и самодельная, из бредины, но гладкая, почти с отполированной ручкой, а на конце у неё железный наконечник. Наверно, забывает брать, когда выходит, по деревне привык обходиться без клюшки, а вспоминает о ней, когда чувствует, что без неё можно и оступиться.



В Сумароково мы входим припорошенные снежком. Перед самым кладбищем у старой церкви, нарушая долгое молчанье, спрашиваю:

– Дюдь, а что значит пожарка?

Дед остановился у брошенной избенки с выбитыми окнами и дырявой крышей с голыми стропилами.

– Да, вот тут она и была, – пожарка-то. – Дед резко останавливается, будто только этой минуты и ждал. Он обхватывает конец палки обеими руками и опирается на неё грудью. – А ты про неё откуда знаешь?

– Бабушка говорила.

– Ну-ну. Тут инвентарь пожарный хранили: насос да шланги для него, багры, топоры, ведра, лестницы, бочки с песком. Теперь, видишь, ничего не осталось. Не знаю, куда и девали всё. Поди-ка, в инвалидном доме держат. Больше негде...

Пожарка да еще у кладбища – место, конечно, не самое спокойное, но мимо него из Сумарокова в Попово не пройти. Потому и пробегают люди пожарку молча, не оглядываясь и опустив глаза на тропку, а бабушка еще и крестится.

Минут через десять через бывшие монастырские ворота, арка над которыми давно рухнула, мы входим в старинное село, куда я через год буду ходить в школу...

### 3.

Сначала мы заходим в контору. Кого надо, дед на месте не застал, вышел на крыльце недовольный. Уж не оттого ли и закашлялся до чиха, так что лицо налилось кровью и стало багровым, как после бани. Он достал из кармана платок и осторожно промокнул его концами слёзы в уголках глаз.

– Пойдём дальше, милый внук. – Дед берёт меня за руку, и мы с ним по деревянным мосткам с выломанными досками пробираемся к бывшему монастырскому собору из красного кирпича.

Раньше в нём молились монашки, а теперь мужики ремонтируют колхозную технику. В мастерских я никогда не бывал. В соборе сумрачно и грязно. Кирпич закопчен, штукатурка отваливается и шелушится. В углах темно, а у стен грудятся железки, колеса и гусеницы. Воздух сырой и с привкусом свежего бензина.



Поднимаю голову и вижу на пыльных сводах некогда синего цвета облупившиеся лики ангелов Божьих. Мне стало зябко и неуютно, когда я почувствовал на себе их кроткие, но с укоризной, взгляды. Может, среди них глядел на меня и мой ангел-хранитель? Чем же им так не угодили люди?

Я стоял посреди собора под высоким куполом, похожим на светлый небесный свод, а вокруг меня сновали вполне земные мужики в черных засаленных фуфайках. В них даже вата, выбившаяся из дырок, имела цвет крашеной шерсти. Рабочие переходили из одной каморки в другую, о чем-то друг с другом переговаривались, иногда смеялись, а чаще молчали, озабоченные своими ремонтными делами. Лица у них тоже были темные, будто нарочно измазанные печной сажей, а усталые глаза бессмысленно блуждали по залитому соляркой земляному полу.

Дед снова тянет меня за руку. Мы входим с ним в помещение с одним окном и врезанной кованой решеткой. В ней за железным столом сидит сгорбленный мужичок и скрябает напильником по железке, зажатой между коленями.

— Бог в помощь, — громко приветствует дед.

Мужичок, не распрымляясь, поворачивает голову и прощупывает нас исподлобья острыми мышиными глазками. Вижу, что он узнал деда, но выражение глаз его не меняется и по-прежнему остается настороженным.

— Здорово, говорю, Степаныч, — повторяет дед и протягивает руку. — Или не признал?

— Михаил Семёнович, — оживляется Степаныч, откладывает железяку и встает из-за стола, отряхивая от крошки брезентовые штаны. — Какими судьбами?

— Да вот, Михаил Степаныч, зашел внука тебе показать, — говорит дед. — Ученника твоего Валентина — сын. Да и сам батько просил — зайди, говорит, к Сытинову, привет передай.

— Ну? — удивляется Михаил Степанович и ловким движением головы сбрасывает со лба на нос весёлые очки с толстыми стеклами. — Дай-ка, погляжу. А ну-ка иди к окошку, тут светлее.

— Он подает мне маленькую руку, осыпанную серебристой крошкой. — Давай знакомиться. Я — дядя Миша Сытинов, медник, а тебя как величать?

— Вова, — подхожу к нему и, не робя, вкладываю руку в его раскрытую ладонь, испещренную тонкими черными



трещинками, а он прихлопывает её сверху другой ладонью и уважительно трясёт.

— Значит, Владимир! — Дядя Миша приседает на корточки и глядит на меня поверх очков и совсем не мышиными, а скорее коровьими глазами, добрыми и влажными. — А я вот батьку твоего, Валентина, ремеслу обучал. Способный был ученик. Налету всё схватывал. Ты вот спроси-ка у батьки-то, спроси, как он в Брызгалове у матки вёдра да самовары чинил. — Дядя Миша, приподняв очки, озорно подмигнул мне. — Скажи, дядя Миша, мол, медник, привет тебе передавал и велел в гости заходить. — Дядя Миша выпускает мою руку и встаёт, с трудом разгибая спину. — Ну, так что — спросишь?

— Спрошу, — уверенно отвечаю и пристраиваюсь у дедовой ноги.

— Семеныч, — обращается он к деду, — а ведь, как вчера, всё и было, во, как время-то летит — не успел оглянуться, а уж внуки на пятки наступают. — У дяди Миши, когда он говорит, скулы как-то нескладно ерзают под кожей и даже уши под кепкой участливо шевелятся, будто весь он на шарнирах. — Может, сообразим за встречу?

Я чувствую, что дело начинает клониться к выпивке, и украдкой дергаю деда. Правда, не за рукав, как велела бабушка, а за штанину.

— Да, нет, Степаныч, в другой раз.

— Ну, ладно, пусть растёт. А за такого внука не грех бы стопочку пропустить, верно, я говорю, — улыбается дядя Миша и снова хитро подмигивает мне, будто заметил он, как минуту назад я дернул деда за штанину.

Мы прощаемся и выходим из его каптерки. Пока идем к главным дверям, дед говорит мне:

— Теперь знаешь, где и с кем батька твой работал. Приедет, так расскажи ему, не забудь! И привет от дяди Миши передай. — Дед оглядывает мастерскую, будто вспоминает что. — Вон там, слева, видишь, дверь открыта — там слесарный цех, а здесь — по ремонту радиаторов. До самой службы батька тут и работал...

#### 4.

Мы обходим собор кругом. По дороге заглядываем в настоящую кузницу. Она примыкает к монастырской стене.



В ней я увидел, как искрит под молотком раскаленная добела заготовка, и услышал, как звенит наковальня. Жаль, что самого кузнеца не разглядел. Он стоял спиной к нам и ни разу в нашу сторону не повернулся.

Обогнув собор, мы вышли к магазину, но в него дед заходить не стал, хотя и помялся в раздумье у крыльца.

– Пойдем к сапожнику, – дед решительно направляется к дому, стоящему рядом с магазином под огромной береской с кисейными ветвями. Я иду рядом с ним и уже предвкушаю новую встречу с кем-то из знакомых деда. К сапожнику, так сапожнику. Мне с дедом везде интересно и друзья у него веселые.

На этот раз мы не поднимаемся по ступеням крыльца, как в любом нормальном доме, а спускаемся по ним вниз, как будто в подземелье. Одна ступенька, вторая, считаю на ходу, ухватившись за рукав дедова пальто, третья, и вот уже дед, нашаривая в потьмах ручку, пытается открыть дверь, но она шумит с хрипом, не даётся.

– Сильней дергай, – подсказывает голос за дверью.

Дед, чувствую, напрягается, даже зад свой отставил, да так, что я едва не споткнулся о нижнюю ступеньку и не сел на неё. Наконец, дверь вздыхает, скрипит, как простуженная, и нехотя, будто с обидой, подается и медленно приоткрывает сумрачное пространство комнаты с низким потолком и тремя тусклыми окнами. Нас с порога обдает терпкий, тяжелый дух сапожной мастерской. Дед пригибается, с трудом перетаскивает через порог хромую ногу, и неходит, а вваливается в тесную и душную комнатушку.

– Михаил Семёнович! – радостно встречает деда веселый и гостеприимный хозяин. По всему, дед у него в гостях не первый. На подоконнике стоит пустая бутылка из-под водки, а рядом – открытая консервная банка с килькой в томате, прикрытая куском черного хлеба. – Проходите, гости дорогие! Уж как я рад, как рад!

– Здорово, Иван Фёдорович! – дед тоже к хозяину с почтением.

– Вот, как видишь, и не один – с внуком.

У Ивана Фёдоровича глаза просто светятся и даже уши блестят, будто гусиным салом смазанные, в уголках губ краснеет соус, а на щеках сквозь жесткую щетину, дня три не бритую, пятнами пропадает болезненная краснота.



Хозяин сбрасывает со стула валенок и пододвигает его мне, а потом смахивает с табуретки хлебные крошки и даже протирает её рукавом фланелевой в полоску рубахи.

— Садись, Семёныч! Не побрезгуй. У меня тут, — Иван Фёдорович оглядывает свою каморку, — сам понимаешь, праздник у меня. Так что прошу к столу. А внуку вот, — он разгребает на столе нарезанную для заплаток резину, находит карамельку в медовой обёртке, обдувает её и сует мне. — Как тебя, внук, звать-то-величать?

— Вова, — отвечаю заученно, беру у него конфету и зажимаю в кулаке.

— Ну, вот и хорошо, что Вова, а меня зови дядя Ваня. Сапожник я. Дедушка твой меня давно знает. Правильно я говорю, Михаил Семёнович?

Дед расстегивает пальто и садится на табуретку. Чувствую, деду здесь хорошо. Иван Фёдорович, широко расставив ноги, по-хозяйски восседает на осиновом кряже, укрытом домотканой дорожкой, и а мы с дедом по обе от него стороны. Случись что, за рукав мне деда не дернуть.

— Михаил Семёнович, а давай по капочке, а? — дядя Ваня нагибается и вытаскивает из-под стола бутылку с остатком, она кое-как заткнута свернутой газетой. — Уважь старого друга.

Дед молча соглашается. Я делаю вид, что не вижу, отворачиваюсь и гляжу в окно. Оно голое — без занавесок. Нижние окна, а дом двухэтажный, над землей на высоте одного-двух венцов, не больше. Из них хорошо видно крыльцо магазина с перилами, а крышу уже не видать.

Пока дед с дядей Ваней чокаются и наперебой что-то друг другу втолковывают, я осматриваю мастерскую. На столе у сапожника чего только нет, но в диковинку мне лишь маленькие гвоздики с золотистой изнанкой. Таких я у деда не видел. Ими, наверно, подбивают каблуки. А еще мне понравилась здесь картина. Она тоже в золотой рамке с резьбой. В одном простенке висит зеркало с ржавыми осинами, а в другом — картина, на которой нарисовано ржаное поле и сосны. Поле точно такое же, как и у нас за окольцей, только без сосен.

— Ты слыхал, Семёныч, — Иван Фёдорович, приобняв деда за плечи, громко шепчет ему на ухо. — Самогонщиков ищут. У Вальки Пановой аппарат нашли в голбце и на её глазах раскурочили. Во как! И штраф выписали. Ты, если гонишь,



---

поостерегись. Как другу тебе говорю. Инспекторы как из-под земли являются, и с ними милиционер с наганом. Не знаешь, когда и нагрянут. Говорят, у них и собака на запах натаскана. Такие вот, Семеныч, у нас на Руси дела нынче хреновые...

Дед слушает и моргает глазами. Он всегда моргает, если выпьет. Бутылку они уже опорожнили. Хорошо, что не побежали за второй.

Ловлю паузу в их шумном разговоре и, чтобы успеть, скрёхонько вставляю:

— Дюдь, может, пойдём.

Нет, не слышит. Встаю и подхожу к нему. Долго стою — не видит. Тогда я дергаю его за рукав, и он вздрагивает.

— Что? Или пора? — Смотрит на часы, потом в окно — не темнеет ли, и начинает сворачивать разговор.

— Пять минут, внук, на прощанье и пойдём.

Выходим через час, когда сумерки сгостились, и хозяин зажег в каморке керосиновую лампу. При её свете в ней стало уютнее и теплее. Прощаемся у порога. Дядя Ваня сам открывает дверь и с лампой выводит нас на улицу. Чистый воздух сразу вскружил мне голову, сердце забилось часто, как после угарной бани, и так громко, что я впервые услышал его и почувствовал, как от его ударов содрогается всё мое маленькое тело...

## 5.

Бабушка встретила нас молча. Она поняла, что дед не удержался и выпил, но не много. Это и спасло его от взбучки.

— В сапожной что ли сидели? — будто невзначай спрашивает меня бабушка, когда дед выходит на мост, и, не дожидаясь ответа, мне же и рассказывает: — Они с Иваном-то с юности дружат. На беседы вместе ходили. Ваня один так и живёт — жену похоронил, а деток Бог не дал. Много выпили-то?

— Нет, — отвечаю, — остаток...

— Ну-ну, — успокаивается бабушка.

После ужина дед развязывает серый тряпичный куль, принесенный с подволоки, и мы дружно садимся щипать шерсть. Дед усаживается у стола под керосиновой лампой. Сегодня она горит ярче. Утром бабушка начистила стекло газетой. Я с ногами забираюсь на диван. Здесь, у печки, теплее. А бабушка пристраивается на стуле под фикусом.



Я, если честно, шерсть щипать не люблю. Она вся какая-то путаная и сальная. Два-три сухих репья выташу, и пальцы уже слипаются. Бросаю очищенную шерсть в желтый картонный короб, а колючки и грязь — прямо на пол. Бабушка потом подметет.

Так и сидим весь вечер. Чаще молча. За день бабушка с дедом так умаются, что им уже не до разговоров. Сидят и думают о своём. Я тоже им не надоедаю, хоть мне и скучно. Слушаем радио, если оно играет. Чаще оно тоже молчит, потому что ветер провода захлестывает.

А сегодня дед познакомил меня со своими друзьями. Они мне понравились. Добрые, хлебосольные люди и даже смешные. Знаю, что дед чуточку провинился перед бабушкой, уговор нарушил и пригубил водочки. Потому, пользуясь случаем, я прошу его рассказать про Ивана Сусанина, зная, что не откажет:

— Я же рассказывал.

— Ну и что, — сердито вмешивается бабушка. — Не переломишись...

— Дело было зимой, — услышав грозный голос бабушки, дед вступает сразу и уже без разговоров.

— И время на Руси было смутное. В Москве поляки сидели, а царь наш прятался в Костроме, в монастыре жил — в Ипатьевском. Представляешь, что такое монастырь-то? В Сумарокове мы тоже в монастыре были, но бывшем. Вокруг него стену кирпичную с воротами видел? Вот это и был монастырь.

— А туда какой леший носил? — опять вступает бабушка. — Или грязи мало видели? Ты же в контору ходил?

— Так вот и говорю, смута на Руси была, — дедушка, будто не слышит и на вопрос бабушкин не отзывается, поворачивается в мою сторону и продолжает. — Поляки узнали, где прячется царь, и послали стражников, чтобы найти его и схватить. Долго они плутали и блудились по нашим лесам дремучим, пока не вышли к деревне, где жил Иван Сусанин. Это недалеко от села Домнино. Летом, как на ярмарку поедем, так покажу.

Сабли над его головой обнажили:

«Веди, говорят, нас в Кострому. Да не дальней дорогой, а ближней, а не поведешь — голова с плеч».

— И что, повёл он их?



— Да, внук дорогой, повёл, но ты лучше спроси — куда? А повёл он их в топкое болото и на верную погибель. До того болота и от нашей деревни поди-ка километров семь, не больше. Вот по нему-то, внук милый, и повёл он заклятых врагов царя нашего батюшки и всей русской земли.

Идут они, идут, а лес-то всё гуще и гуще. — В этом месте у деда голос становится вкрадчивым и глухим, будто сказочным.

— Вот уж из сил враги выбиваются, а снег-то у них под ногами всё глубже и глубже, и проваливаются они в нём по самый пояс.

На снегу-то следы волчьи в узлы завязаны, и слышно, как звери хищные близь стражников ходят и заупокойно подзывают за снежными ёлками. В дебрях лесных с каждой минутой становится всё холоднее, глуше и темнее. На небе за тучами месяц острый, как сабля кривая, над врагами занесен и холодно поблескивает серебряной сталью, а деревья под тяжестью снега поскрипывают и, как живые, покачиваются да за полы вражьих шуб дорогих прихватывают...

Враги догадываются, что ведет их Иван Сусанин не к царю русскому, а на верную смерть. Вот вскричали они гневно, сабли вон из ножен выхватили.

— Что ж ты, — кричат на своём тарабарском языке, — такое, старик негодный, против нас удумал, уж не погубить ли в этом гнилом болоте?! Шапку с него сорвали, и сабли над его седой головушкой занесли.

— А вот, — отвечает он им, — здесь ныне найдёте вы смерть вашу и могилу и никогда не видать вам царя нашего батюшку Михаила. Умрите же, окаянные, пусть и другим впредь неповадно будет на землю русскую с мечом приходить...

Тут враги налетели на него и саблями зарубили. Так он и сам в болоте погиб, и врагов ненавистных в нём утопил. Мужики его наутро нашли мертвого и вынесли из болота. Похоронили героя в Спас-Хрипелях.

Потом сам царь в Домнино приезжал, здесь была его родная вотчина. Его мать-то, Ксения Ивановна, была дочкой боярина Шестова, которому эта земля и принадлежала. Как узнал царь о подвиге Ивана Сусанина, так сразу велел прах его перезахоронить в домнинской Воскресенской церкви, что и было исполнено.



Потом ему и памятник в Костроме поставили. Вот такой, внук милый, на земле нашей жил герой. Вся земля русская почитает его за этот подвиг. Поэты стихи ему посвящают, композиторы песни, а художники — картины. Его именем и райцентр наш назвали. Во каких людей рождает земля русская...

— А какой он был? — спрашиваю у деда.

— А такой, как я, только не хромой. — Дед посмотрел на меня и для виду приосанился. — В плечах, думаю, пошире был, а ростом — ростом такой же. И с бородой. Вот отпушу бороду и точно на Ивана Сусанина похож буду. У меня уже и посох осиновый на подволоке сохнет...

Я исподлобья смотрю на деда. Он перестал щипать шерсть и так вдруг заморгал глазами, как будто вымывал слезой залетевшую в них мошку. На его лысый затылок с редкими спутанными волосами стекал свет от лампы, висевшей над ним, свет тихий и густой, будто лампадный. На улице бился о стекла бездомный ветер.

Как все же хорошо в такой час сидеть в жарко натопленной избе и щипать в бумажный короб серую свалывшуюся шерсть. Завтра днем дед будет её бить.

Часы натужно отзвонили девять, и мы, свернув работу, не спеша, укладываемся спать...

## 6.

Утром короб с очищенной от колючек и грязи шерстью дед унес в баню.

После завтрака я прихожу к нему, сажусь на лавку у окна и смотрю, как дед бьёт шерсть. На стене, что напротив окошка, висит его главный инструмент, похожий на большой лук с туго натянутой кожаной тетивой. Дед говорит, что свита она из высушенных бычьих кишок. Одной рукой дед лук держит, а другой дергает по желтой певучей струне деревянной зацепкой. Струна звенит, как взлетающий шмель, и мелко-мелко дрожит, да так, что рябит в глазах.

Серая дымчатая шерсть летает вокруг неё, как ужаленная, и, покрутившись, превращается в невесомый пух. Звон больно отзывается в ушах и как будто закладывает их ватой. Взбитая шерсть, как паутина, опадает в тот самый картонный короб, в

который мы её с вечера складывали, а пыль манной мучкой плотно оседает на прокопченные бревна. От неё и короб на моих глазах превращается из желтого в белый.

– Дюдь! – говорю я, откашлявшись от пыли.

Но дед с первого раза меня не слышит. И тогда я кричу во весь голос. Дед поворачивается, и я не сразу узнаю его. Даже вздрагиваю. Всё – и слизи на лбу волосы, и густые пшеничные брови, и даже черная на подбородке щетина, всё было припорошено пылью, похожей на пыльцу от весенних вербных почек.

– Чего тебе?

– Долго еще?

– Заканчиваю...

Трогаю пальцем свои щеки. На них тоже осела мягкая и липкая пыль. Она даже на язык попала, размокла и вяжет слону. Минут через пять дед собирает взбитую шерсть в короб, и мы возвращаемся в избу...

У нас в кути летом всегда стоят кросна. На них бабушка ткет красивые половики. Весь угол у неё завален коробками с разноцветными клубками. Раньше бабушка стригла ленты из старых выношенных рубах и платьев, а теперь мама шлет ей и привозит тряпки и нитки из Иванова.

Я тоже иногда сажусь за кросна, пропихиваю бердо с лентой между двумя рядами льняных ниток и, что есть силы, прибиваю её к вытканному уже холсту-новине. Но сижу за кроснами недолго, занятие это женское и потому мне оно быстро надоедает. Другое дело катать валенки.

Осенью дед убирает кросна на подволоку, а на их место ставит у окна стол, покрытый зелёной клеёнкой в коричневую линейку. Зимой этот закуток полностью в распоряжение деда.

Вот и сегодня после обеда дед садится за стол, устраивает под ним хромую ногу и начинает, не спеша, лепить из шерсти шерстяной чулок. Такой большой, что в нём я мог бы поместиться с головой. У меня всегда есть желание залезть в него и погреться. Особенно, когда прибегаю с улицы с замёрзшими руками. К чулку меня дед не допускает, тогда я прислоняю ладошки к его теплой спине и согреваю их.

Когда я гляжу на деда с печки, отдернув занавеску, то мне кажется, что дед, склонившись над заготовкой, что-то



нашептывает и колдует. Он пальцами зачерпывает из короба взбитую шерсть, отщипывает клочок и, как заплатку, прилепляет его там, где не хватает. Одной пятерней дед ощупывает чулок изнутри: где палец покажется, значит, там еще тонко, туда и шерсти добавляет, а потом другой ладонью похлопает по этому месту и ласково его огладит. И так он сидит долго, и кажется, дело это ему в радость и никогда не надоедает. От него он не устает.

Потом дед заворачивает чулок в грубую холщовую «постель» цвета солдатской шинели и начинает по ней шаркать шершавой ладонью, время от времени меняя руки. Тряпица эта у него так засалена, что на ней постоянно нарастают черные смолистые коросты.

Дед смотрит в окошко и о чем-то думает. Пока он гладит заготовку, на улице смеркается, но он лампу не зажигает, гладить можно и в темноте. Каждое движение у него с годами так отлажено, что он может заложить валенок даже с завязанными глазами.

Бабушка управляется со скотиной, хлопает дверями, таскает вёдра с пойлом и водой, и, пробегая мимо, чертыхается и делает всё так громко, как будто бы деда не только в избе, но и в кути тоже нет. Дед, правда, и сам в этот час не обращает на бабушку никакого внимания, если только вдруг, раздумавшись, не вспомнит о чем-то таком, что и бабушки касается. Тогда он окликнет её, уточнит, что ему надо, и снова погрузится в глубокое молчанье...

Иногда я подхожу к деду, сажусь рядом с ним на табуретку, но так, чтобы не мешать ему, и на конце холстины, лежащей на столе без дела, скоблю ногтем запекшуюся грязь. И сейчас слезаю с печки, незаметно подкрадываюсь к деду со спины и обнимаю его за шею, но тут же отдергиваю руки, уколовшись о его жесткий не бритый подбородок. Дед перехватывает меня сзади свободной рукой, привлекает к себе и чмокает в затылок.

— Смотри-ка, что я тебе подготовил.

Дед отодвигает к окну заготовку, дотягивается, не вставая с места, до кармана фуфайки, достаёт белый матерчатый мешочек и высыпает из него на клёнку крохотные деревянные колодки.

— Ну что, внук, семь лет тебе исполнилось, большой стал, теперь можно и за валенки браться?



---

Дед давно обещал мне вырезать колодки и научить катать валенки. Я ощупываю пальцами каждую из них и не могу поверить, что они, белые и гладкие, точно такие же, как и у деда, только маленькие. Сегодня вечером я буду щипать шерсть на мои валенки, первые, которые я скатаю сам, и завтра снова пойду с дедом в баню, чтобы посмотреть, как моя шерсть, отлетая от звонкой струны, будет невесомо пушиться над ней и опускаться в желтый короб.

— Завтра утром пойдем в баню — посмотришь, как я стираю...

— Дело ли говоришь-то, — не ленится и выходит из кухни бабушка. — Чай, ребёнок. Задохнется в твоём чаду. — Она качает головой, сердито сводит брови и крутит у дедова виска согнутым пальцем.

Дед улыбается и ничего ей не отвечает. Бабушка знает, если дед чего решил, то от своего не отступится. Так и сделает, как задумал, и нет силы, которая могла бы ему помешать. В этот вечер, чтобы поскорее наступило утро, спать ложусь рано...

## 7.

Дед разбудил меня не в четыре часа, как обещал, а в шесть, когда наладил баню. Бабушка стоит рядом с ним и опять укоризненно качает головой.

— Отступись! Дай мальчишке спать.

— Вставай! Котлы кипят кипучие, — читает дед на ухо стихи из знакомой сказки и, не обращая внимания на бабушку, подхватывает меня под руки, встряхивает и ставит на кровать.  
— Одевайся!

Я спросонья ничего не понимаю и с закрытыми глазами надеваю на себя всё, что мне подаёт дед. В избе зябко и темно. От печки тянет дымком. На кухне слышно, как она весело с треском разгорается, даже тени от пламени шевелятся на потолке, где к нему примыкает перегородка, а от дедовых рук пахнет мокрой шерстью и кислой краской.

— Ну, всё, — дед подтягивает мне штаны на резинке, слегка стукает по носу, так он обычно шутит, когда у него хорошее настроение, и не грозно командует. — А теперь суй ноги в валенки и в баню! — В кути дед прихватил со стола фонарь, и мы при свете его быстро проходим двором до предбанника.



Дед открывает дверь в баню, из неё вырывается белый, возмущенный, пар. И не на деда набрасывается он, а на меня, и так бьет в нос чем-то кислым и едким, что я вмиг зажмуриваюсь и зажимаю ладошками нос, простуженный накануне.

— Ничего, внук, потерпи. — Успокаивает и подбадривает дед. — Это попервости так не вкусно, а потом ничего — пообыкнешься. Ну-ка, проходи внутрь...

Дед поднимает над головой фонарь, снимает с гвоздя вафельное полотенце и разгоняет по углам присмиревший пар. Потом, легонько подталкивая в спину, подводит меня к нижней лавке и усаживает у запотевшего окошка.

— Вот здесь пока присядь и оглядишь, — дед не уходит и смотрит, как я пытаюсь открыть заслезившиеся глаза. — Открой глаза-то, и руки ото рта отыми. Ну, как — терпимо? То-то же!..

Я открываю глаза и тут же снова зажмуриваюсь. Кулаками тру их и опять открываю. Надо же, думаю, как у деда щиплется пар, а ведь, когда моюсь в бане, то глазами так не мучаюсь.

Потихоньку глаза успокаиваются. Вижу, как дед прилаживает фонарь на ржавый гвоздь, вбитый в косяк над входной дверью. Свет от него мягко блестит на потной щеке деда и намасливает всклоченные на висках волосы, а когда дед наклоняется, то я вдруг обнаруживаю на его макушке круглую, величиной с куриное яйцо, лысину. Раньше я как-то на неё не обращал внимания. Вижу, как прямо над его затылком во мху, торчащем из пазов, путается зыбкий пар и бесследно растворяется.

В этот утренний час я нашу баню совсем не узнаю. Сейчас она похожа на избушку Бабы-Яги. Слева от меня сердито пофыркивает из-под крышки бурлящий котел. Из печки через дырки в железной дверце пробиваются тонкие и бледные волокна света и болезненно дрожат над сырым, грязным полом. Справа на лавке стоит и дымится корыто с водой чернильного цвета. Тусклый свет опутанного проволокой фонаря едва пробивается сквозь густой и стойкий полумрак.

— Ну вот, — дед засучивает рукава фланелевой рубахи, — теперь отойди к дверям и смотри, что и как надо делать, да запоминай — потом сам будешь управляться.

Дед осторожно сдвигает с котла крышку, а пар под ней, будто этого только и ждал. Он и сам, как ошпаренный, взметнулся вверх, ударился о потолок и стал бесшумно метаться из угла в угол, пока не обессилел и не начал сползать по мокрым стенам



---

к черному полу, чтобы выпасть испариной на холодные от земли половицы.

Дед чуть выждал и стал помешивать в кotle палкой. Потом берёт с лавки железный прут и ловко подхватывает им черную и дымящуюся овечью шкуру, с минуту держит её на весу, чтобы стекла вода, и шлепком бросает на лавку у окна, где я только что сидел.

— Узнаешь? — Дед разворачивается ко мне. — Вот он, валенок, что вчера на столе-то лежал. Не похож?

Дед обтирает на лбу пот, примеряется к валенку вальком и давай катать и отжимать из него горячую воду.

— А ну, попробуй, — дед протягивает валек. — Ну, смелей — бери и елозь им по валенку. Туда-сюда, вперёд-назад...

Я налегаю на валёк всем телом и чувствую под ним пружинистую и упругую мякоть валенка. Но как ни стараюсь, большой воды из него выжать так и не могу, на пол стекает всего лишь тонкий ручеёк. Дед не выдерживает и, склонившись надо мной, опускает сверху на мои ладони свои — горячие и будто шерстяные. Вместе мы отжимаем из валенка иссиня-черную жижицу.

— Ну ладно, на сегодня хватит, — дед освобождает мои руки.  
— Беги в избу. Да смотри, не споткнись. Возьми фонарик. Он в предбаннике на окошке, а я достираю и приду...

Я не помню, как и до избы добрался, вхожу, спотыкаюсь о порог и чуть не падаю. Бабушка хватает меня за руку, обнимает и ведёт на кухню к умывальнику.

— Ведь говорила, не ходи, — причитает она. — Нет, послушал деда, дуралея старого. — Бабушка утирает мне лицо и на всякий случай спрашивает: Не пойдешь больше?

— Пойду, — отвечаю как можно твёрже и на правах отработавшего в бане человека сажусь за стол к самовару.

Бабушка вздыхает и опускает руки.

— Есть будешь?

— Нет, дождусь деда...

Дед приходит через час, и мы с ним садимся за оладьи. Еще никогда я не ел их с таким аппетитом.

...Через неделю я уже держал в руках валенки, скатанные мною: заложенные днем на столе, чуть свет выстиранные в бане и на колодки насыженные, высушенные днем в печке и защищенные пемзой.



---

Я держу их в руках, ощупываю то носок, то пятку, пальцами  
мну голенище. Смотрю на валенки и не верю, что это я скатал  
их. Они пока еще не разношены, но голенища у них, как  
у настоящих, — с двумя заворотами. Подарю их Наташке,  
двоюродной сестренке. Зима еще долгая, пусть щеголяет в них  
её любимая кукла...

# БАБУШКА АННА

## 1.

Завтра 7-е ноября. Как говорит дед: красный день календаря. Я люблю, когда праздник приходит в наш дом, но не меньше люблю, когда мы с вечера и сами начинаем собираться к кому-нибудь в гости.

Дед за ужином сказал, что утром пойдем к бабке Кате в Соломинино. Екатерина Семеновна – его старшая сестра. Она у него одна и осталась. Братья – Захар и Дмитрий – погибли на войне. Жену Захара я никогда не видел, она уехала к детям в Ленинград, а жена Дмитрия, Евгения Кузьминична, живет в нашей деревне в большом доме с балкончиком под козырьком крыши. Дом её стоит на другом порядке.

Для меня она бабка Женя, а для бабушки – сестричка, сестричка для неё и бабка Катя. Не часто, но бывает, что гостим и у неё. У бабки Жени есть внучка Наташка. Нынче она будет зимовать в Попове.

После ужина, радуясь тому, что завтра идём в Соломинино, я забираюсь на печку и тороплю время. Мне хочется, чтобы поскорее наступило утро. Под головой мягкий валенок, подо мной старая фуфайка, лежу, смотрю в потолок и думаю. У деда из родных осталась только бабка Катя, а у бабушки живы три сестры, и все они такого же маленького роста, как и она.

Бабушка старше деда на два дня. На юбилей к ним приезжали все сестры. Помню, как они при встрече долго разглядывали и ощупывали меня. Вроде, остались довольны. Я им, как мне потом шепнула бабушка, понравился. Только, сказали, очень худенький.

Тётя Катя – женщина строгая и важная, глазки у неё острые и придерчивые, а на щеке темная бородавка. Ручки пухлые, а кожа на них бледная.



Сразу видно, что сено на слепнях не сушила. Ходит она по избе мелкими шажками, переваливается и шаркает по половицам. Тапки у неё пёстрые и не кожаные, как у деда, а мягкие и верх у них бархатный – с бантиком.

Тётя Катя привезла с собой дочку Аллу. Алла прихрамывает, у неё одна нога тоньше и короче другой. Ушибла в детстве, и кость перестала расти. А сама Алла красивая и вся какая-то светлая. Даже с бледным румянцем на щеках. Всё норовила со мной поиграть, но я убегал от неё – стеснялся. Тётя Катя дочку строжит и гулять по вечерам не отпускает.

Один раз ей показалось, что Алла провожается с Толей Куликовым. Тётя Катя в этот вечер места себе не находила, с лица раскраснелась, пошла нервными пятнами.

– Ну, ты подумай, – ходила она кругами. – Нет, ты подумай. Я же ей запретила с ним встречаться. Уж я ей покажу, как мать не слушаться.

Она не выдержала и пошла за окопицу. Что там произошло, не знаю, но минут через десять вернулась. Алла хромала позади неё и молчала. Мне тогда стало так жалко её, что я даже принёс и показал ей коробку с фантиками. Из-за неё я обиделся на Толю Куликова, и долго с ним не разговаривал.

С дедом у тёти Кати отношения не складывались, а уж если дед лишнего выпьет, то без ругани не обходилось. Бабушка очень переживала и во всем винила деда..

Другая бабушкина сестра – тётя Дуся. Она – тихая, худая и молчаливая. В отличие от сестры Катерины в дела крестьянские не вникала и замечаний по хозяйству не делала. Без надобности не вступала и в разговоры. В глазах у неё дрожала постоянная тревога.

– Счастливая ты, Анна, – вздыхала она, наблюдая, как бабушка легко управляет по хозяйству. – Живешь при муже. Дом у тебя крепкий и всё в нём есть...

– О чём ты, милая, – бабушка таких разговоров не понимала.  
– О каком хоть счастье-то говоришь. Живу и свету белого не вижу.

– Нет, счастливая ты, – твердила тётя Дуся, но уже не бабушке, а самой себе. – Знала бы ты, как мы в городе живём...

Смеялась она редко, даже в карты по вечерам не играла, сидела на диване, о чём-то думала и каждый день заговаривала об отъезде в Ленинград.



Я краем уха слышал, что тёте Дусе попался своенравный зять – из хитрых хохлов, живёт в её комнате, а дочка Галина сердечница, вот она и боится, как бы с ней чего не случилось.

А третью сестру зовут тетя Шура. Она из райцентра и похожа на деревенских баб: в щеки въелся обветренный загар – не соскоблишь, в глазах расплёскалась синь, а пальцы на руках испещрены трещинками. Волосы у неё тоже, как у бабушки, зачесаны назад под гребёнку, а у городских сестер на головах пышные причёски, завитые из волос коротко подстриженных.

Тётя Шура жалеет, что в своё время не уехала в Ленинград. Жила бы, говорит, сейчас, как барыня, в навозе не копалась и спину на скотину не горбила. Да видно не судьба. Теперь уж ничего не изменить и не поправить. Так и придется до конца жизни копейки считать.

Тётя Шура приезжала всего на одну ночку. Ей не на кого оставить хозяйство.

Я, когда слушал их, то никак не мог понять, так есть ли среди четырех сестер хоть одна счастливая. Тётя Дуся уверена, что самая счастливая моя бабушка. Но бабушка иногда жаловалась на свою сиротскую долю, но, правда, тогда только, когда ей чем-нибудь досаждал дед, а расстраивал он её лишь когда запьёт горькую. А если между ними всё было хорошо и мирно, то бабушка сама и не раз признавалась бабам за столом:

– Да худо ли живу, бабы, дай Бог каждой так жить. Живу за ним, как за каменной стеной, и горюшка не знаю...

Вот и я не знаю, судьба это или что другое, но городские сестры обе вдовы. Про их мужей ничего сказать не могу. Сестры, даже когда вино им язычок развязет, и они ударятся в воспоминания, и то ни по-хорошему их не вспомнят, ни по-плохому. И бабушка никогда о них разговор не заводила. Тётя Шура тоже, как она говорит, на чужой стороне мается, как ломоть отрезанный. Вот и выходит, что бабушка моя и есть среди них самая счастливая. И живёт на родной земле, и мужа имеет мастерового, и скотины полный двор. Потому и мне с ней так хорошо, сытно и спокойно живется.

А недавно она получила письмо из Вологды. Дед ей прочитал его, и она заплакала. Письмо это было от её младшего брата – Павла Егоровича. Его еще во младенчестве отдали на воспитание в чужую семью, но, как я понял, не отдали, а подбросили на порог богатого дома, потому что самим сестрам, рано



оставшимся без отца и матери, последыша было не прокормить и не поднять. Сами не знали, как выжить.

Они уж и не думали, что когда-нибудь услышат о нём. Но Богу было угодно, чтобы через пятьдесят лет они встретились снова. Брат с семьёй живёт в Вологде. У него жена Ксения и три дочери – Софья, Людмила и Ольга. В письме Павел Егорович спрашивал у старшей сестры, может ли он приехать к ней в гости.

– Господи, – взмолилась бабушка, утирая концом платка слёзы. – Думала ли, что когда-нибудь увижу Пашеньку – братца младшенького. Счастье-то какое, Господи! Матушка Царица Небесная, да за что же мне оно – неужто простила меня, неужто молитвы мои услышала! Как же ему-то я всё объясню? Ведь столько лет прошло. Поймёт ли? А вдруг не простил? Господи, помоги нам...

После этого известия бабушка долго не могла прийти в себя. Спать ложилась и не могла заснуть, вздыхала и ворочалась, а я слышал, как она, всхлипывая, благодарила Бога и опять просила у Него прощения.

А дед, кажется, обрадовался не меньше бабушки, словно это и не её брат нашелся, а его с войны вернулся.

– По письму судить, так мужик он справный, обиды не держит, с пониманием, – успокаивал дед бабушку. – Так что, давай, мать, к встрече готовиться. Дело-то не шуточное – полвека не виделись, а кровь-то родная, она отходчива. Чай, не дурак, братец твой, понимает, что не от хорошей жизни его в люди отдали. О жизни думали, его же от голода спасали.

Письмо в Вологду они писали не один день. Писал-то, конечно, дед, бабушка неграмотная. Дед утром зачитывал то, что написал с вечера, бабушка слушала, не отнимая от глаз платок. Так они усаживались за стол несколько дней подряд, пока не сошлись на том, что письмо получилось обстоятельным и для первого раза очень душевным.

– Теперь приедет, – сказал уверенно дед. – Так что ты ставь тесто на пироги, а я затворю брагу.

– Я тебе затворю, – не грозно одёрнула бабушка...

Ответ из Вологды пришел быстро. В своем письме Павел Егорович благодарил за приглашение и сообщил, что он намерен взять внеочередной отпуск, и приехать в Попово с женой Ксенией Павловной на Новый год...



А сегодня утром почтальонка принесла телеграмму, дед зачитывал её громко и торжественно, но я уже ничего не слышал...

## 2.

Просыпаюсь рано и в поту. Мучительно пытаюсь вспомнить, о чём же сообщалось в телеграмме, но почему-то не могу, а ведь видел же, видел, как дед держал её в руках.

В доме темно и тихо. Слышу, как о ребра стучит сердце и как под кожей толкается у висков горячая кровь. Фуфайка сбилась, и кирпичи, как горчичники, нестерпимо жгут спину. Пока ищу фуфайку, чтобы подвернуть её под себя, и кручуясь с боку на бок, стряхиваю и вязкий сон. Гляжу во все глаза в потолок и начинаю понимать, что телеграмма мне приснилась.

Делать нечего, слезаю с печки и одеваюсь.

— Ты чего эку рань? — удивляется бабушка. — Спал бы да спал. Не заболел ли?

Бабушка хлопочет у печки. Я сажусь у окна на скрипучий стул. Стекла запотели и серебристо слезятся, исполосованные скатившимися каплями. Корытце, вырезанное внизу оконной рамы, уже переполнено, и вода через край сбегает на подоконник, с него капает на пол и затекает в пустые щели между половицами.

Протираю ладошкой потную слизь, стекло холодное, чувствую, как после каленых кирпичей до судороги пробивает спину ознобная сыпь.

За окном светает.

Серое утро осторожно, будто на цыпочках, приподнимается из-за дальнего леса, спускается в лощину и неслышно из-под горы подкрадывается к сонной деревне, скрупо припорощенной снежной крупкой.

Но вот скрипит калитка. Это проснувшийся ветерок протискивается с улицы в пределы нашего заулка и сбивает с густой, прибитой к земле отавы жесткую крошку песочного инея. Вот хрустит в дорожной колее звонкий лёд. Это соседская собака, взвизгнув от испуга, нарушает ледянную гладь промёрзшей до дна лужицы, и лёд на ней сахаристо рассыпается, как хрупкая тишина, и шуршит на всю улицу под её осторожными, мягкими лапами.



В окне у Мары Васиной вызревает свет от керосиновой лампы. Она у неё горит на подоконнике. Робкое пламя наливается маковыми цветом и пропадает сквозь запотевшее стекло, как скрытое в тумане солнышко. Я смотрю на него, и, кажется, в эту минуту весь мир мой умещается в этом красном пятнышке за окном соседского дома. Но вот уже в окне мерцает не свет тусклой лампы, а полохается пламя затопленной печки, похожее на веселый июньский рассвет. Сижу под листом фикуса и, завороженный печным огнём, напряженно вслушиваюсь в предрассветную тишину ноябрьского утра. Уже в ней, чуткой и зыбкой, в ней, стылой и светлой, я душой слышу легкое дыханье морозного утренника и сердцем чувствую озорное и праздничное настроение наступающего дня.

— Вовульк! — Как сквозь сон, пробивается из-за перегородки голос бабушки. — С чем оладьи будешь — с маслом?

— Со сметаной, — радостно отзываюсь ей, спрыгиваю со стула и вприпрыжку, сбивая половики, бегу на кухню, где на столе в алюминиевой чашке дожидаются меня пышнотельные оладьи — бледнолицые, загорелые и подрумяненные. От их аппетитного запаха у меня слюна встаёт поперек горла, и я, поперхнувшись ею, невзначай кашляю и кашлем своим опять настораживаю бабушку, обеспокоенную моим драгоценным здоровьем. Да еще перед самым выходом в гости.

— Не заболел ли? — Бабушка спешно обтирает о фартук руки и трогает мой лоб теплой и на этот раз вкусно пахнущей ладонью. — Горлышко не болит?

— Не, — капризно бурчу под нос, отдергиваю от бабушкиной ладошки голову и сажусь на лавку в предвкушении сытного завтрака. Печка еще не прогорела, от углей тянет огненным жаром, сочный малиновый свет их шевелится на тусклом серебре старого самовара.

— Тогда ешь, — бабушка не говорит, а приказывает, ей хочется казаться строгой, но у неё это, как всегда, не получается, потому что она совсем не умеет сердиться. — Слышишь, что говорю, ешь, пока не остыли...

Обжигаясь, выбираю оладью с двумя дырками посередине, похожую на свиной пятачок, — жирную и тугую с желто-коричневым рисунком от раскаленной до скворчения сковороды. Макаю её в блюдце со сметаной, но густая и тягучая

сметана, как ленивое тесто, расплзается по краям, и никак не хочет приставать к оладье. Тогда я сую в неё палец и уже с него смазываю сметану на оладью, а потом еще облизываю и сам палец. Так мне понравилось больше. Пока бабушка давит в чугуне картошку, я съедаю таким образом еще три-четыре оладьи и прислоняюсь спиной к шуршащей обоями стене.

— Бабушка, а что ты ела, когда была маленькой? — Спрашиваю у неё, незаметно вытирая о штаны масленые руки.

— Что придется, — не отрываясь от дел, отвечает она, как будто только и ждала всё утро моего вопроса. — Да что люди дадут.

— А где ты жила?

— Жили мы в Шелках. Там, где живет друг твой, Вовка Румянцев. Тебе сколько нынче лет исполнилось?

— Семь.

— А мне было тринадцать, когда папенька с маменькой померли. Они померли, а мы с сестрами и братом одни остались. А я старшая была, вот и считай — все они на моих руках — мал мала меньше.

— А кто же вам кашу варил?

— Сама и варила, если было из чего, — бабушка умолкает, тяжело вздыхает, словно духом собирается, поправляет сбившийся на лбу платок и тихо, не глядя на меня, продолжает.

— Но мир, слава Богу, не без добрых людей. Спасибо, в беде не оставили. Мужики по весне полоску вспашут, осенью урожай убрать помогут. Но и Христа ради тоже просила — не без этого. По деревням ходила, кусочки собирала. Про горе наше люди знали, жалели нас и не обижали: не только хлеб давали, но и одежонку ношеную, валенки и платки, а кто и копеечку подавал. Так и жили...

Смотрю на бабушку и не могу представить, как она жила. Смотрю на её сгорбленную над чугуном спину и тоже вздыхаю. Кажется, что под зеленой вязаной кофтой спина её мелко дрожит от нестерпимой боли. Бабушка жалуется, что время от времени у неё простреливает поясницу.

Какой же, думаю, счастливый я человек. У меня и мама с папой есть, и бабушка с дедушкой, и не надо мне ходить по домам с протянутой рукой и просить у людей Христа ради на пропитание.

Утром встаю, а на шестке стоит мой маленький, с блестящими боками горшочек с любимой пшеничной кашей, по



---

краям его шелушится засохшая плёнка от вскипевшего молока, а внутри горшка, прикрывая и украшая затомившуюся кашу, поблёсывает атласная, словно глазурью облитая и опалённая жаром, пенка, желтая по краям и темно-коричневая посередине.

Бабушка ставит чугун с водой на шесток и задвигает в печь, а потом ухватом разбивает горящие угли.

— Младший-то, Павлик, у чужих людей рос, в тепле и не голодал. — Бабушка гремит ухватом, задевая в углу черную жаровню, еще раз заглядывает в печку и прикрывает устье заслонкой, садится у окна на табуретку и продолжает вспоминать, первый раз за всё утро уложив руки на сырое платье, прилипшее к коленям. — На Новый год, пишет, приедет. И не узнаем, поди, друг дружку. Подумай-ко, сколько лет прошло. Еще в пеленках был, когда расстались. Думала навсегда, а вон, гляди, как вышло. Скоро встречать будем...

Бабушка умолкает и, кажется, на миг забывает и обо мне. Наверно, опять представила, как они с братом встречаются и как потом сядут за стол. Она будет слушать его, а он ей рассказывать про свою жизнь в Вологде.

— Бабушка, а ты голодала? — Напоминаю ей о себе.

— Всяко было, — бабушка потрогала рукой оладьи, оставшиеся в чашке. — Остыли уж, что мало поел-то? До гостей-то долго, проголодавшись, съел бы еще. Спрашиваешь: не голодала ли? Да нас тогда оладьями, как я тебя, не баловали, только в масленицу у чужих людей и разговлялись, и то не всегда.

Но с сестрами жили мы дружно, в обиду друг дружку не давали. А когда они выросли, то по разным сторонам разлетелись: Катерина с Дусей, тетки твои, в Ленинград уехали. Шура в Галиче устроилась, я одна осталась в Шелках и жила там, пока замуж не вышла и к дедушке твоему не переехала...

Слушаю бабушку и опять жалею и даже на её глазах беру оладью и без сметаны уплетаю за обе щеки, лишь бы угодить ей, лишь бы не расстраивать. Ем и прихваливаю, что ничего вкуснее не едал.

Я не видел, когда бабушка отдыхала. С утра, чуть свет, топит печь, поит скотину и готовит еду, потом бежит на конюшню, запрягает Майку и весь день работает. Зимой вывозит на санях лён в Сусанино. Весной развозит на поля навоз, ходит чистить колхозные делянки и заготовляет в лесу дрова для дома.

Летом с утра до ночи сенокосит, а осенью вяжет снопы и лопатит в овине зерно, одновременно управляет в саду и огороде.

Вечером снова хлопочет у печки. Обряжает скотину, носит с пруда воду, лазает в голбец за картошкой, а отдыхает она тогда, когда сучит пряжу, ткет половики или щиплет с нами шерсть. Перед сном ставит на печку кадушку с тестом, чтобы к завтраку напечь сдобных пряженцев и витушек.

И так круглый год. Я пока ей не велик помощник, да и не допускает меня бабушка до большой работы, всё жалеет и балует, хочет, чтобы я у неё ни в чем не нуждался и катался, как сыр в масле. Мне даже не представить, что однажды я могу остаться без неё. А как представлю, так и слёзы на глаза наворачиваются. Вот до чего мне становится самого себя, горемычного, жалко.

– Бабушка, а ты всегда будешь со мной?

– Всегда, а как же. Конечно, всегда. Куда же я денусь...

– А дедушка?

– И дедушка всегда будет. Оба мы будем с тобой, пока ты не вырастешь и сам не оставишь нас.

– Я, бабушка, вас никогда не оставлю. Я всегда буду жить с вами. И когда вырасту, никуда не уеду.

– Ну-ну, даст Бог, так и будет. А уж как мы-то с дедом будем рады, как нам-то с ним хорошо заживётся на старости. Будет кому и воды в кружке подать, и хлеб маслицем намазать.

В эту минуту, как мне показалось, бабушка с лица помолодела, у неё даже морщинки под глазами, как следы от горючих слёз, взяли вдруг и высохли.

– Ешь оладьи-то! – Бабушка убирает от устя заслонку, и жар из печки тяжелой волной растекается по кухне. – Давай-ка, разогрею, да и сметанки добавлю. Или сам с кринки снимай. Ты любишь, с кринки-то блудить. На кринке-то, знамо дело, она вкуснее...

Зябкое утро припадает тихим светом к отпотевшему окошку и, кажется, заглядывает через него на кухню. Дрова в печке прогорели. Бабушка с силой разбивает кочергой последнюю головешку, похожую на сказочную рыбку с золотой чешуйей. Угли весело искрят, словно заигрывают с кочергой, и не затухают, а шевелятся и вспыхивают. Вот и головешку снова обволакивает



шелковое пламя, и бабушкины щеки сразу озаряются огненными тенями, упавшими от него. На открытом лбу дрожит, переливаясь радужным цветом, бисерная россыпь горячего пота, а в синих глазах тоже играет озорной и неукрощенный печной огонек, будто огрызаясь на каждый удар кочерги. Бабушка смахивает рукавом пот, смачивает лицо водой, зачерпнув её в ладонь из-под умывальника, и снова закрывает устье черной гремучей заслонкой.

– Ну, вот, милый внук, – облегченно вздыхает она, – пора и деда звать. Беги за ним. Только оболокись!

### 3.

После завтрака выходим в Соломинино. Погода неожиданно разгулялась. В травеискрится иней, а на дороге и в поле белеет снежная крупа, как просеянная через решето мучка. От Попова до Соломинина рукой подать. По тропе, что начинается на задворках дома Ленка Кудрявцева, не будет и километра. Одно поле пройти по меже до оврага, заросшего ольхой, черёмухой и осинником, и, одолев его, выйти к полю на соломининской стороне. Овраг, разделяющий их, спускается к Гремячке.

Но это если идти по тропе, а можно добраться в Соломинино и по дороге. По ней ездят машины и трактора. Первый раз дорога сворачивает сразу за фермой у пруда перед зерновым складом, а вторую отворотку делает метров через триста у перелеска, где кончается пашня. Там и тут овраг не такой глубокий, его можно, не буксая, переехать и в дождь. От крыльца Ленкова дома между двумя садами, огороженными тычинником, мыходим на задворки, хотя крутой овраг с узкой тропкой не для хромой дедовой ноги, но путь дед выбирает сам.

Бабушка на ногу легкая. Мы с ней мигом бы добежали до Соломинина, а с дедом идем медленно. Ему на тропке каждая смерзшаяся кочка серьёзная помеха, а то и преграда непреодолимая. Мы с бабушкой забежим вперед, потом шаг поубавим и поглядим, далеко ли дед.

Дед идет с клюшкой. В межсезонье он без неё за деревню не выходит. Дед часто кашляет и останавливается, чтобы перевести дух – у него одышка. Через овраг бабушка идет впереди него и следит за каждым дедовым шагом, особенно, когда он спускается по резким уступам узкой и обманчивой тропинки.

А когда овраг остается позади, и дед выходит с тропы на ровную дорогу, ту, что сворачивает у фермы и огибает овраг сверху, тогда уж мы с бабушкой не оглядываемся до самого Соломинина. Знаем, что теперь дед с пути не собьется и потихоньку сам доберется до крыльца крайнего в деревне дома.

Но сегодня не спешим. Уж слишком по осени кочковатая дорога. Переживаем за деда и поджидаем его у края поля, и пока ждем, я смотрю на голый ольшаник и отыскиваю взглядом остатки стен от старой силосной ямы.

От неё и сейчас, когда ветрено, наносит еще прокисшим духом гниющей травы. Сам я к яме ни разу не подходил, но Колька говорит, что в ней тоже, как и в овине, водится нечистая сила.

Однажды вечером в летнюю пору он ехал с отцом на лошади из Соломинина и видел, как из ольшаника, прикрывшего яму, светились чьи-то глаза фиолетового цвета – не человеческие, и при полном безветрии над ямой покачивались верхушки деревьев, будто кто сидел на ветках и беззвучно хохотал над всеми, кто проезжал мимо. Даже лошадь, поравнявшись с гибким местом, вздрогнула и послушно повернула голову в сторону ямы, а потом, будто подхлестнутая кем, так рванула с места, что у телеги чуть колёса не отвалились. Дядя Толя едва удержал её и осадил только перед самой канавой, где дорога переправляется через овраг.

– Идите, – машет нам рукой дед, – не ждите...

– Не торопись, – кричит ему бабушка, – успеем.

Мы дожидаемся деда, и потом, не спеша, поднимаемся вверх по обочине окаменевшей дороги.

Бабку Катю мы увидели издалека. Она, как и летом, поджидала нас у деревянного гаража. Стоит в белом платке и черной бархатной пальтишке.

Только у неё в Соломинине, а может, и во всей нашей округе, есть машина. Её выдали бесплатно дяде Васе, её мужу, вернувшемуся с войны без ног. Когда он был жив, то катал нас с Вовкой Смирновым, его внуком, по деревне. Машина не гудит, а трещит, как мотоцикл, и похожа на божью коровку, такая же маленькая, только без усов, и не красная, а бледно-зелёная цвета кузнецика, покрытая сверху серым брезентом. Педалей на полу нет, а вместо них на руле прикреплены рычаги, похожие на



ручки от машинки, которой дядя Валя Цветков стрижет моего деда. Они такого же серебристого цвета и такие же упругие.

Дядя Вася умер. Бабка Катя закрыла гараж на два замка. Вовка Смирнов однажды сказал мне:

— Когда вырасту, то машина будет моя.

— Почему это твоя? — удивился я.

— А потому, — ничуть не смутившись, ответил Вовка, — что я у деда единственный внук, понял?

Я не завидую ему. У меня, конечно, машины нет и, наверно, никогда не будет, зато дед мой жив, пусть и хромой, и мы с ним каждый вечер щиплем шерсть на валенки.

Вижу, что гараж давно не открывали. Двери заросли травой и крапивой. Значит, бабка Катя Вовку к машине пока не подпускает, а расти ему, как и мне, ещё, ой как, долго. К тому времени, может, и второй внук на свет появится.

Бабушка Катя ведет нас к крыльцу и так спокойно проходит мимо единственного в деревне гаража, как будто бы у неё и нет его вовсе, как нет и машины, которой хвастается её внук. Она справляется, как мы дошли, и по-хозяйски, за разговорами, уважительно увлекает за собой в избу...

#### 4.

Я люблюходить к ней в гости. У бабки Кати очень сдобные витушки и всегда есть магазинные пряники с глазурью. Вот и сейчас она мне насовала их полные карманы.

— А где, — спрашиваю, — Вовка?

— А Вовка у нас заболел, лежит дома на печке, чихает и кашляет.

Жалко, что его не будет. Мне так хотелось увидеть Вовку, огненно рыжего и с маслянистыми веснушками на носу и под глазами. Столько веснушек я ни у кого еще не видел. Они у него и на ушах шевелятся, как тля на капусте, ими круто посыпаны красноватые кисти рук и даже на худосочную грудь щепотка брошена. А летом от солнца у Вовки облезает и шелушится обгоревший нос, кожа на нём оголяется и переливается перламутром. Нос чешется, и Вовка постоянно колупает его — то скрюченным пальцем, то трёт рукавом рубашки.

Выглядываю в окошко. Под окнами желтая подо льдом лужа в дорожной колее, а за ней изгородь с дряхлыми жердями, от

которой начинается к речке крутой спуск с выкошенной под «ноль» отавой.

Холм соломининский не такой высокий, как наш, и дома в деревне не в два порядка, как в Попове, а лепятся, как попало, по самому склону. Речка у них под горой, если верить Вовке, глубже нашей Гремячки, в ней даже есть маленькие бочаги с рыбой. Над ней нависает лес, поднимаясь по складкам горы до самого неба, и, кажется, нет у леса ни конца, ни края, а сразу за ним из-под небесного купола отвесно опускается горизонт, такой близкий, что до него, если постараться, можно и камешком от крыльца доброться.

В осеннюю пору лес за оврагом, как овечья шерсть, небрежно, лентами и клочками, приклеен к припудренной снежком горе. Над ним по самой линии горизонта текут пустые, выпростанные и рваные тучи. У меня из окошка вид просторнее, есть где и глазу разгуляться.

Делать нечего, забираюсь с гостинцами на теплую печку, отдергиваю белую с желтизной шторку, кладу на язык ароматный леденец и наблюдаю сверху за всем, что происходит в избе за праздничным столом.

А за столом нынче, кроме деда с бабушкой, сидит еще и незнакомая мне женщина. Видно, тоже родственница. Бабка Катя несколько раз назвала её Марьей, а моя бабушка – Ивановной. Выходит, она – Марья Ивановна.

Женщины, выпив по рюмке, оживились. У деда интерес другой: к вину и закускам. И потому он, не вступая в разговор, за столом только ест в аппетит да молча слушает.

А я смотрю на женщин и любуюсь ими. И кажется мне, что в это тихое и морозное утро не от солнца, а от их загорелых лиц в передней так светло, и не от легкого ветерка за окошком, а от их родникового говора в ней так мирно и уютно. Оттого, может быть, и на душе у меня так радостно и празднично.

На столе почетно главенствует фигурный самовар серебряного цвета, тяжело сопит, исходит жаром и поблескивает крутыми боками, а в них пёстро отражается все, что собрано бабкой Катей на праздничный стол.

Вокруг самовара, как лепестки, нежатся прямо на противнике нарезанные крупно пироги с яйцом, творогом и разными вареньями – малиной, черникой и клюквой.



В сковороде остывает, схватываясь светло-коричневой коркой, аппетитная картошка, разомлевшая от долгого томления в печке. Из тарелки выглядывают, залитые сметаной, скользкие шляпки черных мясистых грудей, а в резной стеклянной вазе светится с воздушными пузырьками золотой мёд нового урожая, в нём, как пчелка, уткнулся и увяз бархатным носиком отщепленный от солнышка лучик, чудом проскользнувший вдруг из-за грязных путаных туч.

Бабушка моя сегодня важная, как никогда, сидит в синей вязаной кофте, которую она еще ни разу не надевала, берегла до случая, чтобы похвастаться перед подружками. Хранила её в ящике комода и потому она у неё пропахла нафталином, да так сильно, что дух его доносится и до меня.

Такой красивой я бабушку еще не видел. Волосы с проседью на висках зачёсаны назад под коричневую гребенку и уложены на затылке в узорный крендель, на плечах торжественно, как будто сам по себе, покоится цветастый платок с кистями по краям.

Обнова ей, по всему видно, очень нравится. Бабушка церемонно, но осторожно приглаживает на рукавах кофты непослушные ворсинки, ждёт, когда же, наконец, на неё обратят внимание, но подружки сидят, занятые разговором, и будто нарочно обнову её не замечают. Тогда бабушка протягивает через весь стол руку и берет не с ближнего к ней, а с дальнего конца противня кусок пирога с творогом, задевает рукавом пироги с яйцом и начинает громко и виновато охать, стряхивая с локтей прилипшие крошки от пряженца. При этом еще, чтобы все оставили свои дела и повернулись к ней, причитает на весь стол:

— Ну и наготовила ты, сестричка! Ну и наготовила! Прямо глаза разбегаются.

Бабка Катя разливает в граненые стопки красное с мякотью вино и сразу на похвалу не отвечает и, лишь чуть выждав, говорит:

— А еще грибков моих попробуй!

Дед себе наливает водочки сам. И не в рюмку, а в стакан, но не всклень — до рубчика.

В своей избе бабка Катя чувствует себя хозяйкой. У неё еще не остыли и щеки от печного жара и дышат, как пряженцы, только что вынутые из печки.

— Не пора ли, бабоньки, причаститься, — она легко поднимает увесистую стопку и со всеми уважительно со звоном чокается.

— Дал нынче Бог погодки, — морщится от вина, еще не выпив, Марья Ивановна, — вот и сидим, как барыни.

Потом на глоток опрокидывает стопку, запрокинув голову назад, по-мужицки засасывает носом воздух и уже по-бабы аккуратно смахивает со стола в ладонь хлебные крошки, забрасывая их в рот, ни одной не уронив на пол. У Марии Ивановны лицо широкое, но почему-то бледное. Даже после сенокоса и выпитого вина. Не такое, как у моей бабушки. Глазки на нем, как две клюквины, воткнутые в тесто, а между ними плоский нос с горбинкой. Да и нос тоже будто накладной, а бровей и вовсе нет. На их месте мозолистые дужки.

Лоб узкий с туго натянутой пупыристой кожей, а волосы на голове редкие, будто в один слой, и перехвачены наспех серой засаленной резинкой.

Марья на слово не бойка, чаще молчит, а уж если говорит, то только дело.

— Теперь перезимуем, — сказала, как отрезала.

Наблюдаю, как она, лизнув языком шершавую ладонь, тщательно приглаживает над ушами волосы и, не отнимая руку от головы, тут же привычным движением утирает толстыми, но ловкими пальцами белый налет, вытопившийся в уголках синих бескровных губ.

— И не говори, — поддерживает моя бабушка, — гожо и посуху управились. Не так, как летось, в грязи не тонули.

— Да худо ли, — подводит итог хозяйка, Екатерина Семёновна, дав прежде каждой гостье высказаться о нынешней погоде, — теперече гляди в окошко и думушки не думай.

Нос у бабки Кати ноздреватый. Он будто сползает прямо со лба и зависает над верхней губой грузной сизой каплей. Утирая губы, бабка Катя всякий раз задевает его, того и гляди, с лица смахнет, нос трясётся и еще гуще наливается краской. Среди подружек она старшая.

— Сестричк, а сестричк, — игриво уличает ее моя бабушка, — что стопку-то не допила, Лиса Патрикеевна...

— Разве? — по-детски изумляется бабка Катя, с удивлением глядит на стол и сама глазам своим не верит. — Ай-ай, и верно. Стара, матушка, стала, не вижу. Да и память отбивается. Пойду



вупечь, а зачем и забуду, вот и рюмку, старая, гляди-ка, не допила, ай-ай, — укоризненно качает головой, легко подхватывает стопку и с маху допивает не закусывая.

Потом, прикрыв ладонью половину лица, брезгливо и долго трясет головой, так она морщится от выпитого вина. Только и видно, как дрожат поверх её руки с дряблой кожей набухшие хмельной слезой бесцветные глаза, а по бокам розовеют изрезанные морщинами моложавые холмики одутловатых щек.

Веселый хмель весело закипает и в темных цвета спелой клюквы Марьиных глазах, и в голубовато-серых с проблесками сини — бабушкиных, и в студенистых, как кисель, глазах бабки Катерины.

Женщины дружно тянутся за пирогами.

— Этта передача была по радиу, — это моя бабушка, раскрасневшись, снова затевает разговор, — не слыхали? Про солдата. Как жисть-то у него поначалу заладилась, и как войнато потом. Не слыхали? Ну-ну. А я ревмя ревела. В плен он попал. Споить его фашисты удумали. Наливают стакан граненый. Он выпивает. Ему хлеб суют — на, мол, закуси. А он им: «Я, чу, после первой не закусываю». Второй подают — тоже полнехонъкий. Он и его выпивает. Потом третий... Господи, как и устоял!

Бабушка, заново переживая всё, по радио услышанное, сбивается с дыханья и на минутку замолкает, а потом, сглотнув подступивший к горлу комок, чуть дрогнувшим голоском тихо продолжает:

— Так ведь не убили, отпустили да буханку хлеба впридачу дали. А как хлеб-то делили, сестричка! Что бы крошку-то уронить — упаси Бог! Всем, чтобы поровну. А помнишь, Машух, как в войну-то жили?..

— Как не помнить, — опускает голову Марья Ивановна и промокает концом ситцевого платка по обе стороны переносицы.

Женщины вздыхают, с полуслова понимая друг друга, и, не сговариваясь, молча выпивают еще по одной. В избе наступает тишина. Слышу, как, спросонок налетая на обои, цокают о стену осмелевшие в тепле мухи.

Я задергиваю шторку, кладу под голову валенок, лежу и думаю о том, что раньше мне почему-то никогда и в голову не приходило, а теперь всё чаще и чаще тревожит сердце:

у бабушки моей есть дед, а вот у её ровесниц в доме хозяина нет, они сами управляются по хозяйству.

Пробегаю мысленно по избам нашей деревни: а и верно, все женщины в Попове одиноки: Ермиловна, тетка Груня, Семичиха, Надёнка Куликова, Марья Васина, Анна Кудрявцева и Анна Васильева. У моей бабушки Аграфены муж Никифор, мой дед, тоже пропал без вести. В избах у них на стенах висят только свадебные фотографии, прибранные в самодельные деревянные рамки. У кого-то они еще любовно украшены самолично вышитыми в девичестве льняными полотенцами.

Их мужья погибли на войне, а если бы вернулись, то у Тамарки с Ленкой было хотя бы по одному, как и у меня, родному дедушке. Подумал об этом и привстал, чтобы посмотреть на деда Михаила.

Вот он, мой родной, сидит среди женщин и знай, себе наливаает, но уже не в стакан, а в стопку. Глаза его осоловели и застыли. Дед смотрит в одну точку, смиренный и не шумливый.

И как хорошо, что он в юности сломал ногу, иначе бы его тоже забрали на фронт, и кто знает, как бы она сложилась на войне его земная жизнь. Смотрю на него захмелевшего, и ощащаю, как по телу моему разливается теплая нежность, и мне снова становится так хорошо и спокойно, что нет, кажется, на земле мальчишки, который был бы в эту минуту счастливее меня...

Из гостей мы на этот раз вышли пораньше, чтобы успеть засветло перейти овраг...





## КОЛЬКА

В Попове нас всего двое мальчишек — Колька Осипов да я. Есть еще, правда, братики у Вальки Каюровой, Ленки Цветковой и Ленки Семичевой, но они еще совсем маленькие и сидят дома.

Мы с Колькой одного роста. Как смеется над нами дядя Леша Семичев, каждый по метру с кепкой. Но ходим мы не в кепках. Колька носит черный картуз с глянцевым козырьком, а я вязаную шерстянную шапку с хвостишком.

Мы с ним друг на друга ничуточки не похожи. У Кольки волосы жесткие и с рыжинкой, даже чуть-чуть вьются, особенно на висках, а у меня — прямые и светлые, их легче расчесывать. У Кольки есть на носу веснушки, а у меня нет. Зато у меня есть шрам на лбу. Играли на полу, споткнулся и упал на швейную железную машинку «Зингер». У Кольки уши по краям свернуты в трубочку и торчат из-под картуза, а у меня плоские, будто я в пеленках отлежал их, и они распрямились, и теперь прижаты близко к голове. Я почему-то их стыжусь, они не такие, как у всех.

Бабушка говорит, что у Кольки глаза зеленые, а у меня синие. Это не правда. У меня глаза серые, рассмотрел в зеркале, и у Кольки тоже не совсем зеленые, в них много желтых крапинок.

Колькин дом стоит на крутом спуске с холма.

Ниже по этому же порядку стоят еще два дома — Каюровых и Голубковых. Колька заявляет, что здесь, внизу, и начинается Попово, а я говорю, что начало деревни вверху, у конюшни.

Здесь, круто вывернув из-за оврага и растянувшись поперёк холма, глинистая дорога метров через сто опять резко поворачивает в гору и делит деревню на два порядка. У Колькиного дома на ней самые глубокие колеи. Весной, когда тает снег, и летом после ливней здесь громче всего бурлят и пенятся ручьи. По ним мы снаряжаем к синему морю щепки и бумажные кораблики. По осени в колеи сваливают картофельную ботву и огуречные плети.

А в сухую погоду глина, растрескавшись, крошится и принимает темно-желтую окраску. Колеи каменеют, и на дне их мы иногда находим чертовы пальцы и камешки в крапинку, похожие на кукушкины яйца, а еще цветные осколки битого стекла, ржавые железяки и даже монетки.

Здесь же разбегаются в разные стороны и деревенские тропы. По одной тропе мы иногда подкрадываемся к таинственному колодезному срубу. Она огибает бугор с домом Голубковых и взгорок, на котором стоит одинокая яблоня, и сворачивает к колодцу у мыска, где мы в марте сжигаем масленицу. По ней за водой ходят женщины и старушки. Здесь склон отложе.

По другой тропе мы с Колькой пробираемся по весне за подснежниками. Она лежит под окнами голубковского дома и сразу у крыльца сбегает под ветвями старой берёзы на задворки к полю. Яблоня на бугре теперь уже остается справа от неё, а тропа лепится по откосу и осторожно, уступами, спускается к краю оврага. В его густых и сырых зарослях скрывается наша знаменитая Гремячка – родник с живой водой. По этой тропе ходят мужики.

Третья тропа, внизу деревни, жмется к дорожной обочине. Потом, за клёном, отстает от неё, отворачивает вправо и, пробежав по дну оврага, снова выскакивает к дороге. Теперь тропа выпрямляется, сбегает в лощину к мосту, где Гремячка впадает в речку, текущую из-под Соломинина, и по кромке старой дороги на одном дыхании поднимается в крутую гору.

По ней мы с Колькой изредка ходим в Сумароково. Правда, не вместе, а врозь. Он с родителями, а я с дедом и бабушкой. Но до реки в светлое время дня, бывает, и напару бегаем, без взрослых, но только постоянно оглядываемся на деревню.

Нам страшновато, когда слева у речки в жаркую погоду мы украдкой, чуть дыша, наблюдаем, как на красной столешнице ольхового пня греется на солнышке пугливая ящерица песочного цвета с хрупким хвостиком. Толя Куликов не раз объяснял нам, что если её схватить за хвост, то, спасаясь, ящерица отбрасывает его, хвост остаётся в руке, а сама она стремглав, как коричневая тень, прыскает в траву и рывками шуршит на земле сухими листьями.

Я не решаюсь, духу не хватает, а Колька иногда пытается дотронуться до ящерицы пушистым стеблем метёлки. Но она чувствует опасность. Сразу замрёт и напружинится, готовая



в любую секунду, только пошевелись, соскользнуть с пня в крапиву и, притаившись, затеряться среди гнилых сучков такого же цвета, как и она сама.

Боимся мы и тогда, когда в ветреный день, проходя мимо этого пня, слышим, как за ольшаником, на мысовке, глухо шумят вековые сосны с изведенными старостью голыми корнями, припорощенными бурями иголками.

У Осиповых нет бани. Кольку моют в печке. Меня бабушка тоже мыла, пока дед не срубил баньку. Я и сейчас помню, как сидел на соломе, мокрой, но шелковой, в ногах у бабушки. Она меня натирала мочалкой и обливала водой. А когда я нечаянно касался рукой печного свода и на плечи мне оседла сажа, бабушка ругала меня и макала мои пальцы в таз с водой.

Зато у Кольки есть заяц. Зайонка ему принес из леса отец – дядя Толя. Мы его назвали Трусом. Но заяц на сочной траве, морковке и капусте быстро вырос и осмелился. Ему стало тесно в деревянной клетке, и потому он ломится в ней во всю заячью прыть. Наверно, просится на волю. А иногда лежит в клетке и не шевелится. В глазах его отражается темный лес с остроконечными елками. Откуда он в них – неизвестно.

На днях мы случайно узнали, что дядя Толя хочет его на праздник заколоть, а шкурку сдать в заготконтору. Мы даже видели, как он точил на бруске большой нож. Так что мы с Колькой решили: отнесем зайца в лес и отпустим, пусть живет на свободе, хоть и жалко с ним расставаться, привыкли к нему и полюбили. А на дядю Толя я не обижаюсь. По осени во всех дворах колют скотину. Ягнят и бычков нам не спасти, а вот зайцу мы с Колькой помочь можем.

А еще у Кольки есть собака Крошка, черная, лохматая и злая. Если она отвязана, то я в дом не захожу и стою у закрытой калитки. Но и здесь мне страшно, даже по другую сторону забора я не чувствую себя рядом с ней в безопасности.

И пока жду, когда Колька соберется и выйдет, Крошка захлебывается лаем, прыгает на палисад, скрябая грязными и кривыми когтями по дереву, и все норовит просунуть между штакетинами свой мокрый в опилках нос с хищным оскалом, схватить меня за штанину и укусить. Глаза у неё от злости наливаются кровью, шерсть трясётся, свисая до земли, лап из-под неё не видно, а с желтых передних клыков стекает, зависая на губе, тягучая, прозрачная слюна.



Я Крошку не люблю и, честно скажу, боюсь, но Крошка у нас одна на всю деревню, а в деревне совсем без собаки тоже нельзя. Она лает, и зверёй отпугивает от сытных дворов с курами и цыплятами. Раньше и у нас лайка жила, но я плохо её помню. Она то ли пропала, то ли умерла. После неё дед новую собаку заводить не стал. Уж слишком он привык к лайке. Да и от дел лесничих он к тому времени отошел, как инвалид выпрямил патент и стал катать валенки.

Колька зимой тоже ходит в серых валенках, которые скатал мой дедушка. Я даже помню, как шерсть щипал из их куля, сальную и с колючками, всё еще жалел, что не было рядом Кольки, надо бы его самого заставить пощипать её, узнал бы тогда, какое это непростое дело – катать валенки. Помню, как дед закладывал их на столе в кути и как приговаривал при этом, чтобы я слышал: «Ложись волосок к волоску на валенках Вовулькину дружку, пусть будут они ему от друга подарком, мягкие и жаркие».

Одно успокаивает, что у Кольки валенки с одним заворотом, как у женщин, а у меня с двумя, как у всех деревенских мужиков. Но Колька по этому поводу ничуть не переживает. У него есть то, чего пока, к сожалению, нет у меня, – блестящие, хоть смотришь в них, резиновые сапоги с высокими голенищами, купленные ему на День рождения. Вот так мы с ним и живём. И я не представляю, как бы мы обходились друг без друга. Если даже с утра разругаемся, бывает и такое, то уже к вечеру нам обоим невмоготу, хоть и виду оба не подаем.

Нынешний день у нас, слава Богу, проходит мирно. В такую серую погоду ссорится грех. И без того на улице зябко и ветрено.

Главное наше развлечение – машинки. Теперь они у нас не самодельные, из деревянных кряжиков, а – магазинные, зелёного цвета, точ-в-точь, как у дяди Бори Яблкова, доброго и весёлого человека. Мы иногда видим его вездеход, когда он по-за деревней проезжает в делянку за дровами. Дядя Боря всегда машет нам рукой и улыбается, как давним знакомым. А один раз он остановился у околицы, позвал нас к себе и посадил в кабину. Мы с Колькой подержались за липкий, тугой руль и за рычаг передач с черным набалдашником, беспрестанно дрожащий. Потом долго принюхивались друг к другу и спорили, от кого гуще пахнет бензином.



Теперь у Кольки своя бортовая машина, а у меня – самосвал. Мы даже свои шестерёнки, насаженные на палки, на время отмыли от грязи и поставили в гараж.

Вот и сегодня поездили мы на машинках по дорогам, проложенным у крыльца Колькиного дома, потом побуксовали на берегу нашего пруда, а когда стало смеркаться и всё надоело, побежали на конюшню. Знаю, что в ближних к нам деревнях – Шелках и Соломинине – конюшен нет. Лошадей держат только в Сумарокове, и то лишь в инвалидном доме. Там без них не обойтись. Потому мы с Колькой и гордимся, что у нас в Попове есть конюшня. А Колька гордится особенно, ведь отец его – дядя Толя – работает в ней конюхом. От него всегда пахнет сеном и сыромятным дегтем, а фуфайка на груди сально блестит от застывшей лошадиной слюны.

Дядя Толя ростом, как говорит моя бабушка, не вышел. Всё лето, даже в жару, он ходит в кирзовых сапогах и шаркает, поднимая пыль, стертыми подошвами по земле, а зимой переодевается в серые, испачканные навозом, валенки. Галоши с них он не снимает даже в мороз. Волосы дядя Толя расчесывает только по праздникам. Они клочатся из-под шапки и почему-то всегда обсыпаны грязной кормовой мучкой. Через плечо он носит моток грубой веревки. Когда он жует или пьёт, то на горле у него под тонкой ознобной кожей катается сверху вниз острый костлявый кадык. Я люблю дядю Толю. Он добрый и, по словам бабушки, бессловесный.

За конюшней стоит приземистая ферма с грязными окнами, а вокруг неё огромный загон, огороженный жердями. В нем летом по колено в навозной жиже стоят и мычат замызганные телята. Мне их всегда жалко, потому что телята, как сироты, живут и пасутся одни без родителей.

Зимой они стоят на ферме, а ухаживает за ними Ленко Кудрявцев. Дядя Толя на санях возит телятам воду в железной обледеневшей бочке. В маленькой избушке с одним окном Ленко варит в черном, бездонном котле пойло для телят.

Мы туда не ходим. Там, за изгородью, начинается другой, не знакомый нам мир, и в нём правит тяжелый дух застоявшегося навоза. За фермой еще стоит склад, пропахший дустом, а за ним, как цыплята, жмутся к нему сзади три амбара для зерна.

У склада есть маленький пруд. В нём мы в жару купаемся, но только с Толей Куликовым. Без него нас туда не отпускают.



---

Боятся, что утонем. Я, и правда, могу плавать, только закрыв глаза и опустив голову вниз, – и то по-собачьи.

Колька, хоть и недолго, но голову держит над водой, пыхтит, отдувается, пуская пузыри, и даже плещется на саженках. Он и ныряет с берега, а я тихо погружаюсь и под водой прохожу от одного берега к другому, перебирая по дну руками. Благо, пруд мелкий. Ползу на коленках, пока хватает воздуха. Но Кольке об этом не говорю, а то он засмеёт. Его, кажется, и слепни жалят не так часто и больно, как меня, а я от них едва успеваю отмахиваться.

Но это летом, а сейчас мы с Колькой сидим у конюшни на телеге, молчим и болтаем ногами. Он в новых сапогах с красным мехом в голенищах, а я в старых – в моих голенищах мех давно скатался и превратился в грязную вату.

На улице смеркается. Выгоревшая фуфайка дяди Толи, как светлое облачко, то выплывает в черном проёме распахнутых ворот конюшни, то исчезает. Видно, как он выгибается от натуги, подтаскивая на вилах к яслим большое беремя шуршащего сена. Слышно, как в стойлах отфыркиваются лошади и в нетерпенье скоблят копытами по загородке.

Колька сплёвывает белую, как мыльная пенка, слюнку и начинает по-взрослому насвистывать. Во владениях своего отца он чувствует себя хозяином. Колька уже умеет запрягать, и сам затягивает супонь у хомута, а я, наверно, так никогда и не научусь. Стал бояться лошадей. Однажды зимой Майка так понесла нас с горы, что чуть не перевернула сани. Бабушка едва удержала её, а под горой, когда остановила, отхлестала Майку вожжами и всяко-то всяко её выругала. Потом она прижала меня к себе и почему-то заплакала, уткнувшись носом в мою шапку. Вот с того раза я катаюсь только на смиренных лошадках, а на Майку затаил обиду.

– Эй, ротозеи, – подзывает дядя Толя, – идите, чего покажуто.

Мы дружно спрыгиваем с телеги в жидкую, но не глубокую грязь и наперегонки, расплёскивая её, бежим к конюшне. Колька от меня отстает. Он бережет свои сапоги. Боится забрызгать.

– Вот, любуйтесь, – дядя Толя достает из кормушки что-то круглое и серое, похожее на маленький горшок. – Осиное гнездо. Не бойтесь – осы улетели.



Беру гнездо в руки осторожно, как новогоднюю игрушку, ощупываю его пальцами: легкое, будто склеенное из обрывков газеты и осыпанное печным пеплом. Не без страха стукаю по нему: точно, как тонкая, но не в один слой, папиросная бумага, пропитанная kleem.

— А ну-ка, дай мне, — Колька чуть не выхватывает у меня гнездо и сразу подносит его к носу и обнюхивает. Потом щелкает по гнезду пальцем и прислушивается. Гляжу на него и слышу: в гнезде будто загудела проснувшаяся оса. — Пустая, — говорит Колька и бросает серый клубок в кормушку, где свалена сбруя. Потом задирает голову вверх, щурится, пытаясь разглядеть под стропилами прилепившиеся осинные гнезда, но под крышей темно и, кроме дыр в ней, ничего не видно.

Прохожу в глубь конюшни, вдыхаю тяжелый запах конской мочи, пыльного сена и прогорклой кожи. Останавливаюсь у стойла, в котором, как живая тень, стоит бабушкина Майка. Только глаза её горят и обжигают. Из стойла тянет навозным теплом. Смотрю на Майку сердито, беру под стойлом охапку грубого сена, встаю на носочки и переваливаю его в ясли, до щепок изгрызенные лошадями.

— Молчишь, — выговариваю Майке с укором. — А ведь могла бы, не удержи тебя бабушка, на всю жизнь искалечить. Дурочка ты. Разве можно так бегать. Ты и сама ногу сломать можешь, а неровен час и шею свернешь. Ямы-то на горе всякие бывают. Думать надо головой-то садовой, хоть и лошадиной. Не молодая уже. Прыть-то усмирила бы. Себя не жалко, так хоть бабушку пожалей. Куда мы без неё. Не она бы, так и тебя давно списали бы на колбасу. Сам слышал, как бабушка защищала тебя и отбивалась от бригадира. А ты не ценишь...

Майка резко мотает головой, выхватывая из охапки клок сена, губами подправляет его в рот и начинает смачно жевать. За сочным хрустом и шумным дыханием вряд ли она и слышит меня. Хотя нет, наверно, слышит. Уж больно глазами она миролюбиво и виновато хлопает — влажными такими и добрыми, не такими горящими, какими были минуту назад.

— Ведь знаешь, что с горы бегать нельзя, — бубнию по одному месту и тяну через кормушку руку, чтобы потрогать её мокрый нос.

Майка прихватывает ловкими и жадными губами новый клок сена, вытягивает над кормушкой шею и встряхивает головой,

да так сильно, что грива рассыпается в воздухе, а из черных её ноздрей, похожих на речные ракушки, летят по сторонам тягучие брызги и попадают на мою ладошку, протянутую к ней.

— Колька уже и в седле ездит, — выговариваю Майке, лениво жующей сено, — а я из-за тебя и к лошади подойти боюсь.

Стою у Майкиной кормушки, смотрю на лошадь, а сам думаю: ей-то, глупой, зачем знать, что катается Колька верхом у конюшни и только тогда, когда дядя Толя держит лошадь под уздцы. Но ведь ездит же и не боится. А я?

Дядя Толя, кажется, день и ночь в работе, и нам он при случае напоминает, что к делу надо приучаться с малых лет. Вот он и учит Кольку, как правильно запрягать лошадь. И Колька уже разбирается в сбруе не хуже отца и знает, что и в каком порядке выносить ему из конюшни.

А меня дед жалеет, даже не столько дед, сколько бабушка. Она ни о каких делах и слышать не хочет. Чтобы я топор в руки взял или на лошадь верхом сел, упаси Бог! И думать не думай.

Дед у меня лучший в округе каталы и самый искусный столяр. В избе у нас нет покупной мебели, вся сделана им: застекленный под посуду шкаф, крепкие табуретки и стулья, комод с выдвижными под белье ящиками, шифоньер для пальто и костюмов. Даже круглый стол раздвижной — и тот не из магазина.

Зимой дед катает валенки, а летом мастерит в прикрыбине. Прикрыбина — это прирубленная им к задней стене двора небольшая столярная мастерская, в которой у деда стоит шершавый от зазубрин верстак и развешаны по стенам разные инструменты. Я не у всех и названия-то знаю.

— Погоди, — всякий раз останавливает меня дед, когда я подхожу к верстаку и беру в руки рубанок или молоток, — успеешь, наработаешься...

А мне порой так сильно хочется распилить палку, построгать доску и забить с одного удара гвоздь по самую шляпку.

— Вот такая, Майка, у меня сегодня жизнь, — жалуюсь напоследок ей. — Да ещё и ты напугала меня и отбила всякую охоту кататься на лошадях...

Наш с Майкой разговор прервал громкий окрик дяди Толи.

— А ну-ка, марш на улицу! — строго командует он и для острастки даже хлопает в воздухе плёткой.



Мы с Колькой выбегаем на берег пруда, снова забираемся на телегу и смотрим, как он по одной выводит лошадей из конюшни на водопой. Мы жмемся на ветру друг к другу и сидим, как завороженные.

Вот из ворот медленно и нехотя, только из уважения к конюху, выходит тяжеловес Карько и серыми копытами, похожими на перевернутые листы лопуха, шлепает по лужам с жидкой грязью. Ноги у него толстые, как не ошкуренные еловые плахи, и лохматые, как осенние болотные кочки. Грифа у Карьки за лето выгорела и теперь свисает с шеи, как спутанная пакля — пластами и волотьём. Сивая челка спадает на глаза и закрывает на лбу белую бархатную звездочку. Ходит Карько медленно, в раскачку и с одышкой. На нем по зиме дядя Толя и возит из под горы воду в ржавой бочке, похожей на раздутий Карькин живот.

А вот, перебрав копытами выскобленные жерди деревянного настила, выскакивает на волю неугомонная и плясовая Цыганка. Водит носом и взахлеб глотает свежий, пьянящий её, воздух. На хребте шелковисто переливается смоляная тень, а на широких, ядреных ляжках играют и скользят под кожей упругие, будто намыленные, мышцы. Цыганка, пружина, переминается с ноги на ногу, встряхивает хмельной головой, задом лощеным взбрыкивает и крутит жестким и густым хвостом. Вся такая молодая, красавая, неукротимая!

Если Карько выходит из конюшни без сопровождения, то Цыганку дядя Толя без узды не выпускает, он и в узде-то едва удерживает её. На ней ни одного пятнышка, ни звездочки, ни рубца от плети, только в темных угольных глазах, отражаясь, плавают матовые облака, застывшие над горизонтом.

Цыганка не подходит, а побегает к пруду и, разгоняя тину, шлепает точеными копытами по его глади. Потом резко вскидывает голову и пронзительно ржет, с надеждой, что её кто-то услышит там, за соломининским лесом, над которым, обещая на завтра ясный день, высветилась узкая полоска пока еще туманного неба, мягко подсвеченная предзакатным солнцем.

И после этого, шумно отфыркиваясь, Цыганка не пьет воду, а жадно всасывает её. Уши у неё в этот момент прядут сами по себе, атласная кожа нервно дрожит, а жесткий смоляной хвост по привычке сметает с боков невидимую мошкуру.



Я люблю лошадей. Они такие сильные и красивые. Мне жалко, когда их стегают кнутом и зануданных резко понукают вожжами. Увижу на их боках вздутие кровяные рубцы, и мне самому становится больно...

— Пойдем домой, — толкает Колька. — Ноги замерзли.

— Не, рано еще, — отмахиваюсь от него, хотя и у меня уже потекло из носа, а руки на холодном ветру одеревенели. Я почти не чувствую их. Я жду, когда в тёмном проёме покажется Майка.

Мне хочется еще раз посмотреть на неё, но не в душном стойле, а на улице. Майка тоже черной масти, но с огненно-рыжим отливом на боках и белым пятном на лбу. Раньше оно было чистым и накрахмаленным, будто с мороза, а с годами пожелтело и теперь даже под дождем не отмывается.

Майка не семенит, не пружинит, как Цыганка. Она ступает на землю осторожно, как на скользкий, не окрепший лёд. Поглядишь на неё и не подумаешь, что это она, с виду смиренная и послушная, имеет такой крутой нрав и неукротимую прыть. Посмотришь и не поверишь, что на горе она непредсказуема и может, сломя голову, сорваться по ней галопом.

Я не любуюсь на Майку, в ней уже нет прежней красоты и силы, я жалею её, когда вижу на тонкой коже багровые рубцы от огненных плёток, оставленных не бабушкой, а злыми ездоками. Увижу её нечесаную гриву, и мне сразу хочется взять конский гребень или щетку и расчесать её, давно уже не пышную, не такую, как у тяжеловеса Карьки.

У Майки и глаза теперь под мутной поволокой, а когда-то были ясные и живые, как у Цыганки. У неё хвост — и тот почему-то наполовину обстрижен.

Майка, не спеша, доходит до пруда, нащупывает копытами твердую почву, упирается и, опустив голову, начинает тихо втягивать воду. Слышу, как после каждого глотка вода глухо проваливается на дно её пустой утробы. Так же спокойно и даже покорно Майка возвращается в конюшню. Я провожаю её взглядом до самого стойла.

Наконец, дядя Толя, запахивает, как полы широкого полуушубка, скрипучие ворота, и долго, склонившись, звенит связкой ключей у маленького замка.

— Ну что, малышня, не пора ли по домам, — улыбается он и, набросив на плечо веревку, на полусогнутых ногах и чуть



---

сгорбясь от дневной усталости, направляется в сторону деревни. Мы с Колькой спрыгиваем с телеги и дружно пристраиваемся к нему по обе стороны, пытаясь вступить в ногу с ним.

За ужином я прошу деда научить меня строгать рубанком доски и выпиливать лобзиком наличники.

Дед внимательно слушает меня, о чём-то своём думает, но ничего не говорит...





# ОВИН

## 1.

В поле за огородами на особицу стоит старый овин. Почти весь год он угрюм и молчалив. Иногда, гуляя на задворках, мы с Колькой останавливаемся у кустов бредины и, не переходя просёлочную дорогу, издалека смотрим на него. Овин – не амбар с соломенной крышей, что притулился у нашего сада, овин всегда держится за околицей, он как будто из другого, неведомого нам мира, и потому относимся мы к нему как к живому существу, но не родному, а чужому и таинственному. И когда мы смотрим на него, то всегда молчим и, сами того не замечаем, как всё ближе и ближе прижимаемся друг к другу.

Кажется, вокруг овина даже сумерки начинают сгущаться раньше, и крапива у его стен, набранных из тонких венцов, вырастает гуще, жестче и злее. Я никогда не видел, чтобы в его темных окнах отражался месяц. Зато не раз в тихий день слышал, как под его крышей завывал ветер, шумно гуляющий в пустом овине.

Однажды мы видели, как из красной с копотью трубы вылетел черный ворон и, тяжело взмахнув крыльями, взял курс на антонковскую гору. Мы долго смотрели ему вслед. Нам показалось, что перед тем, как скрыться за перелеском, ворон вдруг обернулся, и глаз его сверкнул, как ледяная звездочка во тьме бездонного неба.

С тех пор, когда мы с Колькой смотрим на оvin, то не без тревоги ждем, что вот-вот, стряхивая с крыльев печную сажу, покажется в дымном облаке растрёпанный ворон и зыркнет в нашу сторону огненным до озоба и колким глазком...

Вот и сегодня мы с Колькой уже час, наверно, сидим на изгороди нашего огорода и, как завороженные, смотрим на трубу овина. Я даже вижу, как резкий ветерок выдувает из её расщелин кирпичную крошку, присыпая старую дранку сухой пудрой цвета сушеної рябины.



— А спорим, — говорю Кольке, — когда стемнеет, я зайду в овин.

Колька от неожиданности даже вздрогнул и наверняка свалился бы с жерди, если бы я не схватил его за рукав. Он округлил глаза и захлопал сивыми ресницами, даже сухие веснушки на щеках зашевелились, готовые отлупится от них, как чешуя прудового карася, а у ноздри надулся и лопнул, будто мыльный, пузырь, да так, что брызги от него долетели и до моего носа.

— Спорим на складной ножик, — повторяю, глядя прямо ему в глаза, и утираю рукавом свой обрызганный нос. Я давно мечтаю о ножичке. У Кольки не только новые резиновые сапоги, у него еще в кармане и настоящий, а не самодельный, ножик, которым он у меня на глазах легко срезает ягельные дудки, а по весне из бредины и черёмухи делает свистки, правда — сиплые.

— Один? — Переспрашивает Колька, и в плутовских его глазах начинают веселиться солнечные искорки. Стоит только ему почуять наживу, они у него светятся и в такое серое утро, как сегодня. — Один войдешь? И не испугаешься? — оживляется Колька. — Один в темноте?

— А вот и войду, — распальяюсь и сам.

— А спорим — нет, — Колька спрыгивает на землю и протягивает руку. — Если не войдешь, отдашь свой лобзик.

— На лобзик не могу, — торгуясь я, — дед заругает. — А сам лихорадочно думаю, что же мне предложить ему. — А я тебе дам денег. Столько, сколько этот ножик стоит. Согласен?

Колька на мгновенье задумался и сказал:

— Тогда три рубля, а может четыре. Я спрошу у мамки. По рукам?

Я понял, что отступать поздно и твёрдо сказал:

— По рукам!

Мысленно заглянул в свою копилку и успокоился. Рубли мне отдает дед, когда с ним рассчитываются за валенки. При этом еще всегда говорит, что это моя зарплата за работу. Ведь шерсть-то по зиме я тоже щиплю почти каждый вечер. Ножик мне в магазине всё равно не купить. Бабушка не разрешит, а вдруг порежусь или того хуже — наткнусь на него. У бабушки одно на уме. Так что спор этот мне по всему очень даже выгоден...

— Сегодня вечером жди меня здесь же, у огорода.



— Ну-ну, — с ехидцей, не скрывая хитрой улыбочки, цедит сквозь зубы Колька, откашливается и по-взрослому сплёвывает в траву, потом берёт свою машинку и, насвистывая, направляется по мягкой отаве в сторону нижнего конца деревни.

## 2.

Я подождал, пока он скроется в заулке Ленки Семичевой, и крадучись, с воровской оглядкой, прямиком двинулся к овину. Только теперь я вдруг понял, на какой отчаянный шаг решился. И вот, чем ближе подхожу к овину, тем сильней ругаю себя за то, что так опрометчиво ввязался в этот глупый спор. И кто только меня в бок толкнул, кто за язык дернул! А ведь кто-то толкнул, кто-то дернул, если я ни с того, ни с чого взял и объявил Кольке о своем дурацком желании.

А ведь мы оба с детства знаем, что за овином тянется дурная слава. Туда и взрослые-то в одиночку без надобности не ходят, а уж мы с Колькой и подавно обегаем его за версту. Сказывают, будто в овине по ночам собирается с округи вся нечистая сила и гомонит там до третьих петухов. Если верить тому, что говорят, то в прежние времена не одна душа в овине бесследно сгинула.

Так ли, нет, но чей-то вой и всхлипыванья доносятся из него порой и до нашей избы. Тогда я нагло закрываюсь одеялом, подныриваю под горячую дедову руку, но даже у него подмышкой, густо пахнущей потом, дрожу, как заяц.

На нашей памяти, правда, ничего страшного пока не произошло, но это пока, а вдруг именно сегодня и произойдёт, именно в ту минуту что-то и случится, когда я в него войду?

Днем овин выглядит не так страшно. Сейчас он похож на старую собачью будку с прогнувшейся крышей. По бокам зияют темные проёмы без ворот. Зад у него тоже ничем не прикрыт, так что ветер в овине гуляет круглые сутки.

Овин оживает только осенью, когда убирают урожай. Тогда в нём чувствуется праздник. В ясные дни, когда солнце во всё небо, в сумрачном овине плещется пыльный свет, и посреди овина вырастает текучая гора из ядрёных ржаных зерен. Зерно из-под комбайна возят не только на машине, но и на лошади. Для этого на телегу устанавливают короб из струганных досок и с крышкой на петлях, похожий на амбарный сусек.



Я люблю, когда бабы, подбрасывают зерно деревянными лопатами, и оно, искря в воздухе, провеивается на сквозном ветру и, очищаясь от сорной травы и шелухи, опадает золотым дождем и подпрыгивает на твёрдой земляной «ладони», утоптанной до звона. Люблю утопить в нём руки по локоть, вдохнуть с наслаждением его сырой хлебный запах и почувствовать, перебирая пальцами сухие зерна, какое оно изнутри парное и чистое.

В такие дни во всех, кто участвует в шумном урожайном действе, вселяется какое-то особое праздничное настроение, с которым можно перекидывать зерно сутками напролёт, а в теле не будет ни капли усталости. Мы с Колькой тоже в эти дни никогда не ссоримся, и в нас тоже вселяется миролюбивый дух осеннего праздника, и мы с ним с радостью и большой охотой приобщаемся к крестьянскому труду. Жаль, что праздник быстро проходит.

Вот и нынешняя уборочная страда уже закончилась. Урожай засыпан в амбары, снопы высушены, «ладонь» подметена и под крышей овина загусла стылая тишина, а не звенящая, как июньский луг в пору цветенья.

Подхожу к овину со стороны дороги на Шелки, отсюда, случись что, ближе бежать к нашему огороду и, не спеша, обхожу вокруг. Вовнутрь не захожу, а заглядываю в овин через проём.

Даже не верится, что еще вчера здесь веяли зерно, а под высокой без потолка крышей звенели голоса неугомонных женщин. Теперь на серых запыленных балках сидят такие же серые воробы, какие и у нас в заулке, и, не обращая на меня внимания, деловито чистят клювом взъерошенные на сквозняке перышки. Для воробьев здесь раздолье. В овине дочиста выметена только земляная «ладонь», а в траве у нижних венцов желтеют россыпи ржаных и пшеничных зерен. Клюй – не хочу.

Перевожу взгляд на печки и прислушиваюсь к ним: ни шороха, ни звука, хотя до слуха слабым эхом доносится гулкое дыхание мятежного пламени, совсем недавно на моих глазах рвавшегося в темный зев ненасытной трубы. У черной прокопченной стены, напротив которой во время топки печей сидит на краю красный от жары бывалый овинщик, белеют осиновые лопаты, составленные в угол, да топорщатся сваленные в кучу

березовые метлы с жесткими обломанными концами. Вон и моя метелка, которой я подметал отскочившие зерна. Я узнал её по серой изоленте на алюминиевой проволоке. Сам её наматывал.

Осмеливаюсь и вхожу в овин. Изнутри он, как большой амбар, распахнутый настежь с обоих боков. Так и представляю, как он смотрит крохотными не застекленными оконцами на притихшую за огородами и садами деревню.

Осматриваюсь, но ничего подозрительного не вижу. Тихо в черной яме. Угли в ней припудрены пеплом, а поверх углей валяются изъеденные огнем головешки Тихо и над ямой, где сушило. Только в воздухе пахнет копотью, горьковатым дымком и немножко кислым дустом.

Знаю, что в овине живёт домовой. Бабушка говорит, что он похож на льняной сноп. На голове у него пушатся потрошеные колосья. На поясе, туга перехваченном вязкой соломы, подвешен мешочек, а в нём катаются, перетираясь в муку, зерна ржи, пшеницы, ячменя и овса. Глаза у домового темные, а ресницы цвета распустившегося льна.

Но таким он бывает только тогда, когда в овине никого нет, а на людях он превращается в бестелесный дух и плавает по овину наподобие печного, слоистого дыма. Я его никогда не видел. Хорошо бы его задобрить, но я не знаю, как.

— Домовинушко, — шепчу, как молитву, и поднимаю голову к колосникам, где по моему разумению он только и может прятаться в холодный осенний день, — помоги мне, домовинушко, не пугай во тьме овинной, провели меня через овин и одари ночным зрением...

Прислушиваюсь, и, кажется мне, будто в дальнем углу колосников кто-то одобрительно вздохнул. Может, показалось, а вдруг и правда домовой услышал меня и подал знак? Не знаю, но чувствую, прежнего страха во мне уже нет, и смотрю я на всё спокойно, словно не в овине стою на его широкой «ладони», а в заулке топчуся под окнами родной избы.

Вот так же, думаю, войду в него и вечером. Еще и свистну для пущей важности. Пусть у Кольки на коленках поджилки затрясутся! С такими мыслями возвращаюсь домой и весь день гляжу на часы.

Для верности заглянул в коробку из-под шоколадных конфет, которую мама прислала на День рождения из Иванова. Теперь я в ней храню заработанные рубли.



Пересчитал и успокоился. В копилке уже двадцать пять рублей. Если что, отдам Кольке три рубля и не обеднею.

И вот лежу на диване и жду, когда стемнеет.

— Ты чего такой вялый, — спрашивает бабушка, — не заболел?  
— Она даже подходит ко мне и трогает влажной ладошкой лоб.  
— Шел бы, попил молочка или творожку бы из печки поел...

Где было знать ей, что у меня с утра, как только мы с Колькой ударили по рукам, пропал не только аппетит, но и кровь в жилах будто остановилась. В голове одна бьется мысль: подольше бы не наступал вечер.

— Бабушка, а домовой в овине — он на сноп похож? — уточняю у неё.

— Такой и есть, — отвечает бабушка. — Наверно, не изменился.

— А ты видела его?

— Видеть не видела, а от старых людей слыхала...

— А он добрый?

— К кому как, а тебе почто, — бабушка вдруг настораживается, подходит и снова трогает мой лоб, но ладонь держит дольше. Убеждается, что жара у меня нет, уходит на кухню и уже оттуда громко добавляет. — Щас-то его в овине нет, он бывает только при народе, а потом уходит, а куда — никто не знает...

Слушаю бабушку, и у меня сердце замирает. Не зря, значит, говорят, что в овине правит нечистая сила, а именно теперь, как я понял, она там и правит, иначе бы ни шла о нём такая дурная слава. Думаю об этом, и меня — то в жар бросает, то в озноб. Угораздило же поспорить с Колькой. Сидел бы дома и в ус не дул. Залез бы на печку и грелся, а теперь...

За окном темнеет. Гляжу на часы — пора выходить из дома...

### 3.

В условленное место прихожу первый, залезаю на изгородь, высматриваю Кольку и тешу себя надеждой: а вдруг не придет? Нет, он не упустит случая, чтобы лишний раз посмотреть, как я буду превозмогать себя и даже мучаться, преодолевая страх, в то время, как он будет за всем наблюдать со стороны и даже тихо посмеиваться надо мной.

Ему всегда в радость, когда я уступаю. Не важно — в чем.



Он и сейчас наверняка думает, что я струшу, принесу ему три рубля, а в овин не пойду. Нет уж, теперь-то я ни за что не уступлю, не унизусь перед ним и сделаю ему все назло.

Но это я в сердцах так говорю, от обиды на самого себя и на свой дурной язык, а вообще-то, если по-честному, буду рад, если Колька по какой-то причине вдруг возьмёт и не придёт. Ведь спор наш имеет силу только сегодня, завтра будет другой день, и уж я вряд ли снова совершу такую глупость, как сегодня...

А вот и Колька. Он неожиданно вышел из Ленкиного заулка, и так радостно, будто никуда и не уходил, а всё это время стоял за поленицей и ждал, когда я приду за околицу. Руки засунул в карманы, картуз нахлобучил на самые глаза, идет вразвалочку и что-то нахально жует перекошенным от удовольствия ртом.

Ну-ну, посмотрим на тебя, когда вернусь из овина. У самого-то, небось, духу не хватит. Колька подходит, а в уголках его губ затаилась улыбочка. Он на ходу вытирает рукавом рот и, как ни в чем ни бывало, спрашивает

— Ну что — готов? — Колька, не дожидаясь ответа и уже не глядя на меня, разворачивается на каблуках и спокойно направляется в сторону проселка. До него от изгороди метров пятьдесят. Он молча доходит до куста придорожной бредины и останавливается, как вкопанный.

— Все, — дальше не пойду.

До овина через дорогу еще метров двести.

— Давай до лопухов, — уговариваю его, — на грабалке и посидишь...

— Не, мы так не договаривались, — мотает головой. — Это ты такой смелый. Так что шагай! А мне и тут хорошо.

Делать нечего, подтягиваю штаны, выламываю ивовый прут, подбираю на обочине камень и на глазах у Кольки сую в карман. Делаю всё внешне невозмутимо, будто собираюсь на прогулку, о которой мечтал всю жизнь.

— На, возьми, — Колька протягивает мне свой складной ножик, тот самый, на который мы с ним и спорили. — На всякий случай. Только, смотри, не потеряй...

Я уж, грешным делом, подумал, что он мне его дарит, прекращая глупый спор, и проявляет ко мне дружеское великодушие. Не тут-то было. Это он от страха. Понимает, какие опасности могут меня подстерегать в овине. Ишь, какой заботливый. И ножика не жалко.



Ну и ладно, думаю, отказываться не буду, и так много ему чести, беру ножик и, чтобы не потерять, зажимаю в кулаке. Вздыхаю и, насвистывая, перехожу через дорогу на сжатое ржаное поле. Чувствую, как упругая стерня, ощетинившись, пружинит на подошвах старых сапог, того и гляди, проткнёт подошву, и слышу, как тут же с хрустом у земли ломается.

Сумерки сгущаются. Оборачиваюсь на деревню, но Кольки у дороги не вижу. Только темной, размытой в сумерках кочкой темнеет на обочине ветвистая бредина, у которой я его оставил. Неужели в кусты забрался? С него станется, он может и в деревню убежать, а потом скажет, что никуда не уходил или найдёт для себя какую-нибудь уважительную причину. От этой мысли у меня на спине, по ложбинке, пробежал мерзкий холодок.

Гляжу на овин и не узнаю его. Вечером он совсем не такой, как днем. И не овин, кажется, стоит в поле, а будто лежит, затаившись у темного перелеска, умная сторожевая собака. В зарослях колючих лопухов у передней стены овина стоят конные грабли с большими колёсами. Из травы, как ребра, торчат его редкие зубья, а на железном сиденье укладывает поудобнее огромные крылья чужая, не деревенская ворона, а может, это вовсе и не ворона, а тот самый ворон, который однажды вылетел из трубы и скрылся за перелеском? Уже не просто холодок пробегает по ложбинке, а кажется, обжигает жесткий иней.

Откуда взялась ворона? Днём её не видел. У наших деревенских ворон другие повадки. В темное время они на глаза не попадаются и людей не пугают, а эта сидит и не улетает. Она не серого, а черничного цвета с отливом волчьих ягод, и с клювом, похожим на опиленный козлиный рог. Вынимаю из кармана камень и, не прицеливаясь, кидаю в её сторону. Камень звонко чиркает по колесу грабалки и, прошуршав по шершавым листьям, глухо падает на землю.

Ворона рывком, но без крика взлетает и, шумно загребая крыльями морозный воздух, опускается на крышу овина. И садится так, чтобы постоянно видеть меня.

Подхожу к граблям, где она сидела, и, что есть силы, хлещу ивовым прутом по сухим листьям лопухов и дряблым верхушкам крапивы. Ворона не улетает, грузно переминается с лапы на лапу, как будто и не слышит и глядит куда-то в达尔 – за Сумароково. Мне от её присутствия становится не по себе.

Выхожу на дорогу и останавливаюсь метрах в десяти от овина, как раз напротив сквозного в стене проема. Прислушиваюсь: внутри овина что-то шелестит. Звуки похожи на шуршание бумаги. Потом мне чудится вкрадчивый шепот и свистящее шипение.

Поднимаю глаза на крышу и вздрагиваю. На меня внимательно смотрит ворона, а глаза у неё искрят, как угольки, и потрескивают.

Рассеянный свет месяца, вставшего над деревней, мертвенно отливает на его крыльях, и ни одно пёрышко на них не вздрогнет и не шелохнется.

У меня под кепкой высыпает на лбу холодная испарина. В страхе начинаю пятиться с дороги на кромку поля и чуть не падаю, наткнувшись на какую-то корягу. Хочу отопнуть её в сторону, но вижу, что в траве не коряга, а серый коровий череп. Сколько не ходил здесь в дни уборки, никогда на него не натыкался. Откуда он тут и взялся, да еще и со змеями, а ведь змей в нашем kraю отродясь не было. Не знаю, показалось мне, или нет, но я будто увидел, как из его черных пустых глазниц с шипом юркнули в траву две светящиеся фосфором змеи. От неожиданности я отпрыгнул на край канавы.

Душа моя ушла в пятки. Сжимаю в потном кулачке Колькин ножик и слышу, как в овине заплескали крыльями летучие мыши и заскрипели острыми коготками о гладкие жерди стропил. С крыши с карканьем снялась ворона и взяла курс на антонковскую гору, как и тот таинственный ворон.

Стою и не шевелюсь. И вдруг перед глазами мирно и взволнованно запорхали редкие снежинки, первые снежинки нынешней осени. Они ласково касались щек, обжигали их и мгновенно таяли. Над полем снег кружился медленно и опускался на стерню плавно и не слышно. Но вдруг передо мной он стал крупными хлопьями вырываться из черного зева овина, как из трубы с безумной тягой, и, закручиваясь над моей головой, взмывать белым вихрем в звездную, неоглядную высь.

В эту минуту мной овладевает единственное желание – вбежать в избу, уткнуться в колени деда, пахнущие свежими стружками, и почувствовать на своей голове его тяжелые, теплые ладони.



Я смотрю в темный, кишащий снегом, проем, похожий на банный котёл, и, как завороженный, не могу оторвать от него оцепеневшего взгляда. Какая-то неведомая сила стала подталкивать меня к овину, и я медленно делаю первый, пока очень робкий шаг, потом второй, третий. Я переступаю невидимый порог и погружаюсь в напряженное пространство овина, вижу светлое пятно противоположного проёма, закрываю глаза и теряю ощущение времени и места. Я уже не чую ног, они сами, не касаясь земли и помимо моей воли, несут меня сквозь роковую темень на другую сторону овина.

Вокруг меня плещутся крылья невидимых птиц, и шумит ветер, засасывая в узкую воронку раскаленный до белого свечения воздух.

Я прихожу в себя, очнувшись от оцепенения, только у изгороди, когда на одном дыхании пробегаю сжатое поле.

В ушах стоит шум, плеск и хруст. Ноги гудят. Я их еще не чувствую. Я даже не понимаю пока, что и произошло, и почему стою около изгороди, держусь рукой за жердь и никак не могу отышаться, как будто бы только что вбежал без остановок в нашу поповскую гору.

Но вот слышу за спиной чьё-то отрывистое дыханье и глухое шлепанье голенищ. Оборачиваюсь и с удивлением вижу подбегающего ко мне Кольку.

– Ты чего? – едва выговаривает он. – Я же там...

Колька плачет и рукавом растирает по щекам слёзы. В волосах его пушится и не тает лохматый снег.

– Ну, как, страшно? – спрашивает Колька.

– Не знаю, – невнятно отвечаю, гляжу в его потухшие глаза, влажные от слёз, и только тут начинаю поминать, откуда только что прибежал. Мои щеки заливает жар стыда. Колька видел, он не мог не видеть, как я в беспамятстве проходил сквозь овин и как потом, сломя голову, бежал к огороду, будто кто страшный и злой преследовал меня от самого овина.

– Я же тебя у кустов ждал, – хнычет Колька. Похоже, он, увидев мое трусливое и позорное бегство, испугался не меньше, чем я, и теперь пытается обвинить меня в нарушении договора.

– Разве не здесь? – удивляюсь его вопросу.

– Где ножик? – всхлипывает Колька и протягивает открытую ладошку.



Я с трудом разжимаю онемевший кулак и с ужасом обнаруживаю, что ножа в нём нет. Колька зло и больно стукает меня кулаком в плечо, содрогаясь плечиками от плача, расстроенный и несчастный уходит прочь от меня, как от прокаженного.

Смотрю ему вслед и чувствую, как слёзы текут по горячим щекам.

Так плохо и так стыдно мне еще никогда не было...



# УБИЙСТВО ХУТОРЯНКИ

## 1.

Я люблю, когда жнут рожь, и на поле, как печи, дышат теплые копны, еще несметанные в скирды, и щедро обогревают притихшую округу. В ясный день они отливают золотом, потому что солома похожа на остывшие, но не потерявшие цвет, лучи заходящего солнца. Оно, опускаясь за дальний холм у горизонта, будто опиливает их зубчатой пилой елового леса и спутанными охапками, еще искрящие, укладывает в копны.

В сухую погоду мы с Колькой роем в них норы и прячемся друг от друга. Солома не колкая — шелковая, с запахом летнего солнца и пыльных, травленных дустом, мышей,

Вот и сегодня с обеда мы с ним проверяем тайные укрытия, устроенные в ближних к дороге копнах. На солнце солома, отзывааясь на родной свет, весело шуршит и празднично искрится.

Я смотрю на Кольку и вижу, как припудренные золотистой пыльцой полыхают жаром его щеки, и краснеет нос с капельками мутного пота. В рыжих волосах путается солома, а в плутовских глазах играет озорная ухмылка. Видно, что Колька опять задумывает против меня какую-то хитрость.

— У меня нора шире, — хвастается он. — Вот так...

Уже в голоске его визгливом чувствую обидный подвох.

— А у меня уютнее, — отвечаю и скрываюсь в копне. Даю понять, что играть по его правилам не буду.

— Приходи ко мне в гости, — слышу вдогонку, но не откликаюсь, и всё же, на всякий случай, за Колькой подглядываю.

Он вылез из норы, забрался на копну и сидит на ней, как барин, только голова его рыжая маячит на фоне синего неба. Колька стряхивает с волос цепкую солому и отфыркивается от пыльной шелухи вызревших колосьев.



Мы так и сидели бы по своим норам в копнах, сторожа их друг от друга, если бы вдруг тишину не сотряс, как гром среди ясного неба, бабий крик – отчаянно безысходный и дикий. Я слышал однажды такой же, когда в Сумарокове у церкви кого-то хоронили. Женский плач с истошными воплями оглашал всю округу и безжалостно полосовал даже мою пугливую душу.

Мы, не сговариваясь, и не глядя друг на друга, медленно сходимся и, оцепенев от ужаса, замираем – плечо к плечу. Видим, как по тропе со стороны Чубыкина, бежит, вскинув руки над растрёпанной головой, обезумевшая женщина в белой кофте и, как полуумная, подвывает и сквозь слёзы взахлёт кричит:

– Убили!

Трудно было узнать, кто ломится по заросшей меже, но ясно, что кто-то из наших баб – деревенских. По облику и голосу, вроде, Ермиловна, Тамаркина бабушка, но та в жизни высокая и сухопарая, а эта какая-то обмякшая и сгорбленная. Бежит неуклюже и с надрывом, будто кто сзади за плечи хватает её, пластается, как раненая птица, руками суматошно размахивает, путаясь в подоле черной юбки и чуть не падая.

– Господи, спаси и сохрани, – шепчу губами, не смея перекреститься. – Господи, не оставь и помоги...

Я крепче прижимаюсь плечом к Кольке и через пальто слышу, как он дрожит. Ему тоже, значит, страшно. Не одного меня поколачивает, и у него ноги подгибаются в коленках и слабеют от страха. Стоим так минуту-две, а потом, как по команде, бросаемся наутёк к дому. Колька сразу вырывается вперёд. Я за ним едва поспеваю. По высокой и колкой стерне бежать тяжело, и кажется, будто сзади и меня тоже кто-то хватает за полы распахнутой пальтушки. И у моих сапог хлопали голенища, и сам я не чуял под собой ног, и Колька на бегу всхрапывал, как жеребёнок, и шмыгал сопливым носом.

Не помню, как мы перепрыгнули через дорожные колеи – широкие и глубокие, как пробивались на задворках по густой и высокой отаве, очнулись и пришли в себя, когда рухнули, как подкошенные, на грязный порог Колькиного крыльца...

## 2.

О том, что случилось в Чубыкине, я узнал только вечером, когда бабушка вернулась с работы.



Я грелся на печке, а дед сидел за столом в закутке и закладывал из серой шерсти, взбитой с утра в бане, неуклюжий валенок

— Батьк, слыхал? — с порога выдохнула бабушка. — Анну чубыкинскую убили. Господи, как жить теперь...

— Кто нашел-то? — буднично спросил дед, прихлопывая грубою ладонью пухлую заготовку.

— Надёнка, чу, Куликова. Она бегала к ней. За яблоками. У Анны яблоки-то хрущкие и сладкие. На дворе на мертвую и наткнулась. — Бабушка в прихожей шумно разболокалась, шуршала фуфайкой по обоям, стаскивала о порог скрипучие резиновые сапоги и, не переставая, причитала. — Из ружья, чу, застрелили. Господи, что творится-то, батьк, что творится...

— Искали чего?

— Зазря-то не полезут, — бабушка уже на кухне гремела ухватом и выставляла на шесток тяжелые чугуны. — Вовульк, на печи? — Дежурно окликнула она. — Слыхал, страсти-то какие? Господи милостивый, не оставь нас, грешных, и помилуй...

Я не отозвался, затаившись на теплых кирпичах за сатиновой занавеской. Бабушка и так знала, что я дома.

— Чай, не наши — залётные, — откашлявшись, сказал дед.

Бабушка не ответила. Она готовила скотине пойло и шумно разливала из чугуна по ведрам горячую воду. На дворе уже подавала голос Белянка, наша корова, и поочередно блеяли бесноватые овцы. В избе сначала вкусно запахло мятым картошкой, потом кисловато размокшим ржаным хлебом, а напоследок к этим сытным запахам примешался пряный дух вареной брюквы.

А у меня не выходила из головы смерть Анны. И это в моем-то тихом благословленном уголке, где, кроме пьяных мужицких драк, я ничего не видел. И то один только раз, когда схватились в заулке на кулаках родные братья моего отца — дядя Леша с дядей Мишой. Да и на драку-то их схватка мало походила. Вцепились пьяные друг в друга, но тут же упали на землю и покатились живым клубком под скамейку у палисада. Братья так и не успели от души развернуться, только рубашки порвали да штаны вывалили в опилках, как их разняли старшие братовья, а жены развели по углам и успокоили. Через полчаса они снова сидели за праздничным столом, мирно обнимались и о драке не вспоминали.

Я не знал убитую Анну и даже никогда не был в Чубыкине. Но когда с Колькой Корзинкиным пас деревенское стадо, то не раз проходил низиной мимо холма, на котором под кроной одинокой липы стоял всего один дом. Я только удивлялся, почему же в деревне и всего один дом.

Чубыкино хорошо видно с бугра, на котором мы по весне сжигаем масленицу. До него через поле с горы на гору не больше километра. Какая-то тайна окутывала этот холм, отделенный от нашей деревни заросшим оврагом с крутыми склонами. Жить там мог только тот, кто связан с нечистой силой. Так думали мы с Колькой и потому даже на пастушне обходили чубыкинский холм стороной и никогда на него не поднимались.

— Батьк, — снова подала голос бабушка, она сидела на табуретке у окна и мяла пальцами варёную картошку. — А верно говорят, будто у неё золото было?

— Почем я знаю, — буркнул дед, не отвлекаясь от дела. Он на трезвую голову был не словоохотлив. — Может, и было. За просто так убивать не станут...

— Бабы сказывают, в дупле она что-то прятала.

— Может, и прятала, — дед никак не проявлял к разговору нужного бабушке интереса. — У неё батько-то не из бедных был. В городах батрачил. Может, и разбойничал при царе. Кто теперь скажет — дело прошлое...

— Нет, не надо и денег, — сокрушилась бабушка, и по привычке тяжело и долго покачивала головой, шепча горячую молитву. — Вот горе-то, горе какое — от денег-то...

— Кто-то знал, видно, про её бриллианты, — поддержал дед. — А может, из наших кто — из местных, подсказал про драгоценности? И про то, где она прячет их. А дупло-то, где — на липе, что ли?..

— Сказывают, на липе...

Бабушка ушла поить скотину. Было слышно, как по грубой материи отложено и размеренно шоркает задубелая дедова ладонь. Мне стало вдруг страшно. Я закрыл глаза, затаил дыхание и с головой зарылся в бабушкину фуфайку, вдыхая смешанный запах пота, сена и горького овинного дыма... Я слышал сквозь сон, как бабушка, истопив подтопок, на руках перенесла меня с печки на кровать и, чтобы теплее было, со всех сторон подоткнула ватное одеяло...



### 3.

Ночью мне приснился сон, словно бегу я полем от копны к копне, а за мной гонится огромный волк. Я слышу его разъярённый рык, хруст стерни под тяжелыми лапами и спиной чувствую его утробное дыхание, обдающее нестерпимым жаром.

Оборачиваюсь, но вижу не оскаленную волчью пасть, а чужое лицо — человеческое, перекошенное злобой, и сверлящие глаза, прожигающие насквозь. За ним вспыхивают огнем копны сухой соломы, и белый густой дым застилает холм, на котором стоит желтая липа, а под ней — серый дом окнами на юг.

Я бегу и натыкаюсь на упругую стену раскаленного ветра. Бегу, а ноги не слушаются, одрябли. Я не чувствую их, и вот уже лечу со всего размаха в ощетинившуюся стерню, прикрывая ладонями глаза, и жду, когда в спину мою вонзятся волчьи когти и разорвут на части. У меня останавливается сердце, и... я просыпаюсь, не понимая, где я и что со мной...

Протираю глаза, и вижу, как из утренних сумерек пропадает оклеенный потолок. Я узнаю его по трещинкам на обоях и по грязно-кровяным кляксам от убитых мух и комаров.

— Господи, — шепчу я, подражая бабушке, — спаси и сохрани...

За переборкой слышу голос Надёнки Куликовой.

— Егоровна, не поверишь, как её-то увидала, думала там, у ворот, и упаду, — голос у Нади похож на куриный клёкот с горловым бульканьем, не сразу и разберёшь, что она, спотыкаясь в словах и сглатывая слону, в попыхах наговаривает.

Потому, забыв про сон, освобождаю из-под одеяла голову, навостряю уши и вслушиваюсь в Надёнкину речь.

— Да, разве представить, — поддакивает ей бабушка. — Не каждый такое выдержит...

— Уж и не знаю, Егоровна, за какие такие грехи Бог покарал её. — Слыши, как Надёнка, причмокнув, обтерла пальцами уголки губ. В них у неё скапливается обильная слюна. — Вроде, и жила тихо, и не ругалась ни с кем. Да и откуда у неё деньги-то? У меня и то не раз занимала...

— Говорят, не бедная была, — это уже бабушка заворковала, припомнив слова деда. — Батька ей брильянты оставил, а она их в дупле прятала. А что милиция-то сказала, Надюх?

— А что милиция, — Надёнка задумалась и снова заклокотала, — следов не нашли, но слышала про меж них разговор, будто далеко уйти он не мог, убивец-то, где-то в округе прячется и будто из наших он — из местных.

— Как из местных? — переспросила бабушка. — Неужели из наших кто? Полно, матушка! Не смеси. В век не поверю...

— Да нет же, из прежних, — уточнила Надёнка. — Из тех, кто жил у нас да уехал. Всех теперь, Егоровна, проверять будут — и нашу родню городскую допросят. Предупреди Валентина-то своего, мало ли что.

— Бог с тобой, Надюха, — бабушка, чувствуя, испугалась не на шутку. — Неужто и нам допрос чинить будут? До чего дожили, Надюх. Не опять ли друг друга оговаривать начнём...

— Не говори-ка, Егоровна. Страшно мне, милая моя. Я ведь у них теперь вроде как единственный свидетель. Не ровен час и меня, чтоб лишнего не сболтнула, подстерегут да полено по башке шарахнут...

— Сплюнь, дура, чего городишь-то! Выдумаешь тоже — по башке...

— Ладно, пойду я. Натолия кормить надо. Встал, наверно. Семеныч-то где? В бане что ли. Ну-ну, кланяйся ему да напомни про валенки-то — еще весной обещал скатать. Не забыл бы. Уж скатает пусты. Зима на носу...

Надёнка прошуршала фуфайкой об угол печки и шумно, с одышкой, вывалилась грузным телом за порог...

#### 4.

С этого дня в деревне с утра до вечера был только один разговор — о смерти Анны чубыкинской да об её убивце, который укрылся где-то в лесах нашей округи. Дня не проходило, чтоб мы с Колькой не узнавали от взрослых что-нибудь новое и чаще — таинственно-зловещее.

Вот и сегодня, подхожу утром к Колькиному дому, а он мне с порога важно так и вроде как по секрету сообщает:

— Убийцу видели на мысовке, слыхал? — Колька звучно прищелкнул язычком и поднял вверх грязный указательный палец — дескать, теперь сам думай, какая опасность нам вчера угрожала. — А еще говорят, что под липой, у дома, он обронил пачку «Беломора» Ярославской фабрики.



А кто у нас такие папиросы курит?

Колька, кажется, всерьёз вошел в роль сыщика и никак не хотел из неё выходить. Он взял меня за руку и потащил к дому Вальки Каюровой.

— Видишь ту сосну — на бугорке, — показал он рукой в сторону мысовки. — Мы еще костер жгли под ней, помнишь? Ну, так вот, на ней он и сидел. Может, тогда и залезал, когда мы с тобой в соломе играли. Представляешь?

День выдался серый с моросью. Над худосочным ольшаником с голыми уже верхушками, что росли по обеим сторонам оврага и речки, висит сырая промозглая хмаря. Я смотрю во все глаза, но не могу точно уяснить, под какой именно сосной и главное — когда мы жгли с ним костер.

— Видишь? — Не унимается Колька и глубокомысленно морщит лоб, будто соображая о чем-то очень важном. — Под ней окурки папирос валялись, той же самой фабрики — ярославской, чуешь?

— Угу, — бурчу я и уважительно оглядываю Кольку. Какой же он все-таки умный, думаю я, и какой смелый. Он стоит молча, сунув одну руку в карман с засаленными краями, а другую — за пазуху пальто над верхней пуговицей, висящей на последней нитке. Школьная кепка с треснутым козырьком сбилась набекрень, и рыжий чуб на лбу свернулся в кольцо, как жесткий боровой мох в пазах между венцами. Мне даже показалось, будто на переносице у него шевелятся веснушки горчичного цвета, а в хитрюющих глазах с расцветкой кукушкиного яйца пляшут тревожные огоньки пламени от горящей в поле соломы.

Потом мы с ним спускаемся к крайнему дому, в котором живёт Людка Голубкова. Она совсем недавно приехала в Попово с родителями из города Кустаная. Мы еще с ней по-настоящему и не познакомились. Дом стоит на бугре, как на крохотном островке. Отсюда тропы разбегаются в разные стороны: налево тропа ведёт к колодцу и роднику, а направо — к мосту через Гремячку на сумароковскую гору.

Мы садимся под окном на лавке и плотно прижимаемся друг к другу. Отсюда хорошо виден чубыкинский холм с желтой самоварной липой посередине. Под ней скорбно мокнет осиротевшая изба с почерневшей крышей. Мне показалось, будто вокруг дома кто-то ходит, но я ничего Кольке не сказал, чтобы не давать ему повода для насмешек.

— Пошел бы туда, — спрашивает Колька, кивая на Чубыкино.

— А ты?

— Я же первый спросил, — обижается он. — Боишься? — Он снисходительно, с прищуром, окидывает меня кислым взглядом и добавляет: — Куда уж тебе, зайцу трусливому.

— А сам-то, сам, — пытаюсь оправдаться, будто виноватый в чем, и демонстративно отодвигаюсь от него на край лавки.

Так и сидим молча. С неба сеется противный дождь. Даль, как запотевшее стекло, с мутными полосками стекающих капель. Неуютно и зябко. В такую погоду в лесу не больно-то укроешься.

— А что как он нашел землянку нашу и прячется в ней? — говорит Колька, даже не поворачиваясь в мою сторону, и снова умолкает.

От неожиданности я вздрагиваю, но к разговору не пристаю.

Землянку мы вырыли летом на горушке — недалеко от ключа. Невелика она — вдвоем едва умещаемся, да и крыша протекает. Долго в дождь не просидишь — до нитки вымокнешь и в глине извозишься. Я на миг представил себя в землянке, и меня передернуло ознобом. Хотя кто знает, может, в ней-то как раз и не будут искать.

Я не мог понять, как это можно взять и убить человека. Смерть тетки Анны вселила в моё сердце ужас. Я сам слышал на меже не человеческий крик ополоумевшей Надёнки Куликовой. Я и сейчас смотрю на угрюмый холм и даже представляю, как во дворе оглушенного выстрелом дома лежит, уткнувшись лицом в навоз, убитая Анна Веселова. Она бывала в гостях у Куликовых, сиживала на лавке под нашими березами, плясала под гармошку и даже угощала меня сдобным Надёнкиным колобком с пудрой.

Любая смерть — птицы или домашней животины — вносила в мою жизнь полный разлад и надолго выбивала из привычной колеи. Я всякий раз чувствовал себя виноватым перед всем белым светом. Весь мир вокруг становился чужим и враждебным, как будто сторонился меня.

Я убегал из дома, когда по осени к нам в избу заваливался Валюха Цветков с наточенным остро ножом за голенищем заскорузлого кирзача. Я видел на его самодельной ручке из



дерева старую запёкшуюся кровь. Я прятал глаза, когда проходил двором, чтобы не встретиться взглядом с Белянкой, у которой вчера закололи теленка, и не знал, куда деваться, слыша, как в омшанике терзается овца, не досчитавшаяся ягнёнка.

Я отхлестал вицей даже кошку Муську, когда однажды увидел, как она из подполья вытащила в зубах обмякшее тельце пепельной мышки и положила его в прихожей на половик прямо у бабушкиных ног. Мышка еще тонко попискивала и беспомощно дергала хлипкими лапками. Я долго переживал и смерть цыплёнка, унесенного ястребом. Неглядел за ним, заигрался у пруда с Колькой, а ведь мне, уходя на сушку, поручила бабушка стеречь цыплят и глаз с них не спускать.

Нет, решаю, человек убить не может. Может, если только он зверь с человеческим лицом, такой страшный и хищный, какой сегодня во сне гнался за мной по ржаному полю, чтобы убить и разорвать на части.

— Как ты думаешь, его поймают? — спрашивает Колька и прерывает мои мрачные воспоминания.

— Кого? — спохватываюсь, забыв на миг о смерти Анны.

— Ну, кто убил-то?

— Наверно, поймают, — вздыхаю, вконец расстроенный и смертью Анны, и навалившимся ненастьем.

Дождь усиливается, и мы молча расходимся по домам, чтобы друг от друга отдохнуть и согреться на калёных кирпичах, но и дома разговоры о том же и никуда теперь от них не деться, пока не поймают убивца. Теперь вся наша жизнь незримо связана с ним, застрелившим бабку Анну. Ни о чем другом мы уже и думать не можем. Везде видится и чудится только он — осторожный, как рысь лесная — хитрая и бесшумная.

Мы не выходим теперь за окопицу, гуляем только в деревне. Теперь столкнуться с ним можно в любом перелеске, наткнуться на него в любом овраге и, приглядевшись, разглядеть на ветках каждой густой ёлки или сосны. Он может отлёживаться и в сусеке старого амбара, и прятаться в кустах бредины у придорожной канавы...

## 5.

Каково было мое удивление, когда, войдя в избу, я увидел на столе фуражку милиционера. Я скинул сапоги, прошмыгнул в

комнату и, забравшись с ногами на диван, стал прислушиваться к разговору за перегородкой.

— Нет, мил человек, чужих не встречали, — так и вижу, как бабушка смиренно глядит в глаза милиционеру, и оглаживает на коленях выгоревшую юбку. — Может, кто задворками — крадучись, а под окнами нет — никого не было...

— Ну, а л-летом, кто в отпуск приезжал? — Это уже голос милиционера, не строгий, нет, не начальственный — даже с заиканием. — Может, кто в гости п-приходил к-к отпускникам?

— Знамо дело, приезжали, — бабушка, чувствую, освоилась, и говорит уже спокойно, без дрожи в коленках и нервного волнения. — У Машухи Васиной — Колья, сын, из Сибири. Он не каждый год ездит. Далековато. Фаина, дочка, с Марьяном — эти каждое лето бывают. Кто еще-то, батьк, вспоминай?

Дед разливал по стаканам водку, аппетитно хрустел капустой и в разговор не вступал.

У Лиды Цветковой — Пашка Мазов был, из Костромы, — наверняка, чтобы не сбиться со счета, бабушка начинает загибать пальцы, — но он больше в Сумарокове бражничает, к нам в деревню только на праздник заглядывает.

— Винца попить, — вставляет дед, предлагая и гостю перекусить. — Иван Васильевич, не побрезгуй...

Звякнули граненые стопки, слышу, как дед шумно занюхивает корочкой свойского хлебца.

— Эх, крепка Советская власть, — оживляется он, но бабушка не дает ему разговориться и продолжает загибать пальцы.

— Не знаю, Надёнкиного-то Натошку считать или нет. Он у неё в Буе учится — на машиниста. Да видно нешибко ему учеба-то нравится, кажинную неделю наведывается. Ну, вот Толька ённый. Кто еще? К Осиповым бабку Крестю из Свердловска с внуками привозят. Они всё лето гостят — до школы. Так ей уж, милый, поди, под восемьдесят, да и внуки малолетки.

— А что, Васильич, часто убивают-то? — неожиданно встревает дед, и слышно, как он в тарелке елозит вилкой и не может зацепить ускользающий рыжик. — Или только у нас?

— Не часто, но, случается, и убивают, Михаил Семёнович, — говорит милиционер, подгоняя слово к слову. — Чаще народ приезжий пошаливает, но и свои тоже в последнее время волю брать стали. Водочка разум мутит...



— Уж водочка-то, мил человек, точно никого к добру не приводила, — поддерживает разговор бабушка и, наверно, строго зыркает на деда. — Водочка ни одного молодца в могилу свела...

— Всех ли вспомнила, Анна Егоровна?

— Всех, вроде, невелика деревня-то. — Бабушка вздыхает и мысленно еще раз обегает все пятнадцать изб по обоим порядкам. — Пашка вот Мошков из тюрьмы вышел. Так он — поповский, наш. У Ермиловны с Зойкой живёт.

— Не шумит, Павел-то?

— Да нет, не слышно, — робеет, спохватившись, бабушка, словно что-то про соседа лишнее сказала. — Хорошо живут, врать не буду. Услужливый. На летучке ездит.

— Тогда прошу Вас, прочитайте и распишитесь, — милиционер, слышу, сдвигает посуду, шуршит бумажным листом, пристраивая его на краешек стола. — Вот здесь, где галочка.

— А я, батюшка, грамоте не училась, — виновато оправдывается бабушка. — Я ведь всё по простоте душевной тебе — без задней мысли. Уж ты не ругай, не ученая я. Что знала, то и сказала. А если что не по мысли вышло — прости...

— Что ты зачастila-то, ученая — не ученая, — сердито оговаривает бабушку осмелевший дед. — Подписывай, порядок такой.

— Она у меня только подписи обучена, — это дед уже поясняет милиционеру. — А раньше-то крестик только ставила.

И снова, обращаясь к бабушке, строжит её:

— Подписывай, не задерживай человека...

На минуту на кухне воцаряется тишина. Это бабушка, затаив дыхание, склонилась над листом и старательно, высунув кончик язычка, выводит букву за буквой, чтобы не испортить нечаянно казеннную бумагу.

— Ну вот, и ладно, — благодарит за угощенье милиционер и встаёт, со стуком отодвигая табуретку. Слышу, как у него поскрипывают на плечах новенькие ремни и по полу цокают железные подковки на хромовых сапогах.

Я выхожу в прихожую, чтобы посмотреть на милиционера вблизи. Я и видел-то его в форме всего один раз, когда ходил с дедушкой в Сумароково на выборы.

— А тебя как зовут? — увидел меня милиционер.



---

Он был ростом с дедушку, но чуть плотнее и в плечах шире, с брюшком, нависшим над широким ремнем, с потной лысиной да с черными усами, испачканными сметаной. Губы и подбородок, переходящий в шею, лоснились, а на щеках розовел болезненный румянец с кровяными жилками.

На погонах золотились три маленькие звёздочки. Наверно, у него был большой чин, подумал я.

— Вова, — отвечаю и тут же уточняю. — Вова Соколов.

— Внук наш, но не Соколов, — с улыбкой поправляет дед, поглаживая меня по голове, — Кудрявцев он у нас, Кудрявцев.

— Отец в Иванове учится, — подхватывает бабушка, — туда и матка уехала, а он с нами зимовать будет.

— Ну а ты, Вова Кудрявцев, никого подозрительного не видел? — вполне серьёзно спрашивает милиционер, запахивая ворсистую шинель. — Никто чужой по-за деревней не проходил?

— Нет, — отвечаю, — трактор токо проезжал в лес...

— Ну и ладно, благодарю за службу, — козырнул мне милиционер. — Если вдруг что увидишь, то сразу деду докладывай. Договорились?

Я согласно киваю головой и прижимаюсь к дедовой ноге, а про себя уже думаю, как я завтра расскажу Кольке о встрече с настоящим милиционером. Представляю, как он весь обзавидуется...

## 6.

Конец у этой истории был не менее драматичный. Узнали мы о нём только зимой, когда уже стали забывать и о том, что случилось прошедшей осенью в Чубыкине.

Новость эту привезла бабушка из Сусанина, куда они с деревенскими бабами возили на лошадях сдавать государству льняную тресту. И верно, убил Анну Веселову уроженец наших мест — некий Панко Черный. Дед с бабушкой слыхали про него, но видеть не видели. Он жил где-то на зубовской стороне и рано сел в тюрьму за воровство.

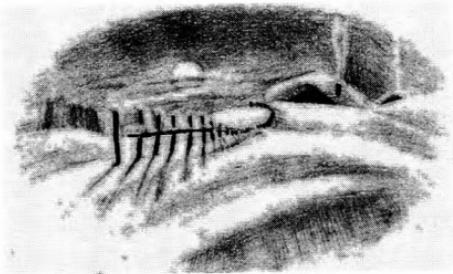
Поймали его в Костроме за Волгой. Но при задержании он вступил в перестрелку с милиционерами и погиб.

Говорят, что у него в Сумарокове остался сообщник, но никто теперь не узнает, кто он.



---

Так что после гибели Панка Черного легче жить не стало и покоя в душе тоже не прибавилось. Нет-нет, да и невольно подумаешь, а ведь где-то рядом ходит человек, который вместе с Панком замышлял убийство Анны. Может, и драгоценности-то остались у него. И кто знает, что у него нынче на уме?..



# ЗИМА





## В ЗИМОВКЕ

### 1.

С началом заморозков мы перебираемся из летней избы в зимовку, она приурблена к дому, перебраться в неё – только перейти через мост. Мне, признаюсь, в зимовке даже больше нравится. Она маленькая, уютная и в ней всё есть. Печка с полатями (на ней спит бабушка) и три окошка, одно в кухне, два – в комнате. Кровать с блестящими дужками (на ней мы спим с дедом) и ковёр с оленями на стене. Стол в простенке и комод в углу, а на нём зеркало и ваза с бумажными розами. Часы с кукушкой на перегородке, отделяющей кухню от комнаты, и лампа керосиновая под потолком.

В зимовке проживём до майских гроз, а может, и дольше – какая будет весна.

Сегодня просыпаюсь рано от мышиной возни за обоями, лежу с открытыми глазами и никак не могу на слух определить, в каком именно углу они без стыда и робости полошатся. Не верится, что резвятся мыши за комодом у холодной стены, но шуршанье-то их бессовестное доносилось как раз оттуда. Им бы съестнее жить за натопленной с вечера печкой – туда бабушка и крошки с тряпки смахивает, там и мучная пыль оседает, когда она над оладьями колдует, да и мало ли чем еще можно за печкой поживиться, когда за окном лютует январский мороз.

А вот и дед потягивается с дрожью в теле. Сегодня он никуда не спешит, потому что вчера долго сидел на кухне с Колей Михайловым. Вот он, кряхтя, приподнимает голову, с трудом отрывая от подушки. Левой рукой, стараясь не задеть меня, опирается на стену, но тут же её отдергивает. Уж не показалось ли ему, что под обоями в пазах и бегают мыши.

Правой рукой дед берётся за железную дужку кровати и под его жесткой ладонью шуршит песочная россыпь ржавчины. Вот он садится на краешек и к чему-то настороженно прислушивается: наверно, к моему мирному сопению, хочет убедиться, что я сплю.



Валенки его, как всегда, стоят у кровати, но не в изголовье, а посредине, там, где он садится. Так ему проще надеть сапог на здоровую ногу, чтобы потом рукой наживить правый сапог и сунуть в него хромую ногу. Сегодня у него всё получилось с первого раза. Дед встает и долго у окна разглядывает небо, чтобы понять, какую к обеду можно ожидать погоду. Потом, хоть и старается умыться как можно тише, но гремит язычком умывальника и отфыркивается ледяной водой. Бабушка не одергивает его, значит, её нет, ушла на двор.

Скрипит дверь, волна холодного воздуха обдает лицо, и я с головой укрываюсь под теплым одеялом. Входит бабушка и, видя, что дед уже на ногах, тревожно шепчет:

— Батьк, пойдем! Вроде, Белянка телится...

Дед быстро одевается, и они с бабушкой уходят. Я долго лежу один в пустой избе и, в конце концов, снова засыпаю...

## 2.

Просыпаюсь, когда утро уже в полном разгаре. На входной двери, на красных её досках, дрожат пятна не яркого, а бледного и мягкого, будто сквозь марлю пропущенного, солнечного света. Кажется, что свет медленно наполняет избу, поднимаясь от пола, и видно, как верхний край его покачивается на белом боку печки. Вот-вот заполнит он и темные впадины гарнушек, в которых сушатся мои вязаные из шерсти носки и варежки. Я будто и впрямь вижу, как густой свет затекает в них, и как он бесшумно плещется о глиняные стенки.

Чувствую, в избе царит праздничное настроение. С чего бы? Ни о каком празднике с вечера не говорили. Принюхиваюсь, пирогами не пахнет, но слышу, по избе плавают странные запахи – кислого молока и солёной мочи. Догадываюсь, что у нас появился новый жилец. Значит, Белянка отелилась. Слава Богу, вздыхаю, зная, как всю последнюю неделю бабушка с дедом переживали за неё. Бабушка не раз молилась у иконы и просила для Белянки счастливого разрешения от бремени. Натягиваю штаны и сползаю на пол. Сую босые ноги в валенки, они, как и дедовы, стоят у кровати, но ближе к изголовью, выбегаю на средину избы и гляжу в угол, где у нас висит одежда.

Так и есть: у нас прибавление!



В углу за кроватью под одеждой, висящей на вешалке, лежит на полу угловатый, вскоченный и еще не обсохший после рождения рыжеватый теленок. Близко к нему пока не подхожу, приседаю на корточки и рассматриваю издалека. Телёнок, неловко подвернув ноги, уткнулся влажным, матовым носом в потускневшую солому и лежит весь какой-то обмякший и усталый. Учуял меня и стал, не поворачивая и не отрывая головы от пола, приподнимать тяжелое морщинистое веко, чтобы посмотреть на меня, но не смог, и подслеповатый глаз, обведенный понизу желтоватым белком, открылся только на половину, а потом снова спрятался под нахлобученным веком.

Подхожу к нему и, боясь вспугнуть, тихонько трогаю рукой его светло-рыжую спинку. Ладошку мою щекочет слабая, но живая дрожь его худого тельца, она передается мне и вмиг пробегает до самых пяток. Я отдергиваю руку и прячу её подмышку, чтобы сбить дрожь и успокоиться. Теленок вздыхает, всасывая нервными ноздрями воздух, и шаловливо шуршит хвостиком по отклеившимся у пола обоям.

— Маленький мой, — причитаю над ним, как бабушка, когда она заигрывает со мной и хочет меня приласкать и пожалеть, даже и говорю её словами. — С днем рождения! Вот мы и появились на свет Божий. Вот мы уже и глазки пытаемся открыть, а глазки у нас не открываются.

Теленок, услышав мой голос, вздрагивает, ушки у него распрямляются, а в них топорщится сивая слипшаяся шерстка, сквозь которую просвечивает розовая, почти прозрачная кожица. Он шоркает по соломе копытцем, пытаясь согнуть ногу, но копытце скользит по атласной подстилке и брякает о половицу. Тогда телёнок, напрягаясь всем телом, да так, что на боку у него запереливались под кожей тугие ребрышки, стал рывками передвигать по полу тяжелую, непослушную голову. Вот и глаза его неожиданно распахиваются, такие влажные и доверчивые, и кажется, такие бездонные, что в них умещаются, отразившись, и белая печка, и связки лука на жердочке и я в серых валенках. Гляжу и не сдерживаю радости. На лбу у него, будто источая тихий свет, красуется белое, как накрахмаленное, пятнышко, пока еще совсем маленькое, но я уверен и даже не сомневаюсь, что оно обязательно превратиться в звёздочку, потому что только звёздочка, только она, и может быть на лбу нашего ненаглядного телёнка.

Я снова пододвигаюсь к нему ближе и продолжаю с интересом и с любовью рассматривать его. Свет в избе всё прибывает и прибывает, он уже плещется под самым потолком, и во всех углах скрадывает утренние застоявшиеся сумерки.

Замечаю, что на животе и ногах короткая шерстка быстро подсыхает и на груди начинает кудрявиться и лосниться. Нежные копытца судорожно подгребают с пола под бархатную грудку скользкую, мокрую солому. А каждое копытце у него в красивой окантовке, будто дед обвёл их для красоты своим черным обслонявшим карандашом.

Пока я им любовался, пришли дед с бабушкой и принесли с собой сенные и навозные запахи стылого двора.

— Уже познакомились!

Дед наклоняется и гладит теленка по шелковому загривку.

— Как назовем-то его?

Я задумываюсь. И правда, у всех есть имена. Кошка — Муська, корова — Белянка, лошадь — Майка. Должно быть имя и у телёнка, но я никак не могу его придумать и подобрать. В голову ничего не приходит.

— А может, Буяном? — не дожидаясь моего ответа, предлагает дед. — Вон как копытами-то сучит — ай-ай! И хвостом хлещет по стене! Озорник, да и только! Значит, Буяном ему и быть. Согласны?

— Согласны, — отвечает бабушка, — отступись...

— Значит, единогласно, — выпрямляется дед, опираясь на здоровую ногу, и радостно вслух повторяет. — Буянко, Буяунушко, Буян! — Довольный исходом дела, он и меня заодно треплет по голове.

— Буяунушко, — гладжу теленка по упругому и теплому животу.  
— Буянко!

Телёнок, видя, как все дружно суетятся вокруг него, благодарно виляет хвостом, он даже встает на коленки, но никак не может оторвать от пола свой зад, будто он приkleился к половине. Силёнок у телёнка еще мало, а ему так хочется подняться и оглядеть теплую избу, до краёв наполненную светом, куда его, мокрого и скользкого, дед принёс на руках с холодного двора. Телёнок валится на бок, укладывает поудобнее голову, и глядит на меня виноватыми глазами.

— Миленький мой, — хочу успокоить его, — вот молочка попьёшь и встанешь, а пока лежи и отдыхай. У тебя сегодня



такой трудный день, но самый-самый счастливый! Я тоже был маленький и тоже лежал в кроватке, а теперь видишь, какой большой. И ты у меня вырастешь, и ты будешь прыгать на зелёной травке, и греться на солнышке. Ты потерпи, миленький мой, потерпи...

Телёнок слушает меня и закрывает глаза.

— Вот и ладно, — перехожу на шепот, — вот и хорошо, во сне-то мы быстрей растём, спи, мой родной, и пусть тебе приснится травка на лугу и белые бабочки над цветами, а я пока на печке погреюсь. Спи, родной...

К обеду дед отгородил для Буяна угол и ушёл в баню бить шерсть. С этого дня теленок стал жить вместе с нами...

### 3.

В обед шумно в клубах пара в избу ввалился ветеринар Коля Михайлов. Тулуп нараспашку, шапка скомкана в руке, а в глазах — хмельные огоньки. Он, обивая о порог валенки, хрюплю басит, сбрасывая с плеч тяжелый полушибок:

— Егоровна! Принимай гостей!

В серых овечьих завитушках по воротнику путаются клочки сена, а в седых кудрях над самым лбом торчат, как колючки репейника, жухлые и ржавые головки клевера.

Он весь будто шерстью покрыт. На горле из-под рубашки у него топорщатся длинные, похожие на сухой мох, волосы, и на холках щек тоже пробились из-под кожи с десяток жестких волосин. Волосы завиваются у него в раковине ушей и даже выглядывают слипшиеся из отмокших с мороза ноздрей. Если бы он еще опустил усы и бороду, то у него на лице остались бы одни озорные глаза, но и над ними нависают густые брови-щетки. Такого встретишь на лесной дорожке, душа в пятки уйдёт, и чувств лишишься.

Бабушка выбегает из кухни, вытирает фартуком руки, потом снова скрывается за перегородкой и гремит чугунами.

— Я уж думала не придешь после вчерашнего, — оправдывается бабушка, — Поди-ка, головушка-то болит...

— Егоровна, и не спрашивай, болит окаянная, налила бы стопочку.

Бабушка выходит с эмалированным тазом и ставит его на табуретку.

— Да не таз, это много, Егоровна, мне и стопки хватит, — смеётся Коля Михайлов и намыливает руки. — А как сам-то? Ведь тоже, бедный, мучается. Посочувствовала бы мужикам, Егоровна...

— Или в нос попало? — бабушка таких шуток не принимает.  
— Дубца вам хорошего, а не стопочку. Фаина-то, поди, глаз не сомкнула. О жене-то подумал бы.

Бабушка, распаляясь, отчитывает ветеринара и поливает из ковшика руки. Пальцы у Коли Михайлова тонкие с желтизной, въевшейся в кожу, по тыльной стороне стелются и змеятся редкие, черные волосы, на большом пальце горбится ноготь белого цвета, длинный, но чистый, будто рашипилем с утра зачищен.

— Чтобы вчерась-то ей не вскрыться, — шутит Коля, — во сколько мы с Семёнычем разошлись-то?

— В начале одиннадцатого, — отвечает бабушка, — только-только часы десять откуковали.

Она, конечно, помнит, когда выпроваживала его за двери, как он упирался и не хотел уходить.

— Вот, видишь, — смеётся он, — а могли бы с ним и до отела просидеть, верно, говорю, — Коля оборачивается в мою сторону и скалит желтые зубы, — и просидели бы, кабы ты за порог меня, на ночь глядя, не выторкала.

Говорит он без обиды. Он вообще, заметил я, никогда не обижается. Может, потому, что сам всегда перед всеми виноватый. Бабушка подаёт ему желтое вафельное полотенце, и он досуха вытирает руки, перебирая им все пальцы по отдельности, то хрустя ими, то щелкая. Меня от этого костяного звука даже передергивает.

— Всё ли, слава Богу? — строго спрашивает у бабушки, кося смоляным глазом в угол на телёнка, лежащего без движения.

— Да, вроде, Бог миловал.

— Тогда показывай потомство.

Он наклоняется над Буяном и нервными желтыми пальцами сначала мнёт у него живот, а потом выворачивает у Буяна влажные губы и заглядывает теленку в рот.

— Пойдем на двор, — не говорит, а приказывает он бабушке и с кряхтеньем, опираясь на стенку, тяжело поднимается с коленка.  
— Тёлёнок хороший. Корову посмотрю. А Семёныч-то где — в бане что ли?



— В бане — щас придет.

Бабушка накидывает фуфайку, и они с Колей Михайловым уходят на двор к Белянке.

В избе после него остается стойкий запах йода и перегара. Я не люблю ветеринара и даже боюсь его. Не знаю, правда, почему. Кажется мне, что живет он не в избе, а в худом, нетопленом бараке, спит на голом полу под своим овечьим тулупом и ест по утрам сырую мерзлую картошку. У него и зубы желтые, как пальцы, и пахнет от него всё время вином и больницей. Вот и сейчас, уверен, придут они со двора, и дед выставит на стол пропасенную поллитровку. Так оно и выходит...

Коля Михайлов также шумно в избу и возвращается, как полчаса назад ввалился в неё с улицы, но теперь уже в сопровождении деда. Бабушка осталась на дворе. Он по-свойски садится у окна, закидывает ногу на ногу и кладёт на край стола измятую пачку «Беломора». Я едва успеваю по лестнице заскочить на печку, и вот лежу, подвернув под грудь фуфайку, и слушаю их застольный разговор.

— Семёныч, у меня ведь стог спалили, — чуть ли с плачем в голосе жалуется ветеринар.

— Да ну? — настораживается дед.

— Вот те и ну! На ближней делянке. Большой и стог-то. В выходные собирался вывести.

— Или не угодил кому? Или озорство чьё?

— Выходит, не угодил, — Коля зло сплёвывает на пол и с шипом цедит. — Узнаю кто, прибью!..

Потом он резко подносит ко рту стакан и, цокнув по нему прокуренными зубами, на два глотка заливает в горло.

— И чего людям не хватает, — дед никак не может успокоиться, услышав о сожженному стоге, сочувствует Коле и наливает ему еще полстакана водки. — Ведь кто-то из своих?!

— Из своих, конечно. Ты проверил бы, Семёныч, сено-то? Не всё ещё вывез? Ну вот. Поторопись. Видишь, какие времена настают. Что-то часто в нашей стороне пожары случаться стали, то дом сгорит, то амбар с зерном, то стог на делянке.

В избу входит бабушка с подойником. На молоке еще и кипящая пенка после дойки не опала.

— Егоровна, как там кормилица твоя? — Коля Михайлов закуриивает и отмахивает от лица клубы белого дыма. — Ты, если что, скажи, пока я не ушел, слышишь?

— Отстаньте, не до вас, — отмахивается от них бабушка и сразу проходит на кухню. — Вам, гляжу, давно уже не до коровы. Зенки-то с утра залили. Фаина тебя к нам и пускать не будет. Кому такое понравится...

— Не переживай, Фаина у меня баба понятливая, — ветеринар отдергивает шторку и заглядывает на кухню. — Ты спрашивала, откуда у меня шрам на носу? А хочешь, расскажу.

— Не хочу, — отказывается бабушка. — Допивайте да расходитесь поскорей, пока опять взашей не вытолкала.

— А ты послушай, Егоровна, коль спросила. У меня не только на носу, а и на щеке еще шрам есть. И оба, между прочим, имеют одно происхождение. А дело по молодости было. Ты тоже, Семёныч, послушай, — Коля тушит в корытце оконной рамы папиросу, наливает в стакан водки и, не предлагая деду, залпом выпивает, рукавом смачно занюхивает и начинает рассказывать:

— Копали мы раз по зиме могилу. Ну, как водится, выпили для сугрева, поговорили. Недокопанную могилу забросали снегом, чтобы не промерзала, и стали собираться домой.

Парни-то и говорят: «Я, чу, к девке на свиданье». Другой: «Я — к жене». Третий тоже собрался ко вдовушке.

Ну, раз так, то решил я тоже заглянуть на огонёк к двум медичкам — Ксюхе и Алене. Они потом уехали. Так вот захожу к ним, а выпивши был, и говорю, что свататься пришел. Пошучуваю, значит, а они, девки-то, глядят на меня как-то странно: то на меня, то в сторону печки.

Что-то, думаю, тут не так, а как разул зенки-то и обмер — сидит у печки Рокфеллер, огромный псина, у нас таких отродясь никто не держал. И вижу, глаза-то у него кровью наливаются, ноздри раздуваются и нервно так подергиваются, а из утробы рых нарастает и к горлу подкатывает, того и гляди, наружу вырвется.

А я спьяну-то и страха не знаю. Мне и море по колено. Еще и заигрываю с собакой-то, губами причмокиваю и руку ей протягиваю, чтобы лапу-то псине, значит, по-дружески пожать и потрепать по жирной холке. Я только подумал об этом, а пес этот окаянный в морду мою пьяную зубами и вцепился. Да так, что я от неожиданности даже и вскрикнуть не успел. Оторвал сгоряча собачью морду от своей, девки его тоже оттаскивали, и тут почувствовал, как кровь моя из ран захлестала.



— Девки, — говорю, — дайте хоть блюдо какое...

А сам-то под рылом руки держу ладошками, чтобы кровь на пол не лилась и половики хозяйские не кровянила. Ну, думаю, славно погулял...

Девки меня в коридор вывели, таз эмалированный подставили. Тряпкой мокрой обтирают, ватой обкладывают. Вижу — испугались они, аж, побледнели, горемычные! Не знают, что и делать со мной. Вроде, не я, а они и виноваты.

А у меня раны от собачьих зубьев и клыков, как угли, горят. На щеке — на холке, и на носу. Он, кобель, и ноздрю надорвал.

Повели меня девки в медпункт под гору. Лидию Пургину, фельдшера, вызвали. Она пришла, посмотрела на моё безобразие и сказала, что тут без операции никак не обойтись, тут, говорит, зашивать надо.

— Нет, — говорю, — я, дорогая Лидия Александровна, домой пойду, сам как-нибудь вылечусь — не впервые.

— Ну, как знаешь, — отвечает она. — Держать не буду. Пусть хоть девицы тебе раны обработают.

Усадили меня девки на стул, раны спиртом протёрли и стали пластырь накладывать.

— У вас пластыря-то, — спрашиваю, — много?

— А что?

— А то, — говорю, — что дали бы вы мне его с собой, да побольше. И не узкого, а лучше пошире.

— А зачем тебе? — удивляются.

— А я, — говорю, — окно им заклею, а то уж больно поддувает у меня в щели — рамы от старости рассохлись.

Девки, спасибо, заклеили мои раны и дали с собой моток широкого пластыря. Я от них ушел весь залепленный, башка, как берестяной туесок, но больше в медпункт не приходил. Сам вылечился, и окна пластырем заклеил. Сразу в комнате теплей стало. Вот такая, Егоровна, у меня однажды весёлая гулянка вышла. Кому ни расскажу, никто не верит. А ты-то, Семёныч веришь мне?

Дед согласно кивает головой и смотрит на Колю осоловелыми глазами. Бабушка из кухни не откликается.

— Ну ладно, пойду я, Семёныч! — Коля как-то неожиданно стал собираться. — Надо хоть сегодня засветло к матке вернуться, да и лошадь на морозе застоялась. А ты сено-то проверь. Не ровён час и у тебя спалят...

— Окстись, батюшка, — тут и бабушка не выдерживает и громко из кухни осаживает Колю, — думай, что городишь-то. Одевайся-ка лучше.

Коля встает из-за стола, опирается на плечо деда и кричит в сторону кухни:

— А на делянку обязательно, слышишь, Егоровна, обязательно сходи. Я вот без сена остался — дело ли, посреди зимы-то.

— Ладно уж, — сдаётся бабушка, — завтра с утра сбегаю...

На этот раз они посидели не так долго, как вчера. Уходя, ветеринар заглянул и ко мне на печку.

— Не дуришь? — обжёг меня горячим дыханьем. — На-ко, возьми в игрушки, — и он, порывшись в кармане, сунул мне старый шприц без иглы, заляпанный сенной трухой и табаком.

Дед проводил ветеринара до саней, а когда вернулся, я спросил у него:

— Дюдь, а Коля хороший?

— Угу, — буркнул захмелевший дед и снова сел за стол.

Деду я верю, и потому сразу начинаю жалеть Колю Михайлова. Он сейчас лежит в санях, закутавшись в тулуп, а верная лошадь без понукания сама везёт его по зимней дороге не в худой, слава Богу, и нетопленый барак, а к родному дому — к жене Файнене, которая его отругает и уложит спать...

#### 4.

По зиме бабушка часто уезжает на лошади в районный центр Сусанино. По снегу она с деревенскими бабами возит на завод колхозный лен.

— Сегодня опять на льнозавод, — говорит бабушка. — Поздно выедем. Ночевать придется. Одни останетесь.

— Скоро ли управитесь-то? — спрашивает дед.

Дед не любит, когда бабушка надолго отлучается из дома, и потому всякий раз сердится, когда она уезжает.

— Почём я знаю! — бабушка тоже отвечает не ласково, ей и самой эти поездки не в радость. — В три-то лошади до весны не управимся, а льну летось до черта уродилось.

После завтрака бабушка уходит, и мы с дедушкой долго сидим молча. Он на кровати, а я на стуле у окошка. На переборке напрягаются и вздрагивают часы. И вот, как ни в чем ни бывало, открывается со всхлипом сказочная дверца, и проснувшаяся



кукушка отбивает время наступившего дня. Насчитываю десять ударов. Я тоже не люблю, когда бабушка оставляет нас одних. Без неё зимовка наша выстывает и сиротеет, погружаясь в какую-то настороженную тишину.

Весь день мы принаршиваемся с дедом к самостоятельной жизни. Как-то сразу у каждого из нас и дел по хозяйству прибавляется, еще вчера мы и думушки не думали о воде и дровах, о подтопке и скотине, о посуде и теленке, а ведь со всем этим бабушка изо дня в день управляет одна без нашей помощи. До и после колхозной работы – и всё на удивление успевает.

А мы вдвоем с дедом так за день умаялись и накрутились, что спать ложимся рано. Даже шерсть не стали щипать. День простоял солнечный, а к вечеру на улице завыжило, свету белого не видно, и под трубное завывание ветра и шорох соломы, уложенной для тепла под окошком, я быстро и мирно заснул на теплой руке деда, которую бы мог с закрытыми глазами узнать по одному только вкусному её запаху.

Утром просыпаюсь чуть свет. Без бабушки и спится плохо. Сегодня печь топит дед, и потому жестче обычного шаркают по шестку чугуны, громче перестукиваются в углу ухваты, и звонче плещется прудовая вода, когда дед зачерпывает её из тары ковшиком и наполняет пустое ведро. Даже Буян и тот без бабушки всё утро волнуется и ходит кругами по загородке, цокая костяными копытами, шуршит соломой и обоями.

В избе еще темно и стыло. Дед управляет на кухне при свете печного огня. Видит, что я проснулся, и оживляется:

– Что так рано? Спал бы. У меня еще и печка не прогорела...

Выходит в комнату, зажигает лампу, раздвигает занавески и по привычке выглядывает в окно.

– Матушки родные, – дед стучит рукой по стеклу и, тревожно вздохнув, тяжело опускается на стул. – Только этого, внук, нам с тобой и не хватало.

– Диуль, а скоро ли рассветёт?

– А не знаю уж, и рассветёт ли, – дед снова поворачивается к окну и стучит по нему костяшками пальцев. – Погляди-ка, что на воле творится. Замело нас с тобой, внучек милый, по самую крышу снегом завалило. Слышал, как ночью в трубе метель гудела?

Я подбегаю к окошку и вместо обычной на стеклах темени, через которую всегда пропадает садовый тычинник и черный двор избы Марии Васиной, вижу сплошной белый снег, похожий на задернутые с обратной стороны плотные занавески.

— И калитку, поди-ка, тоже завалило, — сокрушается дед. — Теперь, пока не откопаемся, свету белого не видать.

Нас и раньше, помню, заваливало снегом и потому, забравшись к деду на колени, я слушаю его спокойно. Знаю, что крыша не обвалится и что рано или поздно мы всё равно выйдем на улицу.

— Ничего, внук, не пропадем, — уверенно заявляет и дед, а если он так говорит, значит, так оно и будет. — А ну-ка, дорогой помощник, полезай в голбец за картошкой! — Дед отставляет чугуны и открывает люк в подполье.

— Надевай кофту, — командует, — и галоши.

Подхожу к люку, а из него тянет холодом, гнилью и плесенью.

— Не боишься? — дед подбадривает меня и гладит по голове.

— Ты уже большой. Я рядом буду. — Дед берёт меня за руки и опускает в голбец на земляной пол. Сам с трудом укладывает в проём хромую ногу и, присев на здоровое колено, включает карманный фонарик.

— Держи корзинку, а я тебе посвечу. Ну, смелее!

Голбец в зимовке низкий, не такой, как в летней избе. Я пригибаю голову и робко, исподлобья, оглядываю подполье. Чувствую, как зябкий воздух медленно затекает за ворот и заползает в рукава моей рубашки.

— Видно ли? — спрашивает дед. — Не спеши — пусть глаза попривыкнут.

— Опусти фонарик-то, — прошу.

— Так лучше?

— Еще ниже. Вот так, — направляю дедову руку.

За разговором не так и страшно. Фонарик высовчивает махровые пыльные волотины, свисающие из щели между половицами, и упирается в серебристую паутину, тронутую мелкой моросью. За ней-то, знаю, в дальнем углу и хранится картошка. На заиндевелых бревнах в свете фонарика искрится крупный узорный иней и отливает желтизной снежная наледь, выросшая в пазах.

— Тут что-то светится, — говорю деду.



— Грибок, поди. Грибки есть такие. На бревнах растут. Вот они и светятся.

Подбираюсь к дальней стене и нашупываю рукой шершавую картошку. Она холодная и пыльная. Сижу и чувствую, будто из подвальной тьмы кто-то внимательно за мной следит. Быстро набираю корзинку, с трудом по земле подтаскиваю её к люку и кричу деду:

— Вытаскивай!

Дед поднимает корзинку, а потом и мне помогает выбраться из голбца. Пока я не встал ногами на пол, всё время ждал, что меня вот-вот схватит за пятки невидимый обитатель подвала.

— Ну вот, а ты боялся, — улыбается дед и одобрительно хлопает меня по плечу, смахивает с волос цепкую паутину и отряхивает со спины сорную пыль.

Дед снова берется за дела, а я залезаю на печку, ложусь на голые кирпичи, кладу под голову мягкий валенок и закрываю глаза. Лежу и долго прихожу в себя после голбца. И кажется мне теперь, что это и не иней вовсе блестел в углу, а светились во тьме чьи-то ледяные глаза, и не волотины свисали из расщелин между досками, а шевелились щупальца какого-то нечистого духа. Даже белая наледь в пазах теперь представлялась мне отвисшей губой доброго домового, который и оберегал меня в подвале от злых духов.

…Просыпаюсь от звона стекла. В избе по-прежнему горит лампа и пахнет испеченным хлебом. Дед умеет печь и пироги. Они у него получаются не хуже бабушкиных. Лежу на печке и не могу понять: утро на дворе или вечер. Отодвигаю шторку и вижу у окна дедову спину.

— Дюдь! — зову его.

Он оборачивается.

— Слезай скорее, — машет рукой, — а то не увидишь, как нас откапывают.

Я слезаю с печки и только успеваю подбежать к окну, как по глазам моим бьёт яркий и до боли слепящий солнечный свет. Он, как ярая вода, прорвавшая запруду, врывается в избу и вмиг заполняет её клокочущим светом. Через мгновенье я уже различаю за окном дядю Сашу Цветкова — нашего соседа.

— Пока ты спал, бабушка приехала, — спокойно говорит дед.

— Она и позвала Сашуху.

На мосту послышались чьи-то шаги — бабушкины!



— Ну что, горемыки, — с порога улыбается бабушка. — Даже на день вас одних и то нельзя оставить.

Я обнимаю её, вдыхаю сенной запах холодной фуфайки, и слёзы сами, помимо моей воли, застилают глаза и обжигают щеки.

— Ну, про что слезы-то, — гладит она мою голову. — Принимайка лучше гостинцы...

На этот раз она привезла мне железный пистолет и настоящие к нему пистоны, уложенные в ленту. Целую неделю, пока они не кончились, в зимовке пахло жжеными спичками и серой...



## НОЧЬ В ШЕЛКАХ

### 1.

Этого дня жду я целый год и берегусь, чтобы не заболеть.

Утром встал, слготнул слону – горло не болит. Пошмыгал носом, и нос тоже чистый. Дышу легко, не соплю, в груди не хрипит и не шелестит, как во время болезни. Потрогал лоб – чуть теплый, не горит, как при температуре. Бабушке придраться не к чему.

Раз в году после Нового года на святки она отпускает меня с ночевкой в гости к троюродному брату – Вовке Румянцеву. Он живет в соседней деревне Шелки. До неё от Попова не так и далеко: если по дороге, то через два поля, разделенные перелеском, и речку без моста, но ближе, если идти тропой через глубокий и крутой овраг, густо заросший лесом. Шелков не видно даже зимой, когда деревья стоят голые.

Посмотришь в её сторону от нашей околицы и не подумаешь, что там, в лесной глухи, прячется крохотная деревушка, в которой родилась и жила моя бабушка Анна. Может, потому она и отпускает меня туда.

Скоро на лошади заедет к нам Анфиса, Вовкина мать, и заберёт меня с собой. Бабушка ей доверяет. Она уже мне и одежду подготовила, и колобков для брата напекла, а я подобрал из своих запасов несколько деревянных колодок для валенок.

Январский день клонится к обеду. Сижу у окошка и с нетерпением жду, когда к крыльцу подвернет лошадь с санями. В доме тихо. Дед в бане бьёт шерсть, а бабушка в кути ушиивает рукав дедовой фланелевой рубашки, вытертой на локте.

Из окна нашего дома видна вся деревенская улица до крыши Колькиной избы. Под горой только избушка Голубковых и Каюровской дом. Уже час гляжу на неё, а кроме Семичихи, просеменившей с ведрами на пруд, никто не появлялся. Всё бы хорошо и не о чём бы беспокоиться, но с утра закружились

под окном растрёпанные хлопья, а к полудню подул ветер, и по укатанной полозьями дороге заскользил, прия в движение, верховой пухистый снег.

Чего доброго, разыграется к вечеру метель, и бабушка побоится отпускать меня из дома в такую погоду. Уж поскорей бы приехала Анфиса. Не успел я подумать о ней, как из-под горы у Колькиной избы показалась лошадь. Хорошо бы Анфисина, а не дяди Толи Осипова или еще кого. У меня даже сердечко от волнения забилось.

— Бабушка, — кричу, — посмотри, чья лошадь?

— Анфиска-ка это, — говорит бабушка, — вон и платок её — клетчатый. Не передумал ехать-то?

— Нет, не передумал.

— Тогда одевайся...

Через полчаса я уже усаживаюсь в сани. Бабушка расстилает в них солому, на неё бросает ватное лоскутное одеяло и укрывает меня до подбородка. Снег уже пуржит, и будто нарочно нахлестывает по лицу и застит глаза колючей снежной крошкой.

Бабушка вышла налегке в одном полуашке. Чувствую по глазам, она уже не рада, что и согласилась отпустить. Стоит растерянная, смотрит на меня и чуть не плачет, но я уже сижу в санях и до Шелков из них не вылезу.

— Ну, с Богом, — говорит бабушка. — Поезжайте, пока светло. Вовульк, смотри, слушайся там, не безобразничай.

— Ну, ладно, Егоровна, поехали мы, пока не перемело, — успокаивает Анфиса, причмокивает и натягивает поводья.

— Чай, не дальний свет. Вовка мой, поди-ка, все уж глазоньки проглядел. — Но, родимая!

Сани передернулись, да так неловко, будто вот-вот развалятся. На оглоблях у полоза заскрипели завёртки из сырости, железно звякнул на хребте черессадельник, и по тугим бокам лошади часто захлопали понукающие вожжи.

Слава Богу, мы, наконец, тронулись в путь. Я вдыхаю полной грудью снежный воздух, так, что у меня першил от него в горле, и прячу нос в холодное одеяло. Передо мной в санях стоит на коленках Анфиса, подсунув под них старую овечью шубу, и жмуируется от хлесткой заувийной пурги. Из-под клетчатого платка, надвинутого на лоб, у Анфисы видны только слезящиеся щелки глаз с ресницами, запыленными снежной мучкой, такие



же серые, как и небо, заостренный нос со складкой на кончике, да синюшная верхняя губа с редкими черными волосинками.

Анфиса время от времени заговаривает, но не со мной, а с лошадью:

— Но, милая, пошевеливайся...

Лошадь, кажется, идет по зимнику со своей конской думой, на ходу похрапывает и никак не реагирует на голос возницы. Я сижу спиной к ней и не вижу, где мы едем. Угадываю дорогу по столбам и перелескам, да еще по деревне, которая медленно растворяется в серых сумерках короткого зимнего дня.

Вот уж и домов не видно, и перед глазами остается сплошное белое поле. Бескрайнее, но не безмолвное, оно сливаются с низким небом и не вдали, а сразу за лениво ползущими санями. За спиной Анфисы пурга пылит и выижится белесыми клубами и быстро оседает мелким крошевом на солому, на мое одеяло и на взбитую копытами дорогу, местами уже сильно переметенную. Я завороженно смотрю на эту метельную круговерт и чувствую себя в ней рядом с Анфисой спокойно и даже радостно. В эти минуты я живу сладким ожиданием жарко натопленной избы и встречи с моим братом, с которым сегодня мы будем играть в лодыжки целый вечер.

В Шелки мы въехали, когда уже совсем стемнело. Лошадь оживилась и зафыркала, почуяв жильё и запахи дымков. Она и без понукания знает, куда править и у какого крыльца остановиться. Только к Вовкиному дому и пробита в снегу санная дорога, потому что на всю деревню всего одна лошадь, а к остальным избам ведут робкие и зыбкие тропки, утыканные по краям частыми вешками.

Шелки и на деревню-то не похожи. В Попове хоть два порядка есть, а здесь ни одного. Избы разбросаны по холму, где попало, у каждой под окном своя на полнеба береза или вековая в два обхвата осина. Одна изба смотрит окнами на восток, другая на юг, а третья вообще стоит к лесу передом, а к центру деревни задом. Да есть и такие вот бесстыжие избы!

Я всё думаю: неужели и хозяева здешние такие же нелюдимые, как дома, каждый живёт наособицу и без надобности словом с соседом не перекинется? Как же бабушка-то моя здесь жила?

— Тпру, — натягивает вожжи Анфиса, и на губах её пузырится слюна. Лошадь останавливается. — Ну, вот, гость дорогой, и прибыли...



---

Я откидываю одеяло, пытаюсь встать, но чувствую, правая нога у меня одрябла и плохо слушается, будто под коленком истыкана калёными иголками. Это я отлежал её в санях.

Оглядываюсь, пряча лицо от секущего ветра, узнаю накренившееся чуть набок крыльцо. В окошке слабо, как тень от печного огня, пропадает тихий свет зажженной лампы, а над ним свисает с крыши сугроб, похожий на толстую оттопыренную губу. Изба у Румянцевых под самые окна заложена соломой и засыпана снегом. В заулке пахнет вкусным дымом. Здесь для меня вообще всё вкусно и желанно, не так, как дома.

На мосту стукнул засов, капризно скрипнули петли на дверях, и вот уже из легкой в одну доску калитки выбежал Вовка — в шапке и пальто нараспашку.

— Здорово, — радостно, но неловко сует мне руку, а я, ставив варежку, ловлю в темноте его мокрую почему-то ладошку и помужицки крепко сжимаю.

— Здорово! — сдержанно отвечаю и опускаю глаза на заметенную тропу, чтобы он не увидел вдруг на лице моём счастливую улыбку.

— А я с утра жду, — говорит он и, не выпуская руку, тянет меня из всех сил в избу. — Думал, не приедешь...

## 2.

Мне и самому еще не верится, что я в Шелках, но, чувствуя Вовкину горячую ладонь, иду за ним на ощупь, выставив вперёд свободную руку, чтобы в темноте на шатких ступенях чужого крыльца и на мосту на что-нибудь невзначай не наткнуться и не упасть.

Но вот взвизгнула дверь, и мы шумно вваливаемся в избу. В ней, не как у нас, прихожей нет, а комната начинается от порога. В избе стоит дух вареной брюквы, кислой капусты и затхлой прудовой воды.

У порога я раздеваюсь, а Вовка мне помогает: варежки сует в гарнушку, валенки ставит на печку, а пальто вешает на гвоздь в косяке. Вовка ростом чуть ниже меня, но не рохля, а сбит, говорит бабушка, крепко, будто из хорошей глины, а для прочности еще и обожжен, как в печке. Он редко болеет, а ходит и зимой без шарфа с открытой шеей. У него всегда слипшиеся волосы, даже после бани. Их расчесывай, не расчесывай,



они топорщатся ёршиком на затылке и, как сальный козырек, торчат, не касаясь лба. У Вовки синие глаза темной васильковой окраски, а бровей почти нет. На загорелой щеке, где играет ямка, белеет шрам, будто прилипшая соломинка. Вовка умеет шевелить ушами и легко подтягивается на турнике.

У него есть младший брат Колька, но он сейчас лежит в больнице. За ним ухаживает отец. У Кольки от рождения заячья губа. Я, правда, не знаю, что это за болезнь, но слышал от бабушки, что ему недавно сделали операцию. И вроде как удачно. Хорошо, если так. Жалко парня, хоть я его ни разу не видел.

— Будешь играть, — предлагает Вовка, закинув на печку и свои черные валенки. Не такие, как у меня, они у него без заворотов. Вовка старается во всем угодить мне и расхваливает свои лодыжки. — У меня теперь их целый мешок...

— Буду, — киваю ему, и судорожно вспоминаю, как же мы в прошлый раз до полуночи играли в них. У нас с Колькой Осиповым лодыжки не в ходу, хотя по осени, когда кололи овец, мне бабушка, выбирая мясо для студня, намыла их целую коробку из-под ботинок.

Вовка сбежал в спальню и на руках вынес черный тряпичный мешок, завязанный белым шнурком.

Как и год назад, мы садимся на крашеный пол, и Колька высыпает на пыльный половик гремучие лодыжки.

— Помнишь, как играть-то? — на всякий случай уточняет Колька и снисходительно улыбается. — Или забыл?

— Если честно, подзабыл, — не скрываю я.

— Ну, ладно, запоминай. — Колька выбирает из рассыпанной кучи две лодыжки, которые покрупней и почище. Одну кладет на свою ладошку и начинает поворачивать с боку на бок, другую отдаёт мне, чтобы я делал то же самое. — Видишь, эта сторона косточки, как ухо с мочкой. Это «горка». Вспомнил? А на обратной стороне — ухо уже вглубь вдавлено. Пощупай. Это «ямка».

Колька шмыгает носом, а рукавом рубашки вытирает его. Потом продолжает:

— А это у лодыжки бока. Сторона, где выемка, называется «сак». А где нет её, — там «бык». Теперь берем по четыре лодыжки. Бросаем их на пол, но по очереди. Бросай первый, а потом — я.



---

Анфиса гремит у печки чугунами, бегает с вёдрами на двор, а мы сидим на полу и колдаем над лодыжками. До нас Вовкиной маме не было, кажется, никакого дела. Один раз только она, на ходу бросив взгляд в нашу сторону, уже из кухни крикнула:

— Вовка, не дует на полу-то?

— Нет, не дует, — раздраженно откричался Вовка и спокойно, подвернув под себя босые ноги, продолжил мое обучение.

— Ну, бросай. Если будут две «горки» и две «ямки», тогда ты выиграешь, а если нет...

Я трясу лодыжки в сложенных корабликом ладошках и раскрываю их над полом. Лодыжки, стукаясь о некрашеные половицы, разлетаются в разные стороны.

— Теперь смотри, что у тебя выпало. — У Вовки в глазах вспыхнула хитринка, и он в предвкушении потирает сухие ладошки. Я знаю, что сейчас он будет наказывать меня. — Видишь, каждая косточка легла на свой манер. За эту «горку» тебе полагается «ляп». — Вовка хлопает меня по лбу ладошкой.

Потом он берет с пола вторую лодыжку, упавшую углублением вверх. За «ямку» Вовка дергает меня за волосы. За «быка» получаю легкий хлопок по голове. За «сака» Вовка больно завертывает моё ухо.

— Вспомнил? — Вовка смотрит на меня исподлобья, а на узеньких губах его дергается насмешливая улыбка.

— Сам-то бросай, твоя очередь, — поторапливаю его и тоже подгибаю под себя ноги, чтобы удобнее было играть.

Он не торопится. Подносит сложенные ладошки к губам, что-то загадочно шепчет над ними, будто заговаривая их волшебными словами, потом три раза шумно встряхивает, поднимает кверху и не бросает лодыжки, как я, а торжественно высypает их из пригоршней. Лодыжки уже не стукаются, как у меня, а щелкают и, разлетаясь, отскакивают от пола и долго катятся по звонким половицам.

У него, как я и предчувствовал, лодыжки легли «чисто» — две «горки» и две «ямки». Он и на этот раз торжествовал победу. Вовка играет азартно и у него, как у хорошего игрока, всё получается ловко и красиво, не так, как у меня. Мне даже становится обидно за себя и я, грешным делом, думаю, отчего же я такой несчастливый и почему все меня обыгрывают.

Мы играем увлеченно, и всякий раз, когда я бросаю лодыжки, то надеюсь на чудо, что вот сейчас, с этой попытки они на



зависть Вовке непременно будут ложиться так, как надо, чтобы Вовка слишком-то не задавался и не держал нос кверху. Но нет, мои лодыжки, как заговоренные, снова падают вразнобой, и снова я получаю по лбу и по голове, и снова Вовка дергает меня за волосы и закручивает уже покрасневшее ухо.

Так продолжается весь вечер, хотя несколько раз и Вовка подставлял мне свою голову, но даже наказать его, как следует, у меня не получалось. Дергал я легонько, хлопал и шлепал невзначай, и даже ухо закручивал так, чтобы не причинить Вовке больно. В общем, игра мне на этот раз большого удовольствия не доставила, и я даже обрадовался, когда подошло время ужина...

### 3.

Управившись по хозяйству, Анфиса принесла с улицы дров, быстро наладила подтопок и стала накрывать на стол.

По избе заплавал зыбкий прозрачный дымок. В печурке, разгораясь, затрещала растопка. В открытую дверцу было видно, как злой и жадный огонёк властно скручивал бересту в горящий рожок. Черный дым нехотя струился жидкими нитями вокруг поленьев и густой лавой медленно утекал в глубь подтопка, отзываясь на глухое и гулкое завывание в печной трубе. Метель на улице не унималась.

Мы с Вовкой собираем в мешок лодыжки, бежим на кухню к умывальнику, ежимся и робко подставляем под ледяную воду сальные от лодыжек пальцы и ладошки. Потом устраиваемся за столом: я сажусь лицом к печке, а Вовка — к комоду. Мне попала та же табуретка, что и год назад, с дыркой от сучка, только она еще больше расшаталась, и потому я не кручусь на ней и не елозю, как Вовка на своей.

Дома я, признаюсь, редко жду ужин с таким нетерпением, как здесь. Я даже не знаю, что подадут на стол, но уже по запахам, сочившимся из кухни, предчувствую что-то необыкновенно вкусное.

Анфиса ставит на стол две кринки, только что вынутые из печки, и выливает из них в тарелку горячий творог с сывороткой. От него поднимается белесый пар. Творог здесь такой же, вроде, как и у нас, но вкуса не передаваемого, будто коровы в Шелках едят такую траву, какая у нас отродясь не росла ни в лугах, ни

в делянках. Я ем творог с редким для меня аппетитом и, не стесняясь, прошу добавки.

Анфиса приносит еще две кринки с запекшейся пенкой. Глядя на меня, и Вовка уплетает творог за обе щеки.

Потом пьём чай. У нас самовар серебряный, ведёрный, а у них самоварчик медный и пузатенький, но с какими-то выбитыми на боку медалями. Вода из краника течет рассыпчатая, а чай даже без песка сладкий.

— У нас вода-то медовая, пей, не хочу, — хвастается Анфиса, дует в блюдце и шумно из него отхлёбывает. Щеки её, иссеченные ветром, в тепле отходят и стыдливо розовеют, а глаза наливаются синью, в которой растворяется мутная сырья поволока.

— Матка-то давно не приезжала? — спрашивает меня.

— Давно, — говорю. — Но обещается приехать...

— А долго ли батьке-то учиться?

— Не знаю...

— Тебя-то с собой не берут?

— Зовут, — говорю, — да я не тороплюсь...

— Ну-ну, не едешь, значит...

— Пока не еду...

— Ну-ну...

Анфиса с удивлением и укоризной покачала головой и задумалась о чем-то своём. Мне показалось, что она обиделась на отца, который уехал в город и оставил сына, то есть меня, вроде как на произвол судьбы.

На столе стоит ваза с наколотым сахаром, в ней же и щипцы, припудренные сладкой пыльцой. Я кладу на язык белоснежный кусочек, прижимаю к нёбу и чувствую его острые края, потом отпиваю из чашки и держу теплый чай во рту, жду, когда сахар размокнет и превратится в тягучую кашицу.

А Вовка, поджав ладошкой щеку и облокотившись на краешек стола, другой рукой забрасывает в рот одну сахаринку за другой, лениво причмокивает язычком, но чай пьёт как-то вяло и скучно. Наверно, он привык и к жирному творогу, и к воде медовой и давно уже ничему не удивляется.

А мне в чужом доме всё интересно. Сижу за столом и оглядываю избу, будто попал в неё первый раз. Под голым, не оклеенным потолком висит на гвозде, вкоченном в закопченную матицу, керосиновая лампа. Стекло мутное,



---

захватанное пальцами, засижено мухами, видно, что давно не чищено. Её тусклый свет освещает квадратный стол, за которым мы молча самоварничаем. К столу прилипла зелёная клеёнка в крупную клетку, протёртая на углах до бахромы. Свет от лампы падает еще на простенок с круглым в ажурной оправе зеркалом над комодом. Все остальное жилое пространство погружено в сонные мерцающие сумерки.

В избе за год ничего не изменилось. Печка одним боком обогревает большую комнату, а другим с узкой лежанкой – тесную спальню за синей перегородкой. Там мы с Вовкой будем спать на железной кровати, у которой на спинках блестящие дужки. До сих пор помню её жесткие и скрипучие пружины.

После ужина мы возвращаемся к игре, а Вовкина мать брякает на кухне посудой и укладывает в печку дрова. Как хорошо в гостях: никто на тебя не прикрикивает, и спать в кровать не загоняет. Мы забираемся под холодное одеяло сами, когда у нас помимо воли начинают закрываться глаза, а рот сводит зевота. Анфиса укрывает нас сверху еще овечьей шубой, и через минуту под одеялом становится тепло и уютно. Мы лягаем друг друга и хихикаем, а потом незаметно утихаем. Вовка засыпает раньше меня и нудно сопит через одну ноздрю, а в другой у него изредка пузырится воздух.

В чужом доме и звукиочные совсем другие. Вот и сейчас я затаенно слушаю, как на подволоке кто-то перебирает шуршащие берёзовые веники. Слышу, как под окном метель ворошит открывшуюся из-под жердей солому и сыплет внахлест жестким снегом по звенящим стеклам. Шумно и надрывно вздыхает на крыше печная труба, временами захлебывается от ветра и срывается на дрожащий хрип. Не слышу только, как шелестят мыши за обоями, потому что изба у Вовки не оклеена.

#### 4.

Лежу с открытыми глазами и смотрю в потолок, который навис над кроватью и так низко, что протяну руку и упрусь пальцами в его щелястую тесину. А на крышу, кроме снега, давит, кажется, и сама Вселенная, под тяжестью которой натужно потрескивают стропила нашего крохотного дома, занесенного по самые окна посреди огромной земли.



---

И никто не знает, кроме деда и бабушки, что сегодня под его крышей лежу на пуховой подушке я, гостяющий в Шелках у троюродного брата, и смотрю в потолок, нависший над кроватью с блестящими дужками.

Смотрю в темноту, из которой вдруг так ярко до рези в глазах проступает залитая лунным светом зимняя деревня. Стою посреди её на звонкой тропке и любуюсь, как из печных труб поднимаются в морозное небо вечерние дымки затопленных в избах печек, буржуек и подтопков.

Дымки клубятся, путаются, курчавятся и попыхивают почти над каждой крышей чужой мне деревни. Вдыхаю их запахи и по дыму угадываю, какой характер у разгорающихся печек.

Вот в этой, например, избе, что стоит слева от Вовкиного дома, характер у печки, судя по всему, буйный. Разноцветный дым, как угорелый, вырывается из черной трубы и раздраженно окуривает корявые ветки тополя, цепляется за них и никак не хочет отлететь в небо, чтобы бесследно в нём раствориться.

А в избе, что стоит справа и задом к нашему дому, печка ленивая. Дым, почти бесцветный, нехотя, будто пугаясь холода, выползает из зябкой трубы, бесшумно тонкими волокнами растекается по крыше и пепельной сажей оседает на кристально чистый снег, наметенный с вечера.

А за прудом, под широкой кроной корявого тополя стоит крепкая изба со светелкой под крышей. У неё и окна в наличниках, и свет в окошках праздничный, и дым над трубой – щедрый. Дым валит валом и труба захлёбывается, как будто от кашля. Дыму тесно в трубе, и он прёт на волю не только через трубу, но и сквозь узкие щели с отколившейся между кирпичами глиняной замазкой.

На краю деревни накренилась вперёд побитая сучковатой осپой убогонькая избенка с двумя окнами по лицу. И какой же должно быть злой в ней топится подтопок, если дым из узкой железной трубы, в один слой обмазанной желтой глиной, сквозит в бездонное небо с летучими искрами и тут же растворяется в прозрачном воздухе, не оставляя никакого следа.

И какой же спокойный дым над трубой дома, прикрытою кисейными ветками столетней березы. Дым, не спеша, поднимается до самой верхушки березы, на темном фоне звёздного неба распускается как белый парашют и мирно зависает над крышей, залитой светом разгулявшегося месяца.



---

Стою посреди деревни, наблюдаю за печными дымками и думаю, что характер печек идет, наверно, от характера хозяев, которых я, кроме Анфисы, в Шелках никого пока не знаю...

## 5.

Утром проснулся от тишины. Проснулся и не сразу понял, где я, пока не увидел голый потолок, испещренный глубокими трещинами. Какой же длинной и светлой была у меня эта ночь в чужой деревне! В носу щекотал терпкий запах дыма, как будто всю ночь я просидел у дымящего подтопка.

Потрогал уши и лоб и вспомнил вчерашнюю игру в лодыжки. Рядом лежал Вовка с открытым ртом – ночью у него заложило и вторую ноздрю, но и такое неудобство спать ему никак не мешало.

Я замер, чтобы не разбудить его, и стал тупо рассматривать синие доски на перегородке, плохо проструганные вокруг косоглазых сучков с древесными заусеницами и налипшей на них краской. Разглядывал шершавый бок белёной печки с желтыми разводами и облупленным углом над лежанкой, заваленной ношеными пальтишками, фуфайками и ватными штанами.

Я осторожно, чтобы не потревожить Вовку, переворачиваюсь на живот и смотрю в запотевшие стекла бессонного окна, исполосованные созревшими до свечения каплями наступившей оттепели.

За окном я ничего не увидел, кроме снега и оттаявших веток, еще не облетевшей до конца сирени с зелеными, свернувшимися на морозе, листьями. А в узком простенке, стиснутом безжизненными окнами, меня вдруг заворожила картина в самодельной рамке.

Год назад её здесь не было.

Я снова ложусь на спину и опять смотрю в потолок, но уже ничего на нём не вижу.

У Вовки, слышу, забурлила с выхлопами левая, ближняя ко мне, ноздря, и он, почувствовав неожиданное облегченье, часто запричмокивал уставшим от немоты ртом и задышал вдруг так легко и весело, как будто бы только что и надолго уснул.

Опять переворачиваюсь на живот и снова смотрю на картину в простенке между окнами. Было в ней что-то такое,

что меня завораживало, и что-то еще, чего я пока понять не мог, но чувствовал, как будто сам что-то подобное однажды уже пережил.

Картина висит в узорной рамке, похожей на окно в наличниках, а на картине бежит от грозы девочка с братцем на закорках, бежит из леса по некошеному лугу, а над ней небо наливается синью и под ногами трава стелется по земле.

Я будто слышу, как у девочки стучит сердечко, и как на бегу хлопает ей по животу подвернутый подол с грибами, набранными с утра и, наверно, еще в солнечном лесу.

Смотрю на неё, летнюю, а представляю, как сам пробиваюсь сквозь мятежную мглу на мелькнувший огонёк затерянной в лесу деревни. И нет со мной в санях Анфисы, и лошадь моя, отбившаяся от рук, давно сбилась с пути и увязла в поле по брюхо, на котором тает, хвативший жару, снег.

Я знаю, что и мне в завьюженном поле не от кого ждать помощи и рассчитывать могу я только на самого себя.

Я не знаю, далеко ли до дома?

Но так хочется поскорей под его крышу, чтобы уткнуться в колени деда и почувствовать на голове тяжелые его ладони. Так бы вот и стоял под ними, и слушал бы, как завывает в трубе ветер, как на улице беснуется слепая метель, и уже вдогонку, упустившая меня из своего плена, со злостью набрасывается на окна и до звона сечет их ледяной кroupой.

В такие-то минуты и вспоминаю я слова деда о вечности, космосе и природе. Прикладываю к теплой печке ладошки, закрываю глаза и, вспомнив за спиной у Анфисы снежное облако, понимаю, как же уязвим я и насколько беззащитен перед этим самым космосом. Я, как и дед, снимаю шапку перед необоримой силой природы и молю Бога о величайшей милости её.

Какое счастье жить в центре земли в границах вечного горизонта – близкого за сумароковским холмом и далёкого за шелковским тёмным лесом...

Не прошло еще и суток, как Анфиса увезла меня из Попова, а я уже затосковал по дому. Лежу в кровати, а сам уже мечтаю, как укроюсь в санях лоскутным одеялом, как запричмокивает губами Анфиса, как заплещутся вожжи на тугих боках сътой лошади и запоют подо мной весёлые полозья, легко скользя по хрустальной целине осевшего в оттепель снега...



## ПЕЧКА

### 1.

Вчера с Колькой лизали и хрупали у амбара сосульки! Утром бабушка потрогала мой лоб.

— Догулялся, зимогор, — она озабоченно качает головой, достаёт из шкапа градусник, встряхивает его, и сүёт мне под мышку. — Всю ночь прокашлял. Добегался...

Делать нечего, поворачиваюсь на бок и смотрю, как бабушка управляетя с хозяйством. В печке потрескивают дрова и слышно, как ломится в ней голодное пламя. Отблески его беспокойно бьются на оконном стекле, шевелятся на шершавых боках черных чугунов, плещутся в ведрах и расцвечивают бабушкины щеки.

Я люблю, когда топится печка. Лежу с закрытыми глазами и слушаю звуки наступающего утра: вот в руках у бабушки зашелестела веселая луковица, потом стрельнула от полена и упала на пол отщепленная ножом лучина, вот ошпарил ведро вылитый из чугуна бурлящий кипяток, а следом брякнул о тару алюминиевый ковшик и захлебнулся в ней.

Я слышу из кухни и знакомые запахи: до чёса в носу щекочет вкусный, но терпкий печной дымок с горькой приправой, обволакивает парной до тошноты дух намятои для коровы картошки, пощипывает глаза едва уловимый парок ядреного лука, вяжет горло и вызывает слону затхлая стылость прудовой воды.

— Спишь? — Открываю глаза и вижу склонившуюся надо мной бабушку.

Она обмахивает о подол ладони, достаёт градусник и уносит его на свет к печке.

— Батюшки мои, — изумляется она. — Почти тридцать девять. Отгулял, мил человек, ой, отгулял. Небось, опять снегу наелся. Вот и сиди теперь дома, раз баушку не слушаешь. Матка приедет, нажалуюсь.

Я понял, что дела мои плохи. Интересно, как там Колька? Может, и он лежит с температурой. Вряд ли. Колька крепче меня и болеет редко. Это он вчера меня подговаривал: слабо, говорит, от сосульки откусить. А как я могу ему уступить, не могу я в чем-то слабее его показаться. И вот результат...

В трубе завывает ветер. Снежная крупка хлестко осыпает стекла и шуршит под окошком соломой, приваленной к стене еще с осени. Хорошо, хоть погода испортилась, а то бы совсем было обидно.

— Баб, можно я заберусь на печку.

— Полезай, — разрешает бабушка, не отрываясь от дел, но, спохватившись, на всякий случай высовывается из-за цветной шторки и строгим голосом добавляет: — Только оденься.

От кровати до печки и всего-то два коротких прыжка, но на этот раз я не ослушался бабушку и не побежал по ледяному полу босиком. Надеваю на кровати штаны с начёсом и с матраца привычно съезжаю прямо в валенки, стоящие у табуретки. Только вот съезжаю не совсем удачно, прихватываю ногой подзор в голенище и, запутавшись в нём, падаю на пол.

— Батьк, ты? — окликает из кухни бабушка, поджидая деда из бани, и по привычке выглядывает из-за переборки.

Видит меня на полу, всплескивает руками и с криком бросается ко мне:

— Ангел мой! — испуганно причитает она, подхватывает под руки и помогает мне подняться с пола. — Как же тебя угораздило? Не ушибся?

Я отряхиваю коленки от прилипшего сора и виновато качаю головой. Бабушка доводит меня до лесенки, приткнутой с боку у печки, и, пока я лезу по ней, она, распустив, как крылья, широкие рукава фланелевого платья, держит у меня за спиной свои ладони.

— Полежи, духонька моя, погрейся.

Я заталкиваю в угол валенки и пальтушки, и осторожно ложусь спиной на голые кирпичи, отполированные до блеска. Лежу и слушаю, как подо мной в печи весело воркует на березовых поленьях ненасытное пламя и как жадно вылизывает оно низкий прокопченный свод печки. Его тусклый свет, отраженный от оконных стекол, чуть оживает на тугих связках лука с распущенной золотистой шелухой и скрадываеточные сумерки.



---

На полатях стоит припудренное мучкой деревянное корыто, в котором бабушка месит тесто, и лежат парами в ожидании своих хозяев защищенные пемзой серые, черные и белые валенки.

Я чувствую лопатками, как печной жар набирает силу, и кирпичи, пока еще терпимо, но уже пробирают кожу до горячего болезненного озноба. На всякий случай подворачиваю под себя дедушкину фуфайку. Лежу и гляжу в потолок. Пожелтевшие обои будто забрызганы грязью – это следы от убитых хлопушкой мух...

## 2.

Печка напоминает мне домашнее животное. И точно, если смотреть от окна, то её устье, как большой рот, прикрытый заслонкой, а шесток, как оттопыренная нижняя губа. Передние гарнушки – это задумчивые и спокойные глаза с белыми в крапинку берестяными зрачками. Бабушка в них хранит бересту для растопки. Даже выпуклые карнизы над шестком, где лежат коробки со спичками, и те похожи на толстые складки широкого лба, а белые с желтизной щеки испещрены в мелкую сетку тонкими морщинками цвета сухой рассыпчатой глины. Наша печка в годах, не вчера сложена, потому и растрескалась на ней вся побелка.

У неё и задвижка, что из трубы торчит, пока головешки не прогорят, напоминает высунутый шершавый язык, весь испачканный черной мякотью от ягод черемухи, превратившейся на жаре в песочную крошку. Спина у печки крепкая и широкая, как у сильного мерина. Нас, мальчишек, на неё много можно усадить. И дым над крышей, как пар на морозе, от её живого дыхания.

Я видел и крепкие её ноги, когда спускался в голбец за картошкой. Зимой они мохнатые, как у коня-тяжеловоза, и окинуты серебряной морозью.

Печка – доброе существо. Тёплое и щедрое. Любит, когда возле неё с утра до вечера хлопочет бабушка. Любит, когда я на неё залезаю и, ерзая по голым кирпичам, почесываю её разгоряченную спину. Она понимает, что вся наша жизнь вершится вокруг неё, и потому держится в избе с достоинством и требует к себе уважения и постоянного внимания.

Вот и сейчас лежу я на кирпичах и ощущаю, как их каленый жар прогревает мои озябшие косточки. Чувствую, как, растекаясь по телу, вязко и приятно обволакивает меня с головы до ног теплое целебное облако. И вот уже слышу, печка подо мной вдруг начинает шевелиться и тяжело, враскачу, сдвигаться с насиженного места.

Я привстаю, обхватываю руками гудящую трубу, прижимаясь щекой к её колкой щетинке, и вижу, как изба над головой раскалывается подобно куриному яйцу, и печка, как цыплёнок, шурша скорлупой, выбирается на волю и плавно поднимается над угловатой изгородью не зимнего, а весеннего в цвету сада.

Она быстро набирает высоту, а я сижу на ней и мне почему-то совсем не страшно. Я только крепче держусь за гулкую трубу и чувствую её горячее с хрипотцой дыхание.

И вот уже мы парим над зеленым холмом. Вокруг плавают белесые и почти прозрачные облака, похожие на невесомые парашюты, взлетевшие с земли от рассеянного ветром одуванчика. Я давно мечтал увидеть наш холм с высоты птичьего полёта и полюбоваться сверху нашей окружной. Думали я, что однажды поднимусь в небо на родной печке и буду трогать рукой шерстяные облака.

Гляжу вниз и вижу, как толстозадые избы, будто коровы в знойный полдень, уткнулись коньками и окнами в спасительную прохладу густых деревьев. Нахожу дом Осиповых и вижу у крыльца босоногого Кольку. Он задрал вверх наголо остриженную голову и, прикрывшись ладонью, с удивлением следит за моим полетом над деревней.

— Эгей! — кричу ему из поднебесья. — Я — Жар-птица! Лечу за молодильными яблоками для моей бабушки.

Колька тоже мне что-то кричит в ответ, сложив у рта корабликом руки, а потом отчаянно машет, но я ничего не слышу. Наверное, просится на небо, он даже подпрыгивает, но никак не может взлететь.

— Так тебе и надо, — смеюсь над ним и, дразня, показываю язык. — Сосульки так на пару лизать, а болеть так мне одному. Нет уж, сиди сам дома, сторожи куриц и поливай на огороде грядки, а я буду летать, пока не выздоровею, и кружиться над землей на чудо-печке.

Ему и не представить, какая она сверху красивая — наша деревня.



Она похожа на сказочную птицу с широкими полями-крыльями. И вот на моих глазах, будто желая удивить меня и порадовать, крылья меняют цвет, как в моём калейдоскопе. Вот они белые с синеватым отливом и золотистыми блёстками, такими они бывают зимой, а вот уже изумрудные, прошитые дружными всходами сочной озими. Такими они бывают ранней весной. Летом, обласканные теплом и окропленные обильными росами, крылья наливаются густой зеленью, и ветер гонит по ним шелковые волны, а к осени они выгорают на солнце до цвета спелой ржи.

— Вот она какая! — снова кричу Кольке, выглядывая из-за края печки. — Ты деревню такой никогда не видел!

Да и сам я вижу её такой в первый раз! Вокруг неё стоят приземистые холмы с гнездовьями сел и деревень, деревушек и хуторов, их разделяют низины с заливными лугами и светлыми речками, прикрытыми зарослями ольшаника и кустами бредины.

Мне так хочется подлететь к горизонту и заглянуть за край леса. Печка угадывает мое желание, и мы с ней направляемся в сторону Ивашева, куда я часто смотрю с нашего холма, когда вечером садится солнце, и на небе разыгрывается буйство искрящих красок предзакатной огненной лавы. Вот и сейчас над лесом пышет жаром малиновое зарево, слепит глаза, и нет никакой возможности приблизиться к темному лесу, за которым скрывается неведомая мне сказочная страна.

Скользжу взглядом по линии горизонта и, насколько хватает глаз, вижу по краю неба лишь зубчатую бордюрную ленту темного леса. Мы летим рядом, но нигде нет выхода за пределы очерченного круга. Неужели так никогда и не смогу я прорваться за линию горизонта? Туда, где скрыта от глаз людских сказочная страна Беловодье. О ней мне рассказывал дед. Он говорит, что есть на свете такая земля, где живут самые счастливые люди, самые добрые и щедрые, живут, как в райском саду, потому что они безгрешны. Но только дойти до неё не каждому под силу. До неё может добраться только человек с чистой душой и светлыми мыслями. Других она к себе и близко не подпускает.

А ещё дед говорит, что придёт время, когда земля эта и меня тоже будет неодолимо манить к себе, потому что у каждого человека в сердце открывается однажды великая тоска по ней, земле легендарных наших предков, тех, кто жил на ней



---

до нас, даже задолго до деда с бабушкой. Пока, конечно, я по ней никакой тоски не испытываю, но было бы хорошо, если она вдруг открылась бы мне с высоты птичьего полёта. Нет, не открывается. Может, потому и не могу я пока заглянуть за горизонт, что время моё для встречи с лучезарными жителями Беловодья ещё не наступило. Дед не зря говорит, что в жизни всему своё время.

А вот ведь парю я над землёй, парю, и ветерок обдувает мой горячий лоб. Подо мной петляют выцветшие тропки и полотна рваных проселков, сиятся подняться в небо потухшие купола бело-красных церквей, сверкают, как стекляшки в траве, придорожные лужи и деревенские пруды, темнеют на пестрых склонах холмов зарубцевавшиеся овраги.

А вот и сумароковский монастырь, куда меня по осени водил дед. Только он не такой облезлый и грязный, каким я увидел его на земле, без куполов и с берёзами на крыше, теперь он похож на тот, о котором мне рассказывала бабушка. По холму его опоясывает ограда из красного кирпича, на углах стоят башни с крестами, а посередине, как дуги, украшенные каменной резьбой, врезаны в ограду широкие кованые ворота. На соборе отливают солнечным светом коричневые купола. Дорожки вокруг него выложены белой плиткой, а по обе стороны их цветут кусты белых роз. По дорожкам снуют монашки в черных платьях, кланяются друг другу и крестятся на собор. Над цветочными клумбами порхают желтые бабочки, по всему селу пахнет в воздухе вкусным хлебом.

Я даже слышу, как на кладбищенской церкви звенят веселые колокола, и вижу, как из окрестных деревень по дорогам и тропкам стекается к Сумарокову на праздничную службу молчаливый народ. Столько людей я никогда не видел. Неужели наша сторона была прежде такой людной?

Поднимаюсь всё выше и выше и всё ближе и ближе к солнцу, и чувствую, как оно начинает припекать голову, да так, что и жар его терпеть уже невыносимо. И вдруг огромная влажная тень неожиданно накрыла меня, хотя на небе не было ни одной тучки, и даже редкие облака и те давно растворились в небесной сини. Тень, как черное крыло, скользнуло по холму и разом смахнуло с него красивое виденье действующего монастыря.

Поднимаю голову и вижу, как надо мной распростёр крылья черный ворон, тот самый, которого мы с Колькой один раз уже



видели летящим от овина в сторону Исаковского холма. Да, это был тот самый ворон. Я узнал его по стеклянным глазам. В них и сейчас роились и плескались бесшумные молнии. Я подумал, что его появление рядом со мной ничего хорошего не сулит.

Пролетаю над Чубыкиным и вижу, как из единственного дома, скрывшегося под кроной старой липы, крадучись и воровато озираясь, убегает к речке незнакомый человек. Я знаю, только что на дворе он убил из ружья бабку Анну. Кроме меня, его никто не видит. Теперь я могу наблюдать за ним сверху и проследить, где он спрячется, чтобы потом сообщить о нем милиционеру Володе Загвоздкину. Тогда его быстро поймают и посадят в тюрьму. А по осени сколько мы страху натерпелись с Колькой, пока милиция искала убийцу. Он мерещился нам за каждым кустом и в каждом овраге.

Теперь же он от меня не скроется. Но где же он? Я теряю его из виду, а там где он только что бежал – уже вырастает стог сена Коли Михайлова, а к нему подкрадывается другой мужик, а может, тот же – не различаю, чиркает одну спичку, другую и поджигает его. Да, это тот самый стог, о котором говорил деду Коля Михайлов. Его действительно кто-то поджигает, но я не могу узнать, кто – слишком высоко. Стог вспыхивает и горит ярко, освещая всю делянку, я даже чувствую, как пахнет дымом. Но от горящего стога мне не жарко, наоборот – я чувствую, как меня начинает колотить озноб, и липкий пот заливает мои глаза.

Я прижимаюсь к трубе ещё крепче и разворачиваю печку к поповскому холму. А вот и наш дом. Он так и стоит, расколотый пополам, и ждет моего возвращения. И вдруг тень исчезает, так же неожиданно, как и появилась, и ослепительное солнце светлой болью снова бьёт по моим глазам.

Оборачиваюсь и вижу, как за спиной у меня вихрятся перья черного ворона, а сам он из последних сил взял курс к деревенскому овину. А по соседству со мной уже парит грозный ястреб с окровавленным клювом. Это он потрепал ворона и спровадил его восвояси.

Я зорко, как он, оглядываю дворы и заулки у знакомых мне изб. Вон они, глупые и беззаботные курицы, бродят без присмотра у нашего крыльца и не видят нависшую над ними хищную птицу.



Где же бабушка? Я смотрю то на землю, то на ястреба. Вот он удаляется от меня, круто разворачивается и начинает медленно-медленно снижаться. Я не на шутку забеспокоился, зная, сколько цыплят и куриц забил ястреб в нашей деревне.

— Ба-бу-шка! — кричу я что есть силы, но чувствую, как печной жар сушит и связывает мои онемевшие губы...

— Вова! Вова! Что с тобой, — как будто издалека слышу встревоженный голос бабушки.

Я открываю глаза и, еще ничего не понимая, спрашиваю:

— А курицы где?

— Какие курицы? На-ко, выпей горячего молочка. — Бабушка подаёт зеленую чашку. — Или приснилось что?

Я встряхиваю головой и только после этого окончательно просыпаюсь.

В избе светло и жарко. Я весь в поту.

А за окном беснуется выuga и, как эхо, завывает ветер в трубе истопленной и уставшей печки...



## ПОЖАР

### 1.

Ночью, сбив к ногам одеяло, просыпаюсь от холода. Деда рядом нет. Открываю глаза и прислушиваюсь: за обоями шуршат мыши, а за окном, как лучина, потрескивает крещенский мороз.

На обоях дрожит и шевелится едва уловимый свет. Не такой, как от печки, когда она топится, а какой-то до ознона ледяной и нервный, будто его кто керосином из-за угла дразнит и подзадоривает. Даже ухваты, всегда капризные и недовольные, почему-то в углу не гремят и друг на друга, теснясь, не натыкаются. И чугуны, пузатые и тяжелые, воду не расплёскивают и по шестку не скрежещут, когда их бабушка задвигает в задний угол печки. Там самый жар! И даже ковш алюминиевый, мятый-перемятый, дед никак не может его выпрямить, о тару не гремит и не бренчит, будто его тряпкой обвязали.

В избе тишина — вкрадчивая и тревожная. Она будто под кожу мне затекает, а я, чувствуя её, и сам цепенею, как завороженный.

— Баб, — робко, боясь, что меня услышат, кличу бабушку, кличу и не узнаю своего голоса. — Баб, ты где?

Мне никто не откликается. Так не бывало, чтобы бабушка среди ночи промолчала и не откликнулась. Бабушка всегда рядом, без её разрешения в нашем доме даже мухи о стену не стукаются, и только, спасаясь от неё, они бросаются на маслянистую липучку, висящую над столом, и жужжат, не жалея крыльев, пока силы не оставят их.

А сейчас бабушки нет. Она не откликается, и не слышу я надо мной её родного дыханья и, как всегда, тревожного голоса. Слышу только, как на дворе глубоко и жалостливо вздыхает корова, а на печке с хрустом потягивается Муська.



Слышу, или показалось, как что-то упало в дальнем углу на подволоке, слышу, как внизу деревни суматошно, но не беспричинно лает Колькина Крошка. Так и представляю, как она рвётся и прыгает на палисад. Она начинает лаять, как только я о ней подумаю, или хотя бы сделаю шаг в сторону осиповского дома. А сейчас она лает взахлеб, и уж точно, не на меня. До меня далеко, и среди ночи я к другу Кольке не собираюсь. А Крошка лает и не может остановиться. Значит, случилось что-то недобroe...

## 2.

Свет, шевелясь на стене, шуршит на пыльных обоях. Он струится по черному с белыми оленями ковру, медленно поднимается к потолку и превращается в кипящие густые сумерки.

— Баб! — зову я и, облокотясь на обманчивую пружину матраца, приподнимаю над подушкой голову. Пружины предательски скрипят, а я, застыв, оглядываю с опаской онемевшую избу.

— Господи, прости и сохрани, — шепчу и не понимаю, что происходит. — Бабушка, — шепчу и вглядываюсь в серую тьму.

Гляжу в окно и вздрагиваю: на запотевших стеклах нервно, как слепая бабочка, бьётся свет от какого-то яркого среди ночи небесного зарева.

— Господи, — шепчу я, — помоги и не оставь.

Шепчу так, как бабушка, когда ей плохо и тревожно. И крещусь, кидая пальцы с одного плеча на другое.

Я весь напрягаюсь и, онемев, замираю. Мне страшно. Почему же никого нет рядом? Где бабушка? Я смотрю на печку, где она спит, вижу сгорбленные фуфайки, но нет под ней бабушки. Она бы пошевелилась и не раз уже одёрнула бы на своём боку съехавший рукав или полу фуфайки с карманом. Нет, такого быть не может. Бабушка меня никогда бы не оставила одного. Но ведь её нет за шторкой, пёстрой, будто её разом облепила вся ожившая в нашем доме саранча, будь там — давно бы уже откликнулась, побежала и руки мои в своих ладошках, как в гнёздышке, спрятала и обогрела.

Я так и не могу понять, что происходит. Но чувствую, что в избе я один. Совсем один, и нет в ней ни бабушки, ни дедушки. И самое страшное, я не знаю, где они, куда делись и почему



вдруг бросили меня одного. Не знаю, когда и откуда они ко мне вернутся. И вернутся ли? А тишина в избе такая душная и потная, такая натуженная, такая липкая, что пристаёт ко мне, как банный лист, обволакивает до удушья, давит на грудь и на ушные перепонки. Я в этой тишине боюсь даже пошевелиться, чтобы в чём-нибудь не запачкаться.

— Господи, — уже не шепчу, а вскрикиваю, — помоги мне...

Я знаю, что они сейчас появятся, они всегда меня подстерегают, ждут, когда не будет рядом бабушки, чтобы досадить мне, обидеть и напугать. И вот они, будто из ничего, будто из воздуха, нарождаются вдруг перед моими глазами, фосфорные, светящиеся, ожидают, как мухи в тепле, и рыскают в опустевшей избе в поисках хлебных крошек, пробегают на четвереньках мимо кровати, лыбятся и беззубым ртом шамкают, носом гнусавым фыркают — бесстелесные такие, гибкие и сальные существа.

Они выскакивают из-за печки и, как живые, кривляясь и горбясь, на четвереньках прыгают передо мной у кровати. Они юркают в дверной проём, после чего шторки за ними долго и зябко шевелятся.

У них и лица такие, будто бы однажды я уже видел их, только они почему-то не улыбаются, а гримасничают. А гримасы у них злые, ехидные, пропущенные сквозь кривые зубы. Вижу их оскаленный рот и слышу мерзкое хихиканье, а потом ещё за сатиновыми шторками — и торжествующий смех, от которого меня озноб пробивает с головы до пяток, высыпая на коже ледяными, потными мурашками. Глаза у меня слезятся, нос не дышит и страх перехватывает горло. Я видел этих человечков и раньше, когда просыпался среди ночи. Но за спиной деда мне никогда не было страшно, а сейчас деда рядом нет...

— Господи, спаси меня и сохрани...

Я неумело крещусь, накидываю на себя одеяло и зарываюсь головой в подушку. И так, затаив дыхание, лежу минут пять. Под одеялом для верности крещусь еще раз и, перекрестившись, высовываю поверх одеяла голову. В избе затаилась острая тишина, а за окном трепетно, но бесшумно бьётся о стекло неземной свет в образе хрупкой небесной бабочки. Она пластиается, будто расстаётся с жизнью, и охлопывает синими ангельскими крыльшками занозистый переплет холодного запотевшего окошка.

Этот фосфорный свет слепит меня и тревожит. И вот уже, помимо воли, я соскальзываю с кровати на пол и подбегаю босиком, на цыпочках, к освещенному окошку, пододвигаю к нему стул, встаю коленками на ледяную фанерку и прижимаюсь горячим носом к слезящемуся стеклу.

— Господи, не оставь меня, — шепчу заученно, не вдумываясь в слова молитвы, и на стекле расцветает и гаснет мутное пятно от моего горячего дыхания. — Господи, что же это светится над Кольким домом, — вглядываюсь в ночную тьму, будто из-под земли подсвеченную. — Нет — не у дома этот свет, а ниже, там, где мы по весне жгём на пригорке чучело Масленицы. Да именно там стоит, искря и покачиваясь, зарево, невесть откуда и взявшееся среди январской ночи.

Я понял, что в деревне что-то случилось, то, о чем я пока ничего не знаю, и чего никогда в своей жизни еще не видел. Потому, наверно, и бабушки с дедом сейчас нет. Они ушли на зарево.

Вижу, что у Колького дома полыхает костер, но не такой, какой мы запаливаем на масленицу, а большой и спорый, который то и дело выбрасывает над темными крышами огненные языки, а они, будто змеиным жалом, огрызаются на темное небо и пытаются во тьме кого-то достать и смертельно ужалить.

Я смотрю на зарево, как завороженный, и никак не могу от него оторваться. Под сводами звездного неба, прокопченными и окинутыми бархатистой с проседью копотью, кажется, весело разгорается только что затопленная и не закрытая заслонкой печка. Это она и отбрасывает жаркий свет на запотевшие стекла. И не от её ли тепла вытапливается у меня на лбу нежданная испарина.

Я еще, честно говоря, и не понимаю, что происходит. Но и тени, отброшенные деревьями на серый снег, и сам свет, играющий на загривках крыш, и болезненное в夜里 зарево — все это уже таит в себе что-то неведомое и пугающе зловещее.

На спине у меня блуждают голодные мурашки.

Не знаю, сколько времени сижу я у окошка. Уже и стул подо мной накалился, даже под коленками жжет, и зарево над холмом померкло, как зыбкое пламя в нашей керосиновой лампе. Это когда бабушка увёртывает её, укладывая меня спать. И только взъерошенные снопы нечаянных искр, будто кем-то в夜里 напуганные, нет-нет, и взмывают ещё в темную



бездну ворсистого неба, но и они мгновенно гаснут над белой крышей Колькиного дома, будто кто смахивает их, как крошки с обеденного стола.

И вот в чуть освещенном проеме деревенской улицы у дома бабки Евгеньи, там, где нынче зимует моя сестрёнка Наташка, я вижу, как закачались на снегу две усталые тени с пустыми ведрами в руках. Они медленно и без радости поднимаются из-под горы. По хромой походке я сразу узнаю деда.

### 3.

Да, это он – мой дедушка! Это он хромает, больше некому. Я смелею, спрыгиваю со стула на ледяные, заиндевевшие половицы и, обжигая босые ноги, осторожно приподнимаю остывшее одеяло, подныриваю под него, подворачиваю под себя, и так мне вдруг становится под ним хорошо и уютно, как никогда раньше.

Теперь можно и ждать. Теперь-то я знаю, что через минуту-две зашаркают по звонкому мосту валенки – морозные до звона валенки деда, и скользкие, визгливые валенки бабушки.

Вот уже брякают на мёрзлой лавке бездонные вёдра. Я никогда не слышал, чтобы они так гремели. Зачем их только таскали по улице. Вот уже, слышу, дед в потёмках нашаривает обледеневшей варежкой дверную ручку и, пригнувшись, протискивается в избу с облаком белого пара. Из-под него, не нагибаясь, выныривает бабушка и при этом еще умудряется шепотом прикрикнуть на деда, ни в чем не виноватого:

– Не греми, сапогами-то, ребенок спит...

Дед неспешно рассовывает по гарнушкам застывшие варежки, а они у него такие нынче ломкие, что даже хрустят и в гарнушку никак не влезают, упираются. Дед их заталкивает силой, а я слышу, как льдинки ляцкают о стенки гарнушки, и, на ходу оттаивая, смиряются. Дед кладёт на край печки шапку, и тут на него, как всегда назло бабушке, нападает удущливый приступ кашля.

– Да тише ты – разбудишь, – грозно нашептывает бабушка.

– Нашел время...

А дед кашляет и не может остановиться, а потом запоздало и в полголоса с упрёком отвечает ей:

– Сама не греми...



Освобождаю из-под одеяла голову и спрашиваю:

— Дюдь, а что там горело?

— Ну вот, — рассерженno вздыхает бабушка. — Разбудил...

— А ты откуда знаешь? — удивляется дед и, присев на кровать, старательно подбивает одеяло у моих ног и с боков подворачивает его, чтобы я, не дай Бог, с утра носом не зашмыгал и не закашлял. Тогда деду перед бабушкой нипочём не оправдаться.

— Я из окна видел, — говорю деду.

Дед смотрит на меня, тяжело как-то смотрит, не как всегда, перед собой глядит и, будто нахлобучивает брови, задумывается и тихо так, как ангел, сев на плечо, молвит, то ли мне, а то ли сам себе, словно в чем оправдываясь передо мною.

— У Каюровых дом сгорел.

— Как сгорел? — не понимаю я, смотрю на деда и жду, что он тоже одумается и вдруг скажет, что дом сгореть не может. А я на самом деле не понимаю, как может сгореть дом, в котором я живу. Такого быть не может. Но, оказывается, бывает и такое. И такое, к сожалению, в жизни случается, но я всё равно не верю, не верю и всё!

Я силюсь уснуть, чтобы с утра всё сном и обернулось. Только сном! Обычным сном, от которого ничего в жизни не меняется и тем более ничего страшного в ней не происходит. Наоборот, проснёшься, увидишь скучный потолок и поймёшь, что тебя обступает добрый мир, не такой страшный и чужой, каким видел его во сне, а простой и знакомый.

У меня перед глазами дом Вальки Каюровой с клёном в заулке и рябиной под окошком, и я не могу представить, чтобы он вдруг взял да и сгорел. Мы ещё вчера с Колькой провожали Вальку до крыльца. Валька долго махала нам варежкой и смеялась, обметая голиком окоченевшие валенки.

— А вот так, — говорит дед, а от него пахнет дымом и бедой,

— вчера был дом, а сегодня на его месте одни головешки.

— Горе-то какое, — подхватывает разговор бабушка и крестится на образа. — Матушка, Царица Небесная, помоги им, грешным, спаси их и сохрани.

— Господи, — слово в слово повторяю за ней, а от себя добавляю: — Помоги ей. Как же она без дому-то?

Лежу, смотрю в потолок и думаю, зачем же я проснулся среди ночи. Спал бы и ничего не видел. А теперь, наверно, никогда



не усну. Этой ночью что-то изменилось, а что именно, пока не могу понять, но чувствую, что утром я увижу совсем другую деревню, не мою – чужую.

Я еще и, правда, не понимаю, что произошло, и почему я проснулся среди ночи один – в холодной кровати.

Сидит на стуле дед, скребёт ногтем зудящую щетину. Сидит и ничего не говорит. В кухне бабушка щиплет лучину для самовара, а заодно и на растопку печки. Не горит, а коптит под железным абажуром сонная лампа, будто случайно вздутая дедом.

Посапывает за кроватью счастливый телёнок. Ему всё равно, что случилось в деревне, ему лишь бы бабушка подала в блюде теплое парное молоко с запахом его заботливой матки.

А у меня опять Валькин дом стоит перед глазами. Большой такой, красивый, с кружевными наличниками на окнах и с самой крутой в деревне лестницей. Мы так любили качаться на веревочных качелях с деревянным сиденьем, перекинутых через толстый сук старого клёна. Неужели, и качель тоже сгорела?

Я часто бывал в её доме, и теперь не могу представить, что у Вальки Каюровой дом сгорел. Неужели я никогда больше не поиграю с ней в фантики на широкой крашеной лавке и не взгляну в окно без занавесок, чтобы подсмотреть, как моя мама поднимается в гору, поигрывая сеткой с гостинцами.

Только из окна её дома, не из Колькиной избы, нет, я мог видеть мою маму в серой шляпке с пегими перьями, когда она, оскальзываясь на мокрой тропке, обмахивала пучком травы новые блестящие боты. Да, только из окошка Валькиного дома мог я увидеть маму, идущую из-под горы. Мог, но никогда не видел. Она никогда не проходила деревней, будто боялась её, а с оглядкой пробегала к дому задворками и всегда раньше, чем я выисматривал её на тропе.

– А где же Валька будет жить? – спрашиваю у деда.

– На улице не останется. Теперь уж не в Попове будет жить твоя Валька – в Сумарокове. А до утра-то у Ермиловны отсидится…

Слышу, бабушка из кухни спрашивает:

– Затоплять что ли?

– Пора, – не глядя на часы, отвечает дед. – А ты, Вовулька, спи. – Дед опускает на меня тяжелую руку и начинает оглаживать шершавой ладонью пухлое одеяло на моей спине, да так

любовно и старательно, как будто только что сваленный из шерсти теплый валенок...

В эту ночь я, как ни старался, уснуть не мог. Притворился, что сплю, а сам лежал под одеялом с открытыми глазами.

Но вот, наконец, и забрезжило. И когда бабушка уходит поить скотину, я соскакиваю с кровати, быстро одеваюсь и выбегаю на крыльце. Распахиваю дверь и натыкаюсь на тишину. У меня и ноги сразу одрябли, и я ступаю на жесткую зимнюю тропку, не чувствуя земли.

Рассвет ленивый. Такой ленивый, что никак не может разродиться. А мне и не хочется, чтобы наступал новый день. Он мне ничего хорошего не сулит. Я уже точно знаю, что у Вальки Каюровой сгорел дом, а значит, в деревне нашей нарушился порядок и теперь его никто не восстановит. Иду по улице и уже не узнаю её. Она не моя — чужая. В ней нет вчерашнего покоя.

У дома Гланьки Мошковой снег, будто сажей припорoшен. Сажа опалила его, как порох.

Вот изба Ермиловны. Здесь у Тамарки, по словам деда, и приютилась до утра Валька Каюрова. Смотрю в окна — света нет, поднимаю глаза — и дыма над трубой тоже не видно, а в окне у Кольки, там, где кухня, протаивает свет от разгорающейся печки. Наверно, Валька спит — спит и не знает, что у неё уже нет дома в Попове.

Неужели и дом Каюровых тоже поджег Вечка Куракин? Я почему-то не без страха думаю об этом, вспоминая слова Коли Михайлова, но поверить не могу. Вечка мог ведь и отца моего убить. И убил бы. Но знать, не судьба! Почему же Валькин дом, а ни какой другой, поджёг Вечка Куракин? Но как он мог поджечь, если его уже нет, если его посадили в тюрьму?

Иду и думаю.

А вот и угол Колькиной избы. Сейчас за ним откроется дом Каюровых, вот уж, действительно, крепкий дом, из редких в обхват венцов сложенный, и досками струганными обшитый.

Неужели его нет?

Я медлю. Я боюсь. За домом Осиповых я уже ничего не узнаю. Вся улица затоптана и вымазана сажей. Дорога обледенела и покрылась коростой в желтых и грязных разводах. И самое страшное — на месте Валькиного дома — торчит голая труба, а вокруг неё клубится пар.

Вот она какая — черная дымящаяся бездна!



Если б не увидел её, никогда бы не узнал и тем более никогда не поверил, что на месте красивого и на века поставленного дома могут дымиться сваленные в кучу обугленные венцы огромного дома. Значит, в жизни этой бывает и такое!

Я смотрел на грозное и жалкое пепелище и не верил своим глазам. Казалось, что весь мир, так любимый мною, вдруг в одночасье рухнул и перестал существовать. Под березой на снегу валялись разноцветные фантики, как заплатки лоскутного одеяла, разорванного включья.

Где же Валька? Наверно, в Сумарокове. Это уже точно была не моя – другая деревня. И не было в ней дома, в который вчера поднимался я по крутой лестнице гулкого крыльца, а у порога встречала меня Валька Каюрова с коробкой золотистых оберток от праздничных конфет.

А теперь стоит в заулке закопченный клён с опаленной кроной, с черными обломанными сучками, а вокруг него валяется тычинник, втоптанный в снег и обледеневший.

Я не помню, как вернулся домой, как забрался на печку и уснул. Мне приснилось, что мы с Колькой рубим на краю деревни под старой яблоней маленький дом для Вальки Каюровой...



## ПОСЕДКИ

### 1.

Зима в деревне долгая и скучная. В серую погоду день, едва народившись, начинает угасать.

Сажусь к окну, оттаиваю на стекле ладошкой махровую изморозь и вглядываюсь в мутный слезящийся кружок, касаясь лбом не уличной, а домашней наледи. За окном стынет морозный рассвет: то ли хмаря утренняя за окошком рассеивается, то ли сумерки сгущаются вечерние – не сразу и разберешь.

Еще печь не прогорела, и бабушка не ушла на работу, когда через порог, запутавшись в клубах пара, перевалился Вася-гармонист – седой старичок из инвалидного дома. Он и раньше приходил к нам, когда ему нужны были деньги на выпивку.

– Здравствуйте всем, – говорит он, оглядываясь по сторонам, будто понять не может, куда и попал, хотя прекрасно знает, к кому пришел и зачем. – Егоровна, не ждала гостя дорогоего?

Бабушка выходит из кухни, упирает руки в бока и глубоко вздыхает:

– Господи, тебя еще не хватало на мою шею. Как и дорогу-то не забыл? Или опять в нос попало?

Вася стягивает с головы ушанку с облезлым кожаным верхом, комкает её в кулаке и виновато топчется у порога:

– Да, вот, думаю, загляну к Егоровне, игрой порадую, – Вася, изогнувшись сухим телом, ловко сбрасывает с плеч выгоревший до плесени рюкзак. В нём простужено всхлипнула гармонь. – Давно, чай, не слушала игры-то моей, а я дорого не возьму – нальёшь стопочку и хорошо, я и доволен буду...

– Вася-Вася, голова садовая, – бабушка улыбается, хочет отругать его, а ругать язык не поворачивается. – Раздевайся уж, коль пришел. Чай пить будешь?



— Буду, обязательно буду, — оживляется Вася, глаза его вспыхивают, он громко шмыгает, утирая оттаявший в тепле нос, и усаживается прямо на пороге. Он обрадованно лепечет, как провинившийся мальчишка, которого не выгнали. — Я попрощаться пришел, Егоровна. Ты уж не ругай меня, грешного, прости. Я ведь не к кому-нибудь, к тебе пришел. Тебе хочу игру свою показать. Ты ведь и не слышала её, по-настоящему-то, а я не могу уйти, чтобы не показать её. Сегодня последний будет мой концерт...

— Прямо уж и последний. — Бабушка не принимает его слова всерьёз и потому подшучивает над ним. — Прямо уж и попрощаться. Уж не помирать ли собрался?

— А не поверишь, сердце другой раз так прихватит. — Вася давит ладонью на грудь и морщится, будто от взаправдашней боли, — что вздохнуть не могу. Вот как, бывает, заберёт. Да и от ангела-хранителя весточка была. Васильич, говорит, пора на покой собираться...

Я слушаю Васю и верю ему. И не могу понять, почему бабушка смеётся над ним, когда спрашивает:

— А как же гармонь без тебя?

— А гармонь, — отвечает Вася, — со мной положат — в изголовье.

Он бережно оглаживает ладонью перламутровый бок гармошки, муслякает палец и наскоро оттирает сальное пятнышко на серебряном уголке мехов, потом, еще раз оглядев гармошку, соскабливает тупым ногтем присохшую к корпусу крошку и только после этого кладет руку на мехи, оклеенные сверху красивыми цветными обоями. Я уже готов был протянуть к ней руку и сунуть палец между мехами, чтобы потрогать цветистую ткань, но в эту минуту Вася, встряхнув головой, крикнул бабушке, оборачиваясь в сторону кухни:

— Я ведь без гармони-то на том свете еще раз, слышишь, второй раз помру, только уж от великой тоски — понимаешь, Егоровна?

Лицо у Васи в морщинах, брови белые, а щетина, жесткая, как стерня, ершится на его щеках, похожих на стиральную доску. Её уже без порезов даже дедовой бритвой не взять и даже скребком не соскоблить.

А глаза у Васи, как две прозрачные капли, выдавленные из бабушкиной пипетки, дрожат между глубокими морщинками,

наливаются синью и плещутся, готовые вот-вот выскользнуть из них и упасть на пол, чиркнув по засаленному верху казенной фуфайки цвета увядшего подснежника.

— Ну, раз так, — говорит бабушка, — тогда, конечно, сыграй. Своих-то гармонистов я каждого по игре узнаю. Неужто, и у тебя своя игра? Да ты на стул сядь, чего на пороге-то жмёшься. — А сама скрывается за шторкой в жаркой кухне, но уже не гремит там пустыми ведрами и не стучит, как обычно, ухватами.

Бабушка ушла, а я стою перед Васей и не знаю, что делать: остаться в прихожей или убежать в комнату и запрыгнуть с ногами на диван. Если убегу, то он останется у порога совсем один. Хорошо ли это?

Вася растерянно переводит взгляд на меня, а во взгляде его один единственный вопрос: играть или нет? Ему важно знать, что никто в доме, даже я, против его «последней» игры не возражает.

А я, конечно, не возражаю. Вася и сам видит, с каким нетерпением я жду, когда он, наконец-то, разведёт застоявшиеся мехи и ударит ороговевшими мочками пальцев по костяным кнопкам гармони, больным и расхлябаным от старости.

Вот он, думая о чём-то своём, заветном, набрасывает на плечи мягкие в трещинках ремешки, а они уже не такие послушные, как прежде, да и плечи уже не те, и потому ремешки с них спадают. Ремешки сваливаются, а он подцепляет их большим пальцем и снова забрасывает поочерёдно то на одно плечо, то на другое, а они снова спадают.

У него ещё терпения хватает, а я давно бы уже отступил. Вот и Вася, похоже, устал, и, развернув стул, не садится, как все, а присаживается на него и то — с опаской, бочком и почему-то на самый-самый краешек.

Я слежу за каждым его движеньем. Слежу и жду, когда же он заиграет. Неужели и другие гармонисты так долго, как он, настраиваются на игру?

Ну, вот он, вижу, примеряет пальцы на знакомые кнопки, пока ещё немые. Он касается их и вздрагивает. Я чувствую, как они радуются его прикосновению, но по-своему, тайно. От усердия они будто прилипают к его нервным пальцам и тут же успокаивают их. Он для надежности встряхивает ими и снова прикладывает к кнопкам.



Вот он и ухо своё навострил, и осторожно пытается разомкнуть слипшиеся мехи и, опробовав с мороза гармонный звук, начинает разогревать на кнопках окоченевшие с мороза пальцы. А пальцы у него и впрямь, будто зрячие, ничего, что болезнью изведенные, да еще и с въевшейся грязью, но зато очень умные и памятливые. Они сами отыскивают нужные кнопки, с молодости заученные наизусть, и перебирают их,

Вот бы и мне так научиться! Смогу ли когда-нибудь? Не машинку мне и не резиновые сапоги, а гармонь надо бы просить у деда на День рождения. А я ведь вообще у него ничего не просил, а если завтра будет возможность, то, непременно, попрошу у него гармошку.

Очень хочу научиться играть на ней. Именно на такой гармошке, как у дяди Васи.

А пока гармонь нервно и старчески дышит мехами, как будто ей не хватает воздуха, дышит и прищипывает на его коленках казенные штаны. Вот и Вася, закрыв глаза, голову чуть приподнимает, будто ищет затылком на что бы опереться, и по памяти, на ощупь, бросает пальцы по забытым, но с детства знакомым кнопкам.

И вот уже звуки то клокочут и переливаются, как вода на камнях, то разлетаются брызгами, срывааясь с речных перекатов, и заполняют в избе каждый уголок. Я даже чувствую, как под ногами у меня дрожат вековые половицы и в них отзывается озорной дробью пляска последнего престольного праздника.

Вася начинает играть.

Он играет вдохновенно. То наигрыш, то песня. Бабушка не выдерживает, снова выходит из кухни и, облокотясь на угол печки, смотрит на Васю так, словно она всё утро ждала его и теперь, слушая игру, отдыхает душой, и к ней, помимо её воли, возвращается прежняя молодость.

А Вася никого вокруг не видит. Он не играет, а будто и сам тоже на гармошке пересказывает свою нескладную жизнь. И даже я переминаюсь с ноги на ногу и приплясываю всем телом. До чего ж мне нравится его игра.

Слышал я в праздники и других гармонистов, но такой игры, как у Васи, не слыхал никогда. У него, кажется, и гармошка звонче, и наигрыши заразительнее, и в каждой мелодии душа его бьётся – то грустная до слёз, то печальная до жалости, а то веселая и удалая – с порванным воротом.

Под такую игру трудно на круг не выйти. Вот и бабушка, не сходя с места, выбивает красивую дробь, да так, что пыль на полу завилась радостным вьюном.

— Хватит, Василий, — кладет она руку на мехи и останавливает гармониста. — Не выворачивай наизнанку. Пойдём чай пить.

Вася снимает с колена гармонь, ставит её на стол и приглаживает на голове всклоченные волосы.

— Да сними ты свою поддергушку, — окликает из кухни бабушка. — Мой руки и садись за стол. Так и быть, налью тебе стопку. За такую игру грех не угостить.

Вася робко проходит на кухню, одергивая на ходу мятый-перемятый пиджачок, и ладонями по привычке укладывает назад редкие белесые волосы, а я забираюсь на печку, чтобы оттуда слушать уже застольный его разговор.

— Ты не думай, я ведь, Егоровна, раньше-то хорошо играл — до семидесяти произведений. — Вася усаживается на лавку и смотрит то на бабушку, то на стопку, в которую она, боясь перелить, набирает водку. — Меня в молодые годы и на сцену приглашали. Веришь ли? И на сцене играл, Василий Невзоров. Даже на «бис» по пять раз, можно, и больше, выходил — так игра моя нравилась.

— Верю, почему же не верю, — бабушка пододвигает ему тарелку с квашеной капустой. — Как же ты со сцены-то и прямо к нам — в индом.

— Это, Егоровна, отдельная история. — Вася как-то неловко, что и случилось вдруг с его легкими пальцами, берёт стопку, а рука так и подрагивает, мелко-мелко. — За твоё здоровье! Спасибо, что обогрела. — Вася подносит стопку ко рту, но тоже как-то угловато, локоть осёкся, водка плещется и стекает на лацкан пиджака, обжигая дряблый подбородок. Слышу, как он, мучаясь и давясь, жадно заглатывает водку, а потом, икнув, долго занюхивает хлебом.

— Или не пошла? — жалеет бабушка. — Так и не пил бы. Поберёг бы здоровье — не железное...

— Спрашиваешь, как в Сумароково попал? — Вася после выпитой стопки мигом обмяк и, пожамкав во рту хлебный мякиш, задумался:

— Не поверишь, а ведь у меня прадед в консерватории учился — в самом Петербурге. От его таланта и мне, видно,



что-то перепало. Он и окончил бы её с золотой медалью, да не судьба. Написали завистники донос, и оказался мой прадед в Вологодской губернии.

— В Вологодской, говоришь? — перебивает бабушка.

— В ней, родимой, а что?

— А не встречал ли там брата моего — Павла Егоровича Виноградова?

Вася моргает глазами, и морщинистое лицо его от улыбки разглаживается. Неужели, думаю, он встречал в Вологде бабушкиного брата? У меня даже сердце вздрогивает.

— Виноградов, говоришь? Павел Егорович? — Вася на мгновенье замирает, а потом виновато оправдывается: — Нет, Юру Виноградова, знал, а Павла? Павла не встречал. Может, где и видел, но не помню. Честно скажу, не помню. Может, и встречал — не знаю...

— Ну-ну, — вздыхает бабушка. — Значит, не знал...

— Вот, говорят, судьбы нет, — Вася, пытаясь успокоить бабушку, продолжает рассказ о своей жизни. — А как же, Егоровна, нет. Почему же меня, правнука деда из консерватории, в тридцать три года, как Христа, в черный воронок затолкали и на Голгофу привезли? И за что? За то, что я работнику НКВД, мужу моей племянницы, дом свой не продал. Хороший, скажу я тебе, был у меня дом, и стоял он ни на какой-нибудь, а на самой пролетарской улице — Карла Маркса.

Семьдесят четыре дня отсидел в монастыре. Тюрьма в нём была для пересыльных. Кого я в ней, Егоровна, только и не видел. Может, и здешние, ваши сумароковские, тоже сидели в ней, может, даже и в одно время со мной. А ты говоришь — судьба. А меня, не поверишь, против Сталина заставляли подписьаться.

А как я мог, Егоровна, подписьаться в том, чего не делал. Не по совести это, не по-людски. Тогда меня и перевели в камеру смертников. Из неё живым никто не выходил. Тебе и не представить, куда я попал. Как вспомню, так и мороз по коже, так инеём и сыпнет, так духом могильным и обдаст. Я уж и смирился. Всё, думаю, отжил на земле, пора на небо. Лёг на каменный пол и приказал сердцу остановиться. И оно остановилось бы, вот те крест, но тут, как в сказке, приходит палач. Представляешь, Егоровна, палач к тебе приходит, чтобы жизни лишить? Такого тебе и во сне не снилось, а я всё это

пережил. А ты говоришь, откуда у тебя седина. А ты говоришь, что такое судьба...

Вася умолк, будто в жизнь свою, как в болото, провалился по самую шею и опять, в который уже раз, прощается на виду у людей со всем белым светом.

— Так вот приходит палач. — Он поправляет пальцами ворот фланелевой рубашки, пытаясь прикрыть открытое горло, по которому от уключин шеи до подбородка катается под знобкой гусиной кожей острый, обросший редкими волосинами, кадык, такой, как у дяди Толи Осипова. — А у палача-то этого я играл на свадьбе, — объявляет бабушке Вася. — Я узнал его, и он меня тоже сразу опознал. Взглядом скользнул по мне и сразу вспомнил, как я у него на свадьбе «карусельный маклек» наяривал...

Уж не знаю, что это судьба или другое что, навроде её, но только после встречи с палачом меня переводят в общую камеру. Представляешь, из камеры смертников — в общую. Такого и помыслить было невозможно. А ты говоришь — судьба! Вот она такая и есть — судьба! — и никуда ты от неё не деться.

Думал ли я, беря в руки гармонь, что однажды она, гармонь-то, и спасёт меня от смерти неминучей.

Ты уж прости меня, Егоровна, но я давно не тот игрок, каким прежде-то был. Тогда мне все клавиши подчинялись — на все сто процентов. А теперь у меня склероз. Если вдруг запнусь в игре, то не осуди, и скидку мне на эту болесь сделай. Это не я виноват, это болесь у меня такая — склероз сосудов...

Дядя Вася встает. Чувствую, как ему больно, но он, закусив синюшную губу, удерживает боль в себе и даже вздохом не показывает, что она в эту самую минуту прострелила его насовсюз.

Он торжественно вносит гармонь на кухню, держа перед собой, как ребёнка. Он прикладывает её к своей впалой груди, растревоженной надрывным кашлем, и опять садится на лавку.

Он, не глядя, находит пальцами нужные кнопки и осторожно разводит мехи, таинственно так и красиво. И вот уже хрипловатый голос касается моей души, и я вслушиваюсь в слова новой, не знакомой мне песни, оправленной гармонными звуками непередаваемой красоты:

«Вспомнишь ли, милая, ветви тенистые,  
Ивы над сонным ручьем.  
Тихо катились струи серебристые.



Там мы сидели вдвоем.  
Там поклялись мы при лунном сиянии  
Вечно друг друга любить.  
Мне вспоминаются наши свидания.  
Впрочем, их трудно забыть.  
Пел словесой свои песни могучие,  
Стан твой сжимал я рукой.  
Ты мне дарила лобзания жгучие,  
Я разделял их с тобой.  
Но медленно движется жизнь одинокая,  
Нет мне отрадного дня.  
Где же ты, где же ты, радость великая,  
Не пожалеешь меня...

Вася обрывает игру неожиданно, на нерве, как бы сказала бабушка. Он бросает руки на гармонь и укладывает на них свою отяжелевшую голову. Не вижу, куда он смотрит, но, наверно, взглядом упёрся в жаровню. Не знаю, о чём он и думает. Наверно, о судьбе.

Бабушка молча наливает Васе ещё одну стопку.

— Всё, выпивай и уходи, — говорит она.

Не знаю, почему, но Вася не возражает и, засунув гармонь в рюкзак, молча уходит. Гармонь по-человечески вздыхает у него на спине.

## 2.

День зимний — короткий, а тянется долго — вяло и нудно. Бабушка, проводив Васю, убегает на работу. Дед возвращается из бани и не замечает, что у нас был гость. Он садится на тот самый стул, на котором только что сидел Вася-гармонист, и начинает молча колдовать над новым валенком. Уже смеркается, и вечер топчется под окошком. Мы снова щиплем шерсть и слушаем радио, как будто и не было утром Васи-гармониста из инвалидного дома, и как будто не рассказывал он бабушке о своей несчастной судьбе. Правда, Вася так и не сказал, как он оказался в Сумарокове. Наверно, не случайно...

Под потолком лениво горит лампа, сонно колосятся на стене часы, а на диване мирно посапывает Муська.

Бывает, не только нас навещают, но и мы ходим в поседки.

Чаще – к Наде Куликовой. Она живет с матерью. Сын Толя учится в Буе на машиниста и приезжает только на каникулы...

Вот и в этот январский вечер сразу после ужина мы пришли к ней. Надя сидит у окошка и вяжет носки. Из-под очков слепо смотрит, кто пришел – свои ли? Узнаёт и откладывает спицы.

– Кто там? – слышится с печки голос бабки Анны.

– Лежи, мама – Егоровна... – Надя уже брякает на кухне посудой.

– Ну-ну, и ты Семеныч тут?

– И я, Анна Ивановна, – дед подходит и отдергивает над печкой васильковую занавеску. – Болеешь что ли?

– Болею, дух мой, помирать пора.

– Успеешь еще, – потерпи до лета. Слезала бы лучше к нам.

Мы раздеваемся и садимся на лавку под образами – как у себя дома. Так было принято. Деревенские ходят друг к другу запросто: мало ли что у кого с вечера до утра может произойти.

«Живы-здоровы?» – всего и спросят. – «Слава Богу!» – «Ну и ладно. Нас тоже Бог не обижает».

Зайдут, поздороваются и уйдут.

Надя возвращается с кружкой молока и ставит ее передо мной. Рядом кладет два присыпанных мучкой колобка.

– Попробуй-ка нашего хлебца, – хвастается Надя, – у нас-то, поди, вкуснее...

Надя ладонью смахивает со стола крошки, убирает на комод газеты и подает деду колоду припухших карт.

– Сдавай! Ты у нас в прошлый раз в дураках-то остался.

Надёнка, так её зовут бабушка с дедом, женщина грузная. Она не ходит по избе, а передвигается, переваливаясь с боку на бок на широко расставленных ногах. Она и говорит тоже в раскачку – от одного слова до другого палкой не добросишь. Лицо у Надёнки цвета прокисшего молока – бледное-бледное, подёрнутое зыбкой плёнкой. К нему даже солнце не прилипает, а скатывается, как вода. Зимой и летом Надя ходит в валенках без галош, а на голове у неё один и тот же серый платок в крупную клеточку, который она никогда не снимает. Платок такой выгоревший, что на нём видна каждая ниточка.

Дед с трудом размешивает карты, вправляя в растрепанную колоду то одну выбившуюся из неё карту, то другую. Он сдает



и на меня. Я тоже люблю играть в карты и только в поседках узнаю о всех событиях нашей округи.

За игрой идет неторопливый обмен новостями. Деревня наша хоть и маленькая, но и в ней тоже всякое случается, а главное — это новости, конечно, бабы приносят из магазина.

— Анюх, что в Сумарокове-то творится, — начинает разговор хозяйка. — Ну-ко, человека убить. Мыслимо ли!

Я уже слышал, что неделю назад какой-то Вечка Куракин застрелил в Сумарокове милиционера Володю Загвоздкина, а еще и своего друга, который жил у Вечки после тюрьмы.

После похорон мама слёзно поведала бабушке, будто Вечка должен был не милиционера убить, а моего отца, до учёбы в Иванове, когда он еще работал председателем колхоза. Может, и убил бы, говорила мама, не случись эта трагедия. Не знаю, правда ли, но мне и сейчас страшно думать об этом.

— Не говори лучше — страх Божий! — Бабушка почему-то глядит на меня и коротко крестится на икону. — Такого парня погубить.

— Говорят, и пожары-то последние — тоже его рук дело. — Наденка муслякает кончик пальца и веером раскрывает перед собой розданные карты. — Кто ходит?

— Я хожу, — с гордостью показывает дед козырную шестерку и загадочно прощупывает взглядом бабушку и Надёнку. Меня он в расчет не принимает.

— Говорят, он всех нас в тюрьме проиграл. Убивать, слава Богу, не убивает, а вредит, как может. Вот и дома жжет за долги. И не все, а только те, в которых хозяин — проигран в карты. Сжег дом, списал долг, а дружки-то, чу, следят за ним, от них ничего не скроешь. А кто знает, кого он еще проиграл? Может, меня, али зятя твоего, и кому завтра красного петуха подпустит, — Надя говорит, не отвлекаясь от игры. Тут уж она слово к слову быстро подставляет, чтобы не забыть, что хочет сказать. Эти новости она любит и охотно ими делится. — И ведь какой хитрый, шельма! На пожар вперед всех прибегает. Вот, оказывается, почему он так старался-то, а уж как старался — себя не жалел. А мы-то, дуры старые, еще и нахваливали его: дескать, без него-то, без Вечки, совсем бы худо было, чтобы мы и делали, кабы не Вечка. Без него-то дотла бы всё выгорело. Анюх, вот ведь как всё обставлял...

– Одно слово – тюремщик! Для него, что курицу зарубить, что человека зарезать, – не выдерживает дед и тут же прикрикивает на бабушку. – Ходи давай – не спи!

– Не мешай, – отмахивается она и поднимает глаза на меня.

– Вовулька, есть валты-то?

– Такого парня загубить! – качает головой Надёнка. – Зоя-то извелась вся. Как ей такое пережить.

– Наверно, и сено у Коли Михайлова он спалил, – будто сам себе, боясь помешать разговору, говорит дед и углубляется в карты.

– Анюх, слыхала, нет? – Надёнка снова смазывает языком пальцы. Язык у неё хоть и толстый, но послушный. – У Клавки Потехиной Сашка-то совсем, говорят, отбился. Уж на матку и ту стал руку подымать…

– Неужто, правда, – удивляется бабушка. – Парень-то, вроде, услужливый – не бойкий.

– Да нет, бойкий. До Вечки-то, сказывали, это он будто дом-то Машухин в Сумарокове спалил. Из ревности будто – к дочке её.

– К дурочке-то? – всплескивает руками бабушка. – В жись не поверю…

– Люди говорят, а они зря языком болтать не будут…

– Жалко парня, – качает головой бабушка. – За что же такое наказанье-то Клавке…

Я не знал, кто такой Сашка Потехин, но мне тоже было жалко его.

– Кабы батько-то жив был, разве бы так разболтался, все бы острастку какую имел. Сколько уж ему?

– А, считай, Натолиу моему ровесник. Восемнадцатый идет…

– В армии шерсть-то кислую быстро выбывают, – авторитетно заявляет дед, теперь уж не для себя, а для Надёнки и бабушки. Про шерсть он всё знает. Он и взгляд на них бросает уже другой – угловатый, будто хочет ткнуть им и уколоть. – Там скорехонько всему научат. И как мать любить – тоже научат…

Дед смысл разговора не упускает и, внимательно следя за игрой, упрямо гнёт в нем свою линию. Правда, женщины по-прежнему не слышат его и грозные доводы деда в расчет не принимают.

– Помяните мое слово – как шелковый вернется…



Дед для пущей важности и карту подбрасывает бабушке с вывертом. Вот, дескать, вспомните мои слова! Но, его, кроме меня, никто, к сожалению, за столом не слышит.

— И не в кого бы, Надюх, — как ни в чем ни бывало, продолжает бабушка. — В роду-то у них — что у нее, что у Григория — все смирные были и работящие. А тут на тебе...

— Уж сколько она приняла через него, — вздыхает Надя, подгребая карты к своему краю, — подумать страшно. И чего парню не хватало? Чего бесится?

— Ремня хорошего не хватает — вот чего! Дубца батькина, — опять вставляет свое слово дед, прихватывая меня под бок. Уж я-то его точно слышу и слушаю. — Учить их надо, пока маленькие. Да ремешком! Верно говорю?

Дед поворачивается ко мне и с хитринкой подмигивает.

— Вспомни-ка, балаболка, когда ремень-то в руки брал? — наконец услышала деда и бабушка, но тут же и осадила его запал.

— А потому и не брал, что внук слушается. — Дед с размаху впечатал в стол последнюю карту и довольный потер руки.  
— Вот так, бабоньки, я вышел. Играйте. А ты им, внук, не поддавайся.

Дед с интересом заглядывает в мои карты.

— Да не эту кидай, ту — помелче. Так-то вас!..

Потом, не спросясь, берёт кружку и допивает моё молоко. Я вижу только дно кружки с налипшими хлебными крошками.

Мне нравится, как играет дед. Он играет азартно и серьёзно. Радуется, когда выигрывает, а когда остаётся в «дураках», тотчас умолкает и с трудом перемешивает в огрубевших ладонях уже липкую колоду карт. Сегодня он выигрывает и потому у него хорошее настроение.

— Уехал бы в город, — бабушка возвращает разговор в старое русло, — и ей бы легче было. Все не на глазах. Каждый день не думала бы, каким сын с гулянки вернется, не сидела бы у окошка. Хоть какая-то надежда была бы. Авось, хорошо живет. Может, в городе-то и одумался бы — кто знает. Там — не у нас в деревне — ухо востро держать надо...

— Отстань! — у Нади даже карта из рук на колени выпала и самое страшное — открылась, отчего Надя даже охнула, видя, что дед по-ястребиному быстро увидел её и запомнил. — У меня вот в городе учится — и что? Оттого легче мне? Как



---

же — легче. И я от окошек не отхожу, все гляжу — не идет ли? И по ночам не спится. О чем только не передумаю, чего только и в головушку-то не взбредет! Нет, Аньоха, уж пусть лучше рядом будет. Какой-никакой, а рядом...

— Вот как деточки-то даются, — соглашается бабушка, жалостливо оглядывает меня и снова крестится.

— А как поаукаешь им в детстве, — снова вступает в разговор дед и глубокомысленно его подытоживает, — так они в старости и откликнутся. Так, Вовульк? Не будешь обижать нас с баушкой?

Я качаю головой.

— Вот и умница! — дед осторожно прижимает меня к себе.

— Засиделись мы, не пора ли домой, — бабушка давит зевок и глубоко выдыхает. — А жалко Сашку-то, ой как жалко...

— Посидели бы еще, — встает из-за стола хозяйка, но особо не удерживает — Чайку бы попили...

— Спасибо, теперь уж наша очередь поить чаем, — бабушка подходит к печке и привстает на цыпочки. — Бабка Анна, уходим мы — отдыхай...

— Бегите, милые, — раздаётся из-за шторки, будто с неба, благословляющий голос.

Я бабушку Анну знаю по голосу. Видел её только один раз, когда Надёнка вынесла старушку на весеннее солнце. Она сидела на лавке и, кажется, не чувствовала тепла лучей, припавших к её холодным синим щекам.

Мы выходим на улицу. Черно хоть глаз коли. Дед разыскал фонариком пробор тропки, и мы, поскрипывая снегом, гуськом направляемся к дому.

Я иду между ними и думаю о Сашке Потехине. А что как он не пришел еще домой и мамка его, Клава, сидит одна у окошка и плачет. Я даже представляю, как она обтирает слёзы тяжелой рукой. Я почему-то верю, что все у них обойдется, и в армии Сашка обязательно исправится. Дед зря говорить не будет.

Подумал так о Сашке Потехине и вспомнил свою мамку. Как ей-то живется в большом городе? Там ведь нет такого «хоросьва», как у нас в деревне. Это сегодня у нас луна за тучами, а завтра, даст Бог, снова вызвездит всё небо. Свет от фонарика мечется впереди нас, выхватывает из темноты заиндевелые ветки березы, серебряные и пушистые, и белым месяцем отражается в крайнем окне нашей избы...



# ПУТЕШЕСТВИЕ К ФОТОГРАФУ

## 1.

- Пора, внук, карточку твою сделать, – сказал за обедом дед.
- Матк, подбери-ка наряд, чтоб красивый был.
- Он и так картина писаная, – обиделась бабушка, но на всякий случай оглядела меня, чтобы убедиться, что, может, я уже и того краше стал.
- Ладно-ладно, – осадил её дед, – не девка он, а наряд приготовь – для вечности снимать будем...

Уж на это бабушка точно возразить не посмела, только с укором посмотрела на деда и с досадой от него отмахнулась.

Дед мне часто говорит о вечности, будто люди совсем не умирают и что после смерти их души Бог забирает на небо, а еще он мне говорит о Вселенной, у которой будто бы нет ни начала и ни конца. А ближе к земле космос, но там ещё никто не бывал.

Я не очень понимаю, что такое вечность, но её в себе чувствую, а вот Вселенную оглядываю каждый вечер, когда на небе появляются звёзды, а над черным лесным окёмом всплывает холодная луна, проросшая во тьме, как репа, и потому болезненно бледная...

После обеда мы с Колькой прыгали с крыши сарай в сугробы. И вот, чуть припозднившись, я возвращаюсь домой по тихой и звонкой деревенской улице.

Я люблю эти светлые зимние вечера, когда колкий мороз набирает силу и до треска промораживает стены изб, а на дороге, залитой лунным светом, поблескивает тонкий, будто прозрачный, ледок.

Глотаю сытный загустевший воздух, приправленный запахами печных дымков. Жесткий мороз сбивает пар у самых губ, не давая ему вырваться наружу и превратиться в легкое белое облачко. Задираю голову вверх и любуюсь праздничным перед Крещеньем небом.



---

На его ворсистый бархат кто-то невидимый и неведомый из черной бездны всё подбрасывает и подсыпает ледяные звезды, будто драгоценности тридевятого царства. Они переливаются перламутром, как стеклышики в калейдоскопе, подаренном мне кокой Валей на Новый год.

Кажется, кто-то трясёт и просеивает звёзды через небесное решето. Я даже слышу тихий звон звёздного хрустала, такой точно, какой бывает в нашем посуднике от граненых рюмок и фарфоровых чашек, когда дед, захмелев, нечаянно заденет его плечом.

У крыльца я останавливаюсь и слушаю, как звёзды над головой шевелятся и шуршат, сверкают и осыпаются во тьму, пропадая в ней, как невесомый небесный иней.

В такие минуты я будто обретаю крылья и мысленно воспаряю над оцепеневшей окружой. Душа моя наслаждается долгим полётом, привыкая ощущать себя живой и вечной частью бесконечной Вселенной...

Спать ложусь рано и в хорошем настроении. Пока горит лампа, рассматриваю на стене фотографии. Раньше я на них особого внимания не обращал. Иногда, оставшись в избе один на весь день, я стоял под ними, как перед иконой, и молил Бога, чтобы бабушка с дедом никогда не старели и жили со мной вечно.

Вот и сейчас я тоже гляжу на деда с бабушкой. Они притихли под светом керосиновой лампы и щиплют, вытаскивая колючки, пыльную овечью шерсть. Потом перевожу взгляд на их фотографию, сделанную после свадьбы. Смотрю и с горечью для себя замечаю, что и они у меня потихонечку стареют. У деда уже лысина открылась на макушке, а у бабушки на висках серебрятся в волосах седые прядки.

Каким же интересно стану я лет через десять? Завтра у меня будет ответственный, и даже торжественный день. Ведь я первый раз в жизни буду сниматься на карточку у настоящего фотографа...

## 2.

Ночью услышал, как в кронах тополя вздыхал ветер. Откуда он только и взялся, ведь с вечера на улице морозило так крепко, что хруст от снега стоял до самых небес.



Бабушка нарядила меня в белую рубашку и черный пиджак. Жесткий воротник трёт шею.

Стою на крыльце и жду, когда выйдут дед с бабушкой.

Деревня еще вчера празднично звенела на морозе и сверкала на солнце, а сегодня вдруг стала грязной и будничной: избы сгорбились под тяжестью потухшего снега, серое небо осело на почерневшие кроны деревьев, а на дороге вытаяла сенная труха и разбитые конские катыши.

Ветер суматошно мечется по улице, стегает ветками по стеклам, по-собачьи прыгает на грудь и набрасывается на воробьев, которые потрошат на золотушных кустах акации отсыревшие связки ржавых стручков.

Я люблю такую погоду, когда округа погружается в сонное царство, а в полях на померкших от влаги скирдах шумно кормятся деревенские вороны, когда шныряют в саду и гуляют между избами опасные сквозняки, а на белых холмах – ближних и дальних – топорщатся голые перелески, как перевёрнутые обувные щетки.

Именно в такие дни, когда день с утра до вечера стоит в одной поре, окрашенной в серо-белые тона, чувствуя, как медленно, устало и нехотя тянется зимнее время.

– Ну что, тронемся с Божьей помощью, – вышел дед на крыльцо и, оглядев округу, глубокомысленно добавил: – Что-то, внук дорогой, неладно в природе, на дворе январь, а уж весной опахнуло – не рановато ли?

– Ступай себе, – подталкивает его в спину бабушка, – да не забудь клюшку, видишь, как дорога-то обмякла.

Клюшка у деда – это ольховый сук, наспех вырубленный на сенокосе после парного июльского ливня. Летом с ней дед редко ходит, разве что после дождя, но по зимней тропе, переметенной или обледенелой, без клюшки не обойтись.

Ну вот, кажется, все в сборе, и мы трогаемся в путь: впереди бабушка, я за ней, а замыкает живую цепочку, как всегда, дед. На этот раз с клюкой.

Все вместе в Сумароково мы собираемся редко, и потому каждый такой выход я приравниваю к большому празднику. Весь путь до села делю на отрезки: первый по деревне. Я украдкой наблюдаю, как, припав к окну, придиричivo разглядывает нас любопытная Марья Васина – не появилось ли каких обнов? Знаю, что не пройти нам незамеченными и мимо окон тетки



---

Евгеньи, жены дедушкиного брата. Она будет перебегать от окошка к окошку, а их по лицу четыре, чтобы благословить нас и перекрестить на счастливую дорогу.

У дома Валюхи Цветкова мы сворачиваем вправо. Пока идем по заулку, нас, отдёрнув на боковом окне белую с цветной вышивкой занавеску, провожает тихим взглядом добрая, но подслеповатая Семичиха – Ленкина бабушка. Здесь, вынув жерди из загородки, мы выходим на задворки. Колькин дом и другие избы остаются в нижней части деревни.

За воротами начинается второй отрезок пути. Он короткий – лишь до горы. Спуск с неё начинается у жидкого, будто обломанного кем в пору майского цветенья, куста одиноких черёмух. Отсюда открывается вид на лощину с мостом, его каждую весну уносит половодье, другой вид – на крутую сумароковскую гору, опущенную низкорослым леском, а третий – на пологие, с клочками перелесков, холмы ивашевской стороны.

С горы мы спускаемся долго. Это еще один отрезок пути. Санная дорога и впрямь раскисла. Рыхлый снег не держит, он стал обманчив, и потому бабушка поддерживает деда под локоть.

– Ведь говорила же – не надо ходить, – ворчит бабушка, семеня рядышком с дедом в белых валенках с черными галошами. – Нет, упёрся. Дождались бы погоды – не велика надобность. Нет, сегодня. А в гору-то как войдешь?

Дед сопит, останавливается, чтобы откашляться, нащупывает ольховым посохом место потвёрже и осторожно переносит на него хромую ногу.

– Ведь говорила, дураку, не время, – бубнит, не переставая, бабушка. – Нет, всё по-своему, всё наперекор...

Я бегу впереди налегке и радуюсь всему, что вижу и слышу. Вижу, как сорока, простужено стрекоча, перелетает с ольхи на осину, с осины приземляется на дорогу, а с дороги легко взмывает на провода. Она провожает нас от самого Семичихиного крыльца до лощины. Слышу, как ветер шумит над головой, вороша исхлестанные верхушки скудного овражного ольшаника.

Вот и горемычный мост через речку, но зимой его не видно под укатанным снегом. Останавливаюсь и слушаю, как под ним в черной, как печное устье, полынье по-голубиному глухо воркует на камнях живая, юркая водица, а по худосочным



веткам бредины, настороженно косясь в мою сторону, скачет, как невесомая, желтогрудая синичка.

Метрах в тридцати от моста лежит поперёк реки темная лава, составленная из двух не ошкуренных бревен, стесанных сверху и скрепленных у краёв железными скобами. Лаву тоже уносит по весне вешняя вода.

В лощине тихо и сумрачно.

Дожидаюсь деда с бабушкой, и мы, отдохнув минут пять у подножья горы, начинаем подъём. Это уже четвертый отрезок нашей дороги и самый трудный, но мы потихоньку преодолеваем и его. Правда, после подъёма дед, навалившись грудью на посох, долго пыщает ртом, успокаивая сбившееся дыхание. Глаза его, воспаленные на ветру до красноты, слезятся и бессмысленно скользят взглядом поверх серой, будто чуть присыпанной пеплом, снежной целины.

Бабушка, обычно с лица бледная, тоже стоит с теплым малиновым румянцем. Она в белоснежном пуховом платке выглядит свежо и молодо. Каракулевый воротник в мелкое кольцо с атласным отливом закрывает половину груди, плечи и чуть не полспины. Наверно, тяжелый. Пуговицы на черном пальто крупные и пришиты намертво толстыми нитками.

У бабушки пальто покупное, а деду заказывали у портного-самоучки, который живёт в Шелках и шьёт одежду на дому. Я помню, как по осени мы ходили с дедом к нему на примерку. У деда не пальто, а короткий ватник, но тоже с каракулем, только кольцо на нём крупнее. Карманы у ватника сбоку и наискосок, в них удобно держать руки и греть их на груди. Мне о таких карманах остается только мечтать. Хорошо, что валенки у меня, как у деда, с двумя заворотами.

Следующий отрезок пути от горы до старой церкви. Его мы проходим быстро и, не заходя в село, идем вдоль красной монастырской стены к остаткам каменных ворот. За ними начинаются корпуса инвалидного дома – бывшие монастырские постройки. Бабушка сворачивает в магазин, а мы с дедом направляемся к фотографу.

### 3.

На территорию Дома инвалидов я никогда еще не заходил и потому мне здесь всё в новинку.

- Кто здесь живёт? — спрашиваю у деда.
- Люди живут, — отвечает, не поворачиваясь ко мне, — у кого нет ни пап и ни мам, ни бабушек и ни дедушек.
- Как это нет?
- Может, умерли, а может...

Тут дед осёкся, будто испугался чего-то, и положил мне на голову руку. Он так делает всегда, когда боится о чём-то нечаянно проговориться, чего мне знать рано. За это его ругает бабушка. — Может, они во время войны потерялись. У тебя дед Никифор тоже с войны не вернулся. Живут и те, кто сильно болеет, и те, кому нужна помощь.

Слушал его и думал, какой же я счастливый. У меня есть все, кроме одного деда, которого я видел только на старой желтой фотографии. Слушал и не мог представить себя одного в этих мрачных корпусах среди чужих людей. Мне было их жалко, очень жалко. Мне даже захотелось кому-нибудь из них помочь. Правда, я не знал, чем именно, но решил, что в следующий раз обязательно помогу.

Навстречу нам семенит женщина в больничном халате, а на плече у неё поскрипывает коромысло с двумя зелеными эмалированными ведрами. На них белой краской написаны какие-то буквы. Я и глазам своим не могу поверить, когда узнаю тетю Алю Семичеву — Ленкину мать. Она тут работает санитаркой и помогает больным и одиноким людям.

— Куда путь держим, Михаил Семенович? — здоровается она и приветливо улыбается. — Уж, не к нам ли на казенные харчи?

— Наше время еще не пришло, — серьёзно отвечает дед и спрашивает: — Скажи-ка лучше, где тут нынче фотограф работает?

— Василий-то? — остановилась на минутку тётя Аля, перевела коромысло с плеча на плечо, и, не спеша, осмотрела каменные и деревянные двухэтажные дома. — Раньше в клубном корпусе был. Вот крыльцо-то, там — на втором этаже, если память не изменяет.

Я стоял так близко к ведру, что уловил вдруг исходящий из-под его крышки легкий запах аппетитного картофельного супа.

— Карточку-то потом подаришь Ленке? — обернулась ко мне тётя Аля, и я увидел в её глазах смешливые искорки.



Я покраснел, не зная, что и ответить, опустил глаза на дорогу, на которой кто-то разлил бордовый свекольник, и на снегу валялись рубленные капустные листья.

– Подарит, а как же, – выручил меня дед.

– Ну-ну, так Ленке и передам…

Мы уже поднимались по деревянной лестнице с истёртыми ступенями на второй этаж клубного корпуса, когда я вдруг не на шутку развлновался. Я знал, как выглядит плотник и конюх, видел письмоноску и коновала, даже тракториста видел, и мне с ними было легко и просто, но фотографа, как не пытался, представить не мог. И тем более не знал, как с ним себя вести.

Вот дед в полуутемном коридоре стучит в белую дверь с облупленной краской, и тут же за ней раздается услужливый голосок, как будто только и ждавший кого-нибудь в гости:

– Открыто, входите…

Дед входит, а я, робя, прячусь за его спиной. В комнатенке холодно, и в нос сразу набивается затхлый запах старого амбара с проросшими на дне сусеков плесневелыми зернами овса.

– Михаил Семёнович, Михаил Семёнович! Дорогой! – приветливо залепетал фотограф, увидев в проёме дверей деда, и голос его шелестел, как бумажное золотце под фантиком конфеты. – Сколько лет, сколько зим! Милости прошу, Михаил Семёнович! Как я рад, как рад-то…

Дед шагает навстречу фотографу и передо мной открывается сумрачная комната с высокими окнами и байковыми шторами, подвязанными у широкого подоконника белой тесемкой.

Посреди комнаты вижу странного человека, у которого верхняя часть головы будто отполирована до костяного блеска, а с затылка и над ушами еще растут волосы и свисают сальными прядями до самых плеч. На бледном лице, как будто никогда не видевшем солнца, ни бровей нет, ни ресниц, только на подбородке трясётся жидккая седая косица, похожая на козлину. Скулы широкие с тонкой озnobной кожей, шея толстая, дряблая и обвисшая. Когда он говорит, то она у него зобает и дышит, как у матёрой жабы. Только глаза у фотографа необыкновенно живые и добрые. Посмотришь в них, и у самого душа возликует.

– Василий Петрович! – Так же приветливо обращается к нему дед. – Доброго здоровьяца! Давненько не был у тебя, но вижу, без работы не сидишь. Вот внука привел. На будущий год в

школу, а у него и карточки нет, чтобы матке с батькой послать. Сделай Христа ради.

Фотограф тут же переводит взгляд на меня и также весело и сладкоголосо стелет:

— Ну-ка, ну-ка, покажись нам, внук Михаила Семёновича! Как нас зовут?

— Вова Соколов, — заученно отвечаю, но дед поправляет меня.

— Не Соколов, а Кудрявцев, — потом поворачивается к фотографу и уже объясняет ему:

— По батьку-то он Кудрявцев, а он заладил Соколов да Соколов и никак отвыкнуть не может.

— Ничего, — успокаивает фотограф одновременно и меня, и деда. — В школу пойдет и на его тетрадке учительница напишет — Кудрявцев. Так ведь? Так! А фотографию пора иметь, но для этого, что надо сделать? Правильно — раздеться...

Он сам снял с меня шапку и стал ловко толстыми пальцами выталкивать маленькие пуговки из тесных пройм. От него и пахло, как от кладовщика — дустом и зерном. А может, это мне со страха показалось? Я успокоился и уже не чувствовал в чужой комнате прежней неловкости.

— Вот какие мы нарядные, — ласково приговаривает фотограф, поправляя на моей голове слежавшиеся под шапкой волосы и дергивая рукава пиджака. Потом он снова отходит на середину комнаты, осматривает меня уже со стороны и чуть свысока, хмурит безволосые бровные дужки и, сощурив озорные глазки, с улыбкой спрашивает:

— Может, мы и улыбаться умеем, а, Вова Кудрявцев? Или мы всегда такие серьёзные?

— Умеет, умеет, — отвечает за меня дед. — Он у нас всё умеет, если бычок не найдет...

— Ну, тогда начнем. Садись сюда, а я посмотрю.

Василий Петрович усаживает меня на красную табуретку и отходит к деревянной треноге, но, сразу видно, не самодельной, а фабричной, на которой закреплён странный ящик, прикрытый черной бархатистой пеленой. Ящик похож на скворечник, только на месте дырки у него толстое, как лупа, увеличительное стекло. Сижу перед ним и мне ничуть не страшно.

Фотограф сует голову под пелену, а из-под неё командует:



— Сдвинься чуть влево. Так. Теперь назад. Головку подними выше. Хорошо. А глазки смотрят на меня. Всё замечательно, но не хватает улыбки. А ну-ка, где она — наша улыбочка. Нет её, пропала и не возвращается. Будем ждать. Будем искать.

У меня губы будто онемели. Я и пошевелить-то ими не мог, не то что улыбнуться. Во мне не было ни капли смешливого запаса, весь он улетучился, как только я сел на эту скрипучую и жесткую табуретку.

Фотограф выныривает из-под пелены, приносит стул со спинкой и просит меня на него встать. Снова отходит к треноге и под пеленой о чём-то долго думает или даже колдует.

Через минуту уходит за ширму, выносит оттуда тонкий ивовый прут и вставляет его мне в правую руку. Я держу прут, как меч, засунутый в ножны, и не шевелюсь. Теперь уж мне совсем не до улыбок. У меня начинают деревенеть ноги и затекать рука, в которой я зажал эту сухую палочку.

У фотографа уже выступила на лбу испарина. Он то отходит к треноге, то снова подбегает ко мне: то прут поправит, то плечи развернёт, то подбородок приопустит.

Пальцы у него потные и кисло пахнут, а изо рта пышет нутряной жар, глаза суetливо бегают, сверкая желтоватыми белками, а губы сочные, мясистые дрожат и шевелятся, будто и впрямь он колдует или ворожит...

Значит, делает всё с душой, как мой дед. Так и вижу его, когда он в столярке сколачивает бабушке посудник. Он тоже, как заводной, крутится вокруг. То вблизи ладошкой огладит, не занозисто ли, то, прищуриваясь, оглядит издалека, не криво ли, то шкуркой пройдется, то стамеской подрежет. И так до тех пор, пока не выправит все, как надо. Вот, наконец, фотограф снова укрывается пеленой, поднимает пухлую руку с короткими пальцами и смазано прищелкивает ими:

— А теперь, Вова, внимание. Видишь окошечко. В него и смотри. Так. Хорошо бы еще и улыбочку подпустить и порадовать дедушку. Ну?

Я силюсь пошевелить губами и развести их в стороны, чтобы изобразить на лице хотя бы подобие улыбки, но, чувствуя, ничего не получается. Меня даже в жар бросает от бессилия.

Фотограф тоже, видно, отчаялся ждать моей улыбки, выждал еще секунду и передернул деревянную задвижку, а перед камерой в воздухе изобразил рукой какой-то колдовской знак.

— Готово, внук Михаила Семёновича, можешь расслабиться...

Дед снял меня со стула, поставил на пол и велел одеваться, а сам подошел к фотографу, и они стали с ним о чем-то договариваться. Наверно, о сроках и оплате, но я так устал, что уже ничего не слышал и думал только о том, как бы поскорей выйти на улицу и вдохнуть свежего воздуха. И только одна мысль согревала сердце: теперь есть что рассказать Кольке...

Через неделю бабушка принесла фотографии. Я смотрел на них и не узнавал самого себя. Карточки почему-то получились мутными, даже ивовый прут — и тот едва был заметен на фоне моего черного пиджака, хотя черным он был явно не до такого смоляного блеска...



# BECHA





## МАРТ

### 1.

Перед Новым годом я сломал в овраге магазинную лыжу.

В январе мы с дедом ходили в ближний лес, чтобы выбрать берёзу для моих новых лыж, на этот раз — самодельных. Дело это оказалось не простым, но дед у меня и по лыжам тоже мастер был.

— Купить-то легче, — говорил мне дед, — а ты попробуй сам сделать. Раньше-то фабричных лыж не было.

Берёзовое бревно привезли на санях. Бабушка запрягала Майку и сама с нами ездила в лес. Потом дед его расколол на плахи, долго колдовал над досками, строгал их, сушил на полатях, мочил концы в кипятке — для загиба, стамеской выбирал желобок, чистил шкуркой, пропитывал олифой. Я уже, честно говоря, о них и забыл, да и весна наступила — не до лыж.

С вечера мы с Колькой решили покататься по насту. Утром я достал с подволоки старый таз, смахнул с него паутину и хотел уже идти вниз, как вдруг из сеней появляется дед с лыжами подмышкой.

— А ну-ка, опробуй, пока не растаяло.

Дед бросил лыжи на тропу, и они загремели, как поленья. Я гляжу на них и глазам своим не верю: лыжи-то получились, как настоящие, даже цвет у них светло-коричневый, почти магазинный. Носки с дырками на концах заострены и слегка загнуты, в сыромятные мочки вдета белая тесёмка для завязок, а посередине прибита резинка, чтобы снег не налипал, и валенки не скользили.

— Нравятся? — Спрашивает дед.

— Как настоящие, — отвечаю.

— Тогда надевай и завязывай. Чай, не разучился кататься-то...

Встаю на лыжи. Дед помогает завязать на валенках крепления.



— Ну, пробуй, — подталкивает меня в спину. — Да смотри, опять не сломай.

Скользжу на прямых непослушных ногах, машу руками и качаюсь из стороны в сторону. Навстречу идет Колька, тащит за собой корыто.

— А мне дедушка лыжи сделал, — кричу ему. — Гляди какие! Как магазинные, только крепче. Такие не сломаешь.

Колька небрежно ткнул валенком в носок лыжи и, как всегда, не выразил никакого удивления. Потом, не говоря ни слова, выломал из старого огорода две тычинины и сунул мне вместо палок. И верно, про палки дед забыл, а я ему не напомнил.

— Дашь прокатиться?

— Дам — только возьми у крыльца таз.

Колька кладёт мой таз в свое корыто, забегает вперед и на всю улицу гремит по укатанной полозьями дороге.

На горе уже катаются на санках Тамарка с Ленкой. Увидели меня на лыжах и захихикали.

— Дорогу! — прикрикивает на них Колька и поворачивается ко мне. — Ну, давай!

У Колькиного дома я отталкиваюсь палками, неловко забрасываю их подмышки — так всегда делает Толя Куликов — и шумно со скрежетом скользжу вниз к сгоревшей каюровской избе. Лыжи не слушаются и ерзают, натыкаясь одна на другую, приплясывая на ледяных коростах. Вдруг словно кто-то потянул меня назад. Я упираюсь носками в мочки, весь напрягнувшись, но удержаться не могу и, съехав к краю дороги, падаю боком на жесткую бровку, переворачиваюсь и с головой зарываюсь в пропудренный сажей сугроб.

— Ты чево? — подбегает Колька и — надо же! — протягивает мне руку. — А теперь моя очередь.

С его помощью я кое-как поднимаюсь, распутываю на валенках тесемку и с легким сердцем уступаю Кольке непослушные лыжи. Чувствую, что в боку у меня что-то покалывает.

— Вовка хвастун! — кричит с бугра Тамарка и смеется.

— А ты модница! — отвечает ей Колька. — Среди куриц хороводница.

— А ты Коля-дроля — канавина у поля.

Колька подбегает к Тамарке и толкает её в сугроб. Тамарка машет кулаками и забрасывает Кольку снегом. Ленка стоит в

сторонке и в перепалке их никак не участвует. Она тоже видела, как я кувыркнулся с лыж и упал на бровку, но не засмеялась, как Тамарка, а посочувствовала. Так мне, по крайней мере, показалось.

Тамарка на язычок остри. И вообще, она вредная — не то, что Ленка.

— У, дура, — ворчит, отплевываясь, Колька, — токо подойди! — хватает комок мерзлого снега и кидает в неё, потом поправляет на голове шапку и, прихватив лыжи, поднимается на бугор. В отличие от меня он съезжает по дороге до самого поворота и не падает. Колька и на лыжах оказался ловчее. Накатавшись на новых лыжах, мы вспоминаем о тазе и корыте.

Наст еще не отошел от ночного морозца, хрестел на жестком ветру и приглушенно блестел на солнце, скрывая его шершавую сахаристую корку. Было такое ощущение, что солнечный луч, упавший на него с неба, поскользнулся на ледяной снежной глади и растекся на ней, как золотистый блин на сковородке, заполняя светом каждую выбоину и ямку, подточенную вчерашним солнцем...

Стоим на краю крутого склона. Внизу речка под снегом, а над нами голубое небо да полдневное солнце. На соседнем холме за рекой уступами поднимаются серые бесцветные перелески. Выделяются только ёлки. Они уже освободились от снега. Летом они теряются среди деревьев, одарённых листвой и остаются непризнанными. А весной — наоборот, торжествуют! На её фоне и каждое дерево наособицу: будь то ствол бледной осины или серебристой берёзы. И не только каждая веточка, но даже набухшая и готовая вскрыться почка — и та, осчастливленная будущей жизнью, не теряется на темном фоне вечнозелёной елки...

— Красиво как! — Вздыхаю, оглядывая округу, залитую солнцем. Знаю, что Колька со мной не согласится, потому что это я сказал, а не он.

— Чур, ты съезжаешь первый, — как всегда, опережает меня Колька. — Я за тобой.

— Давай вместе, — не споря, предлагаю я.

— Не, давай ты. У меня корыто. Что легче?

Я не без страха ставлю таз на край склона и, зажмурив глаза, отталкиваюсь рукой от мёрзлой с наледью тропки. Таз мой крутнулся на месте, как юла, и с легким скрежетом зашуршал



по насту. В ушах зашумел ветер, о дно таза наст зазвенел звонко, и таз запрыгал, как камешек по водной глади.

Я испугался и стал судорожно тормозить, но варежки только скребли по шершавой жесткой корке и сквозь шерсть обжигали пальцы. Колкая снежная крупа секла щеки и застилала золотистой пылью глаза.

Меня разворачивает лицом к пригорку и я, не зная, как остановиться, в страхе вываливаюсь из таза перед крутым спуском к реке. Таз, крутясь по насту, как волчок, и пересчитывая все бугорки, легко заскользил по склону праздничного холма. Я лежу на спине и слышу, как смеётся вверху Колька и от радости стучит по корыту палкой.

Я встаю, грошу ему кулаком и спускаюсь под гору. Потом обворачиваюсь и вижу, как Колька, тормозя валенками, осторожно съезжает с ледяного искрящегося на солнце пригорка и, как вожжами, размахивает над головой веревкой.

— Еге-гей! — Заливается он во весь голос.

— Угу-угу! — Передразнивая, кричу в ответ.

Но снег под ним шуршал так шумно, что Колька не слышал меня...

День выдался ясный и по-весеннему просторный.

Морозец уже не щипал нос, как в январе, а солнце не только ярко светило — до рези в глазах, но и обдавало щеки робким теплом. Оттого и румянец у Кольки выступил свекольно-сочный. Свой, бледно-розовый, я увижу лишь вечером в тусклом зеркале при свете керосиновой лампы.

— Поскорей бы водополь, — говорю я.

— Всему своё время, — по-взрослому важно замечает Колька.

Он вообще во всем подражает отцу. Даже ходит вразвалочку на полусогнутых ногах и также звучно шмыгает носом.

— Мне мамка купила новые резиновые, — хвастается он, — черные и блестящие. И голенища высокие — не как у твоих...

— А мне тоже купят.

Оступаясь на обледеневшей горке, мы с ним с трудом взбираемся вверх. Я держу таз в руке, а Колька тащит свое корыто за веревку.

Солнечный день набирает силу. К обеду наст оседает, и мы расходимся по домам. Лыжи забираю домой, а таз оставляю в Колькином корыте у крыльца осиповской избы.

## 2.

Я иду по деревне и вдыхаю кислый запах пригретой солнцем весенней дороги. Знакомые вороны, как пепельные курицы, сидят по её краям и ворошат костяными клювами конские катыши, не обращая на меня никакого внимания. Я уже во всем чувствую весну и узнаю о приближении её по известным мне приметам.

В заулках у Семичевых пилят дрова. Бабушка Анна с тётией Алей шаркают пилой, а дядя Леша колет. Дрова у них всё берёзовые – жаркие. Густые запахи опилок и свежего морозного дерева растекаются по всей улице. Тут и Ленка с куклой сидит на кряжике. У неё из-под белой шапки торчат две косички с красными бантами.

Хочу к ним подойти, но не решаюсь. Дядя Леша, чего доброго, обзовёт женихом, да и спросит еще: мол, долго ли ему сватов ждать, а я покраснею и ничего не отвечу. Тут и бабушка Ленкина не поможет, не оговорит своего сына. Дядю Лешу разве остановишь, он никому слова сказать не даст. Хорошо, что не видит меня, а то бы давно крикнул, как в прошлый раз, когда мы с дедом мимо проходили. А он ничего лучше не выдумал, как назвал меня дорогим зятем и сказал деду, чтобы он посыпал меня к невесте дрова в поленницу укладывать. От него не знаешь, чего и ждать. Зайду к Ленке как-нибудь в другой раз, когда его дома не будет.

А у дома Мары Цветковой весь снег утоптан и припорощен зеленовато-желтой и серой трухой. Вчера здесь взвешивали и делили сено, накошенное на проценты. Его привезли с близких и дальних колхозных делянок. Крику-то сколько было, до ругани доходили. Сено-то разное, худое никто брать не хотел. Так пришлось разыгрывать, тянули жребий, иначе не разделить было. Нам повезло, у бабушки нашей рука легкая, сено досталось не с болота – не пыльное, не грубое. Я ехал до двора на возу и слышал запахи зелёного луга и даже пробовал сено на вкус.

После этой делёжки бабушка с дедом долго вздыхали: дескать, как поглядишь на людей-то, да послушаешь, что они друг о друге говорят, так и сена никакого не надо, это до чего же народ можно довести – сосед соседу добра не пожелает и на утро из-за клочка сена «здравсте» не скажет…



Я всегда думал, что в деревне нашей мы живём дружно, зла друг на друга не держим, но, оказалось, и наши однодеревенцы не без камня за пазухой и случись что – за худым словом в карман не полезут. Слышал, как и бабушка моя давала отчет своим супротивницам, защищая себя и своё гнездо.

После этого, кажется, и на меня в деревне стали смотреть чуть иначе, не как на бессловесного и наивного мальчишку, а как на представителя рода Соколовых, к которому у каждой семьи свое отношение и не всегда дружелюбное, и, наверно, меня тоже как-нибудь за глаза обзывают.

Это всё меня, признаюсь, сильно расстроило, и я до сих пор не могу взять в толк, а как же дальше жить, если в деревне ко мне относятся теперь так настороженно. А может, я надумал много лишнего? На самом деле, может, всё идёт так, как надо? Может, иначе-то в деревне и жить нельзя? Ведь и солнце на небе не каждый день светит, бывают и ненастные дни, и неизвестно ещё, каких дней выпадает больше – солнечных или дождливых. Бывает и за один день погода несколько раз поменяется, чего уж говорить о нашем настроении.

И всякий раз, когда прохожу по сенной крошке, об этом вот и думаю и не могу никак успокоиться, а пора бы...

За деревней на белом поле под яркими лучами солнца выступают и блестят маслянистые пятна. В розовых сумерках поле бывает похоже на пряженец с золотистым и жарким отливом. И на гладких спинах сугробов, сгорбившихся у изгородей и кустов, появляется сахаристая корочка. Днём, когда пригреет, она рассыпчата, а к утру смерзается, хрустит и крошится, если вступишь на неё ногой. В марте снег часто меняет окраску. Он уже не зимний – рыхлый и пушистый, когда каждая снежинка горит и переливается. Он – весенний, грубый и смёрзшийся, и свет отражает огромными обледенелыми пластами. В марте воздух становится прозрачным. С неба спадает бархатная пелена морозной дымки и в ясные дни на нём проступает чистая до звона и атласная синь. Вот и сейчас она радостно плещется в голых кронах кленов и берез. Даже свет под окнами дома и тот, мерцая, струится из-под снега тонкими, как будто льняными, синеватыми волокнами.

У крыльца обтрепанным голиком сбиваю со штанов мерзлый снег, отряхиваю варежкой пальто и захожу в дом. С порога в нос бьёт запах йода и травы и сладко кружит голову.



---

Весна напоминает о себе и в избе.

Дед еще в феврале поставил в старую глиняную кринку бугристые ветки тополя. Клейкие почки цвета темного пасхального яйца набухли и, дразнясь, высунули на волю нежные зеленые язычки.

Щеки у меня горят. Прикладываю ладони к теплой печке. Снег на штанах начинает таять и каплями чистой росы с мокрого начёса скатываться на крашеный пол.

– Скорей бы водополь! – вздыхаю, и слышу из кухни голос бабушки:

– Вовульк, разоболокайся. Творог остывает...



## МАСЛЕНИЦА

### 1.

Пробуждаюсь от сладкого запаха блинов и разговора.

У нас на кухне сидит гость. По голосу не узнаю, кто-то чужой. Вслушиваюсь:

— Три дня был в Сумарокове. Товарища навещал. Вместе воевали. Он в инвалидном доме живёт. Поспрашивал у здешних, нельзя ли в Костому направляться — через лес, не возвращаться же в Галич. Никто не знает. Дойти, говорят, до Попова. Вот я и пришел. Понял, что дороги нет. Ищу лыжи охотничьи. На лыжах-то всяко добрался бы — и по снегу. Посоветовали к Михаилу Семёновичу обратиться, у него, говорят, лыжи есть. Вот я к вам, Анна Егоровна, и постучал. Уж не удивляйтесь. Может, и не ко времени...

— Сам-то в бане, скоро придёт, — привечает бабушка. — Лыжи-то у него старые, поди, уж и не скользят. Не помню, когда и вставал на них. А когда в лесниках был — вот когда. А Вы сами-то издалёка ли путь держите?

— Иду я с Валаама, Анна Егоровна, жил там в Доме инвалидов войны. Пять лет жил, фронтовик я, оттуда сестра родная забрала в Ленинград. Пожил у неё, вижу — в тягость. У неё своя семья. Родом-то мы из-под Костомы. Чай, бывала в наших краях? Недалёк путь. От вас лесом-то, сколько будет до Тёбзы?

— Километров восемь.

— Ну, вот — всего-то. Потянуло на родину. Не по душе мне город, не моё там, не могу и всё тут. Хоть режь, а без родной земельки душа не на месте...

Гость замолчал. Зашуршал пачкой папирос, а я, как услышал, что он из-за леса, так у меня сердечко и забилось. Для меня залесский край — страна неведомая, а люди залесские — существа неземные. И мне сразу на него захотелось посмотреть.

— Бабушка, — подаю голос.

— Или проснулся? — откликнулась она. — Одевайся, да приходи. Каша ждёт...

Выхожу на кухню, а меня встречает бородатый мужик. У нас в округе я никого с бородой не видел. Глаза у него добрые и влажные, слезой смоченные. Глядит распахнуто и живо, будто теплом с ног до головы обволакивает. Свет из них так через край и плецется.

— Как зовут молодца?

— Вова, — отвечаю и почему-то совсем его не боюсь, как будто знаком с ним всю жизнь.

— А меня дядя Паша, — он подает мне ладонь. Смело кладу в неё свою ладошку, и он пожимает её бережно, но по-настоящему. — С красной Масленицей тебя, мил человек, с праздником весёлым.

Дядя Паша и улыбается, кажется, по-праздничному, борода у него шире становится, в ней и улыбка не скоро наружу высовывается, но вот она выпутывается из суровых седин и по губам растекается маслянисто и щедро, а губы у дяди Паши малиновые, сочные, словно брюквой накрашенные.

— Вон сколько блинов бабушка напекла. Я уже попробовал, так во рту и тают...

Не умываясь, подхожу к столу и отрываю от желтого ноздреватого блина коричневую подгоревшую корочку.

— А ну-ка быстро умываться!

Бабушка смазывает черную сковороду пестрым куриным крылышком. Масло шипит и, пузырясь, с дымом разлетается по ней белыми водянистыми шариками. Потом из зелёной кастрюли зачерпывает деревянной ложкой жидкое тесто и разливает его по раскаленной сковороде. Блин скворчит и, пропитавшись маслом, из белого превратился в золотистый.

Протираю глаза ледяной водой и обмахиваю лицо вафельным полотенцем. Дядя Паша сидит на лавке у самовара, а я сажусь у окна на табуретку. Пиджак у дяди Паши черный, а рубашка под ним синяя в клетку, теплая и наглухо до последней пуговицы застёгнутая. Шеи под бородой не видно, волосы на голове смоляные и слипшиеся, будто лампадным маслом приглаженные, наверно, давно не мытые.

— Ешь, мил человек, не стесняйся. — Дядя Паша даже от стола отодвинулся и как-то виновато замигал, не зная, на чем



взгляд остановить, и снова повернулся лицом ко мне. — Коль позволишь, чаю с тобой выпью, да и пойду, благословясь...

Я не удержался, откуда у меня и смелость взялась, как и слова-то нужные на язык подвернулись, и спросил:

— Дядя Паша, а где твой дом?

— Где дом, говоришь, — дядя Паша погладил бороду, опустил руки на колени, а они у него жилистые, узловатые, как у деда, и опустил глаза. — А дом мой, мил человек, тут недалёко — за лесом. Недалёко дом-то, да вот не знаю, как дойти. Думал, дорога есть, а бабушка сказала, дорога только до делянок. Теперь не знаю, как и быть. Попрошу у деда твоего лыжи, да и поеду через лес, чай, не заблужусь, а лето наступит, лыжи обратно принесу. Как думаешь, не откажет Михаил Семёнович, поверит...

Молчу, не зная, как и ответить, а сам думаю — хорошо бы дед поверил ему и дал лыжи. Сам-то он всё равно на них не встаёт. Но дед у меня человек осторожный, на слово не всякому поверит, а добро своё бережёт, даже старое всё хранит — не выбрасывает

А мне не терпится узнать, какие в его стороне люди и дома. Но спрашиваю о другом:

— А Жар-птица у вас живёт?

— А ты и про неё знаешь! — Дядя Паша улыбнулся в усы, глазами сверкнул, как сказочник, потом оправил ладонью нарядную бороду, будто паутину с неё снял, и говорит, чуть подавшись ко мне, но уже не громко, как давеча, а полушепотом, как что-то секретное и не каждому дозволенное сообщает:

— Живёт, мил человек, живёт у нас такая птица. Другому бы кому не сказал, а ты, вижу, парень серьёзный, раз любопытствуешь. Врать не буду, самому видеть не довелось, а отец мой от деда своего слышал. Живёт Жар-птица на лесном озере, только близко к нему не подойти — жар не пускает, так и пышет. Там у неё дубовый насест и серебряное корыто с золотыми зёрнами. А ешё говорят, если кто увидит её, тот ослепнет — оперенье у неё из живого огня. А если кто её прогневит, то жди пожара...

Дядя Паша переводит дыхание и откашливается, а я уже знаю, о чём спрошу еще:

— А солнце тоже у вас ночует?

— И солнце, когда садится, то с горизонта как раз и скатывается к нашему лесному озеру. Там Жар-птица, а у неё

клюв закалённый, с него окалину сбивает, это такой нагар на краях. Окалина падает в озеро и до дна его высушивает. На дне солнце и отдыхает. А когда утром встаёт и поднимается в небо, то озеро снова наполняется водой. И так каждый день. В ясную-то погоду и нам видно, как над лесом играют всполохи. Да и у вас, наверно, видать их. А это, мил человек, не гроза надвигается, это Жар-птица окалину с солнца сбивает. Вот как. Приходи в гости, сам и увидишь...

— Придём как-нибудь, — отвечает за меня бабушка. — Внук теперь не отстанет. Вот сил поднакопим и соберёмся. Так я говорю, Вовуль?

Я киваю головой, а дядя Паша протягивает мне открытку.

— Вот, возьми, на память, по ней я тебя и признаю. Это старинная открытка. На ней валаамская обитель. Оттуда я свой путь и держу.

— Ну, а теперь беги в комнату, — гладит меня бабушка. — Поиграй там. А мы дедушку встретим...

Я и сам слышу, как хлопнула на мосту дверь, и вот уже дед переносит через порог хромую ногу, а в руках держит два новых валенка...

## 2.

Через полчаса дядя Паша уже стоял на лыжах. Бабушка собрала еду в дорогу, дед дал ещё компас, чтобы не заблудился в лесу, а дядя Паша обещал летом всё вернуть.

— С масленицей вас, добрые люди! — поклонился он, прижал к груди бороду, нахлобучил на глаза шапку и уверенно зашоркал лыжами по огрубевшему с ночи снегу.

— Счастливой дороги! — Перекрестила его бабушка.

Мы стоим у пруда, пока дядя Паша не скрывается за амбарами. Господи, шепчу я, помоги ему, не оставь, не насытай метель, задержи на небе солнышко. Пусть он дойдёт до родной Костомы, а летом вернётся к нам.

Как же неожиданно и красиво началась у меня нынешняя масленица.

А впереди ещё ждёт встреча с Ленкой! В последние дни я часто думаю о ней. Хочется, чтобы она всегда была рядом. Я даже могу объяснить себе, почему мне нравится Ленка, а не Тамарка, хотя у Тамарки коса толще, а волосы шелковистее.



Ленка тихая, не дразнится, обновами не хвастается и пахнет от неё леденцами. При ней я не знаю, куда глаза девать. А стоит мне нечаянно с ней взглядом встретиться, как лицо моё от смущенья покрывается краской, будто тень от солнца пробегает.

Прохожу мимо Ленкиного дома с вениками для костра. Вот бы, думаю, и она сейчас появилась на крыльце, и мы бы с ней вместе спустились под гору. Я рассказал бы ей о дяде Паше и о Жар-птице, которая живёт за лесом на сказочном озере. Тамарка бы обсмеяла меня, а Ленка мне верит. Поглядел на окна, занавески не шелохнутся, в заулке тихо. Не заболела ли?

Иду один и жмурюсь. Так много вокруг света. Солнце слепит глаза, отражаясь от чистого снега. Сочные тени от берёз, изб и столбов полосуют и пятнают деревенскую улицу, но и они пропитаны светом и отливают синью.

Куда не посмотрю, везде вижу приметы наступившего праздника. На проводах сидят рядом домовитые воробьи и переливчато в голос заливаются. В саду у тёти Лиды Цветковой висят выстиранные простыни, и они такой ослепительной белизны, что рядом с ним меркнет даже сам снег. А в заулках и под окнами изб, на задворках и у самых крылец отсвечивают на солнце золотые россыпи опилок и веселые горки наколотых дров. Поленья похожи на спички, высыпанные из коробка, а еще они напоминают мне наципированную впрок лучину для долгих зимних вечеров. Кажется, поленья еще хранят в себе и напевы пилы, и радостное эхо звонких топоров, и сухой треск нахрапистых колунов.

Мне кажется, я слышу звон сережек на ольхе, и перестук чещуйчатых шишечек на столетних елях, что стоят за рекой на Мысовке, и даже на речных промоинах, где деревенские женщины полощут бельё, улавливаю серебряное журчанье Гремячки. Спускаюсь на пригорок, с которого мы катаемся по насту. Здесь дядя Толя Осипов раскладывает на снегу костер. Колька стоит рядом и кольцами сдирает с берёзового полена пятнистую бересту. Шелковистая шелуха прилипла к его мокрому подбородку, и белеет тонкими ленточками на черном козырьке шапки.

Подхожу и кладу на осиновые дрова два своих жидких веника.



— А чего не здороваешься, — дядя Толя исподлобья посмотрел на меня и с хитринкой улыбнулся. — Али баушка не научила?

— С праздником! — говорю. — И здравствуйте!

С горы спускаются девчонки. Где же они были, и как мы с ними разошлись? Ленка несёт пачку газет, а Тамарка тащит по тропе обломок жерди.

— Ну, всё, бегите по изbam и запасайтесь дровами, — выпрямляется, покряхтывая, дядя Толя, — а я пойду на конюшню запрягать лошадь...

### 3.

До обеда мы бегаем по деревне, стаскиваем и свозим на санках к костру всё, что нам дают хозяева — кто прошлогодние веники, кто вязанку дров из поленницы, кто охапку соломы со двора, а кто поношенные тряпки — для наряда Масленице. И в каждой избе нас угожают блинами. Мы едим, не отказываемся, а у самих уже полные животы, но, глядя друг на друга, жёём и запиваем, у кого чаем, а у кого молоком.

У Марьи Васиной Ленка украдкой сунула мне свой блин, я и его съел за милую душу, и показался он мне самым вкусным! Блины блинами, а в красный сатиновый мешок складываем сладкие подарки — шоколадные конфеты и карамельки, сдобные витушки и пирожки с начинкой, леденцы и фруктовый сахар. Будет чем у костра вечером полакомиться!

После обеда собираемся у конюшни: Колька, Ленка, Тамарка и я. Нас встречает дядя Толя. Его и не узнать. На шапке красный бант привязан, щеки свёклой подрумянены, а полушибок желтым кушаком подпоясан. По этому случаю он даже сапоги белые надел. Стоит, улыбается, подбородок выбрит и от блинов лоснится. Глаза хитрые, но добрые.

Запряженная в сани Цыганка в нетерпенье перебирает копытами взбитый снег. В гриве у неё тоже краснеет атласный лоскут. Под дугой поблескивают медные бубенцы, а к чересседельнику привязаны бумажные розы.

— Ну, седоки, прыгай по одному, — строго говорит дядя Толя, и мы с разных сторон, толкая друг друга, с визгом и хохотом залезаем в сани.

— Держитесь крепче!



Дядя Толя причмокивает губами, понукает лошадь и подергивает вожжами. Сани под нами дрогнули и со скрипом тронулись с места. И как только Цыганка выпрявила из рыхлого снега на укатанную зимнюю дорогу, сани по ней заскользили легко, и под нами запели обитые железом полозья.

Дядя Толя раскручивает над головой вожжи и подхлестывает Цыганку по лоснящимся на солнце бокам. Лошадь не обижается, ей и самой в охотку весёлая поездка, но по привычке всё же фыркает. Но вот она меняет ногу и, почувствовав ход, резко подаётся вперёд по знакомой деревенской улице. И вот уже ничего не слышно, кроме скрипа саней да гулкого и надрывного лошадиного хрипа.

Мы жмуримся от ветра и прикрываемся руками от снега – жгучего и колкого, летящего из-под копыт

– Э-э-гей! – кричит Тамарка. – Здравствуй, Масленица!

– Э-э-гей! – кричу я и бросаю в неё рыхлым снегом.

Тамарка смеётся и, выхватив из-под Кольки клок сена, тоже бросает в меня, но ветер подхватывает сено и разносит его по полю. Ленка сидит рядом со мной. Щеки румяные. Из-под шапки выбиваются золотистые волосы, а на ресницах дрожит снежная пыльца. Она вцепилась обеими руками в сани и глядит вперёд.

Внизу на выезде из деревни сани на повороте начали крениться набок, и у меня от страха перехватило дух. Вспомнил, как несла нас с горы бабушкина Майка, и мне снова стало страшно, но виду не подаю, смеюсь и оглядываюсь на Ленку.

Дядя Толя резко натянул вожжи и осадил разыгравшуюся Цыганку. Звякнула о зубы железная уздечка, и лошадь, послушная вознице, неохотно, но покорно перешла на нервный, отрывистый шаг. Сани натужно скрипнули, правый полоз оторвался от земли и завис, но тут же, тяжело ухнув, опустился на дорогу. Мы на мгновенье притихли, растерянно оглядели друг друга, а потом от радости закричали громче прежнего:

– Мас-ле-ни-ца!

Мы ешё раз объезжаем вокруг деревни и на пригорке выпрыгиваем из саней. У костра стоят взрослые и ждут нас, чтобы поджечь соломенную Масленицу. Она, похожая на огородное пугало, возвышается над костром, но не в грязных лохмотьях, а в праздничном наряде из старых женских кофт и платьев.



---

Спичку в костёр бросает дядя Саша Цветков, наш сосед. Огонь жадно набрасывается на сухие листья и, потрескивая, они, как раскаленные снежинки, взлетают в небо и тают в клубах бело-голубого дыма. А мы, завороженные им, бросаем в костер припасенные веники и прыгаем вокруг костра, увертываясь от горящих хлопьев. Пламя мечется из стороны в сторону, и так яростно, что мы, прикрывая глаза ладошками, пятимся от него на самый край откоса, едва не падая.

Даже старая яблоня протягивает к теплу корявые ветки, и на черном колодезном срубе выплясывают отблески весёлого огня.

Бездуржное веселье царит в наших душах. Взрослые и те стали прыгать через костер, когда огонь в нём поутих. Я толкаю Ленку Семичеву в снег и сам, как будто невзначай, падаю в сугроб рядом с ней. Уж так хочется мне поцеловать ее в румянную и теплую от огня щеку. Но упал я как-то неловко и больно стукнулся носом о ее висок. От Ленки опахнуло дымом и конфетами.

Она не обижается, смеётся и забрасывает меня мокрым снегом. А я тоже смеюсь. Мне так не хочется, чтобы праздник кончался. Но по-воровски подкрадываются густые мартовские сумерки. Костер осел в снег. Пламя перебирается с головешки на головешку – лениво и сонно.

Приходит дядя Толя Осипов и забрасывает остатки костра снегом.

– Всё, Масленицу проводили – пора домой!

Прощай, масленица!

Прощай до будущего года! – кричим мы, поднимаясь в гору...



## ЧУДО

В простенке над комодом у нас висит радио. Маленький ящик в красной деревянной оправе с желтым матерчатым кружком посередине. Человека нет, а я его слышу. Правда голос его часто меняется. Утром пристуженно сипит. Днём трескуче шелестит, а вечером переходит на вкрадчивый шепот. А вчера радио умолкло совсем. Я так расстроился, что залез на печку и украдкой поплакал.

— Почему оно не говорит? — спросил у деда.

— Провода ветром захлестнуло, — спокойно ответил он, как будто ничего не случилось. — Завтра починят.

Когда я остался один, то не удержался, подошел к немому ящику и постукал о тряпицу пальцем — тишина. Я подал в таинственный кружок свой голос, но из него никто не отзывался. Говорящие люди как сквозь землю провалились. Тогда я снял радио со стены и рассмотрел с обратной стороны, но, кроме запыленного картона и железного блюдца с проводами, ничего там не нашел и не увидел. Чудо — да и только! Я уже так к нему привык, что без него чувствую себя в избе одиноко и сиротливо.

В это апрельское утро просыпаюсь ровно в шесть. По радио, включенному на полную громкость, заиграл любимый гимн. Я так обрадовался, что соскочил с кровати и, обжигая на ледяном полу босые ноги, подбежал к бабушке и, запрыгнув к ней на колени, крепко обнял за шею.

— Слава Богу, починили! — шепчу ей. — Они к нам вернулись!

— Кто? — удивляется бабушка.

— Да они же — живые человечки!

— Какие человечки?

— Живые, которые сидят у нас в радио!..

— А-а, — успокаивается бабушка и целует меня в лоб. — Иди-ка, лучше спать, живой человечек...

Она на руках переносит меня в кровать. Гимн отыграл, а я, закутавшись в одеяло, лежу с открытыми глазами, смотрю в потолок и слушаю голос человека из другого неведомого, но такого родного мира.

По радио часто упоминают Ленина. Я спросил у деда, кто он и почему так часто о нём говорят и даже поют песни. Дед сказал, что Ленин — добный человек, всю жизнь делал людям добро и управлял после царя нашей страной. Я захотел стать Лениным. Пусть и обо мне все знают и говорят по радио. Я тоже буду делать людям добро и научусь управлять страной. Я настолько в это поверил, что у меня и сомнений не оставалось, что когда вырасту, то обо мне узнает вся страна, а дед с бабушкой будут гордиться своим внуком. Но свои мечты я держал в тайне и о своих взрослых планах деду с бабушкой не говорил.

Поворачиваюсь на бок и наблюдаю за бабушкой. Она чистит у печки картошку, а на её лице шевелятся живые язычки печного пламени и будто подкрашивают её бледные щеки. Я люблю, когда разгорается печка и пахнет дымком от бересты.

Дед с четырех часов утра стирает в бане валенки. Нет, думаю, надо вставать и мне, и снова соскальзываю с кровати. Смачиваю глаза ледяной водой из умывальника, стряхиваю, не вытирая, руки, и сажусь у окна. Упираюсь локтем в подоконник, подпираю ладошкой подбородок и смотрю на улицу. В саду, куда выходит окошко, едва угадывается утро.

Я так сижу каждое утро, и вижу, как вочных еще сумерках закипает свет нового дня. Неожиданно голос человека, говорившего из радио, перестроился радостный и торжественный лад.

— Человек в космосе! — только и смог я повторить вслед за ним. — Человек в космосе...

Я не представляю, что такое «космос», хотя дед мне про него и говорил. Это не вселенная, космос ближе, но и он очень высоко над землей — за облаками, и что именно туда, куда не долетают даже птицы, и взлетел человек, покружился над землёй и вернулся обратно. Какие же сильные и большие надо иметь крылья, чтобы так высоко подняться и сколько сил, чтобы не устать и не упасть!



Я помню, как во сне летал на печке, но это был не космос. Космос там, где нет света. Он ближе к звёздам и к луне. Я видел, как летом парил над нашей деревней безмолвный и хитрый ястреб. Вот так, наверно, парил над землей и он, человек, научившийся летать.

Имя его я запомнил сразу – Юрий Гагарин. Я даже вспомнил песню о гагаре. Её пел Коля Михайлов из Соломинина, когда приходил к нам лечить корову. Бабушка потчевала его вином, и он, захмелев, за столом пел и плакал.

А еще про Гагару мне рассказывал дед. Когда мы с ним однажды любовались разливом воды под Ивашевым, над холмами пролетали утки.

– Гляди, гляди, – дед тыкал пальцем в небо. – Видишь, утки летят. Над Костиным. Ну?

– Вижу, вижу, – обрадовался я, когда увидел стаю уток. Они летели устало над исаковским холмом в сторону Замятинова.

– А есть еще гагары, – сказал дед. – Не слыхал про них?

– Нет, не слышал и не видел.

– Тогда слушай, – и дед мне поведал про сказочную птицу гагару. – Когда еще и земли не было, а кругом стояла вода. Представь, ни холмов, ни деревень, ни лесов – одна вода без конца и края и пустое небо над ней. И плавала на воде птица гагара. Долго плавала, пока ей не стало одиноко и скучно. Вот тогда и нырнула она, чтобы хоть что-нибудь под водой найти. Три дня под водой плавала, а когда вынырнула, то в клюве у неё был маленький кусочек земли. Положила она его себе под крыло, чтобы вода не затопила и чтобы не рассыпался. И стала земля расти. Вот уже и вода её не скрывает. Поглядела гагара на землю, а земля-то сырая. Тогда птица махнула крылом, и на небе появилось солнце. Оно землю и обсушило, и стала она пригодной для жизни. Тогда только на ней и человек появился, а гагара стала с ним в дружбе жить. Вот и подумал я, услыхав фамилию Гагарин, а, может, это сын той самой гагары и летал в космос? Хотя по словам бабушки, и землю, и человека создал Бог. Наверно, гагара по его благословению творила.

Я смотрю на бабушку. Она сидит на табуретке, голову склонила чуть на бок. Из-под платка, сдвинутого на затылок, шевелится огненное от печного жара ухо и к чему-то напряженно прислушивается. А с лезвия ножа падают на пол мимо помойного ведра грязные картофельные корки

— Когда вырасту, я тоже полечу в космос? — говорю бабушке.

Бабушка вздрагивает и крестится.

— Господи! Спаси его и сохрани!..

— Куда ты-то собрался?

— В космос.

— Ну-ну, не ноне ли? Летал бы пока с печки на полати...

Из бани вернулся распаренный дед. На валенках, ещё не остывших, путается белый ленивый парок.

— Случилось что? — спрашивает дед, увидев нас с бабушкой и почувствовав что-то неладное.

— Человек к Богу слетал, — отвечает ему бабушка и, думая о чём-то своём, с бульканьем роняет в чугун очищенную картофелину.

— Куда слетал? — не понял дед.

— В космос — вот куда. По радику передали...

Дед в раздумье подходит к приёмнику и прибавляет звук. Музыка почему-то сразу умолкла, а радио зашипело. Не сломалось ли опять, думаю, но через минуту знакомый голос, как будто специально для деда, так же радостно и торжественно и ему сообщает о том, о чём мы с бабушкой уже давно знаем.

— Неужто правда? — сокрушаётся бабушка, подбегает к окну и смотрит на небо. На улице брезжит вялый и робкий свет наступающего утра. — Может, и правда к Богу летал. Может, и виделся с ним?

Я тоже гляжу на небо, но ничего, кроме серых облаков, не вижу. Изо рта у меня вырывается пар и тут же застывает на мокром стекле белесым туманным облачком. Изба за ночь выстыла.

— Он, наверно, и наш дом из космоса видел? — спрашиваю у деда. — Вот бы посмотреть оттуда на нашу деревню.

— Не знаю, чего он там видел, а раз вернулся, значит, расскажет...

Дед отрывает листок от численника, долго на него смотрит, а потом глубокомысленно говорит:

— Двенадцатое апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года...

— Чего бубнишь-то? — сердито переспрашивает бабушка. — Говори громче-то!..



---

— Да ведь сегодня у мамки твоей день рождения! — дед глядит на меня — А это, знать, такой подарок ей — от самого Юрия Гагарина!

— Мыслимо ли дело, — не унимается бабушка и, обмакнув о подол платья руки, снова упирается лбом с оконное стекло и, сощурившись, вглядывается в затянутое тучами небо. — Господи, помоги ему, — сокрушенно качает головой.

— Вот тебе и Господи, — дед перекрестился на икону, вздохнул и увернулся под потолком керосиновую лампу. — Ай да человек! Вот ведь какое хитрое удумал дело. Чудо, да и только...

# БАНЯ

## 1.

Уже с вечера в пятницу я усыпаю в предвкушении субботней бани. Просыпаюсь и чувствую, Баннушко – дух банный – уже в избе. Его не видно и не слышно, но он везде. Он и деда вдохновляет чуть свет на дела, и бабушку – на кухню, и в меня вселяется, когда я сплю. Всех он с утра настраивает на праздничный лад. Вот и сейчас лежу на кровати и такое у меня радостное настроение, что не высказать, так на моей душе хорошо, что я готов обнять весь мир и всех пригласить в баню.

В окна затекает солнечный свет, его так много, что он уже заполнил всю избу и плещется у потолочных перекладин. Я окунаю в него руку, как в стоячую прудовую воду, теплую и ласковую, и разгоняю свет по углам, как дым или пар, чтобы и там он расцвел застоявшиеся сумерки.

Одеваюсь и выбегаю на крыльце. Небо чистое, солнце зорное, а даль ясная. Синь сквозит по низинам между холмами. Снег в заулке осел, и в нём уже нет мартовской белизны с масляными пятнами. Ветки на берёзах обмякли и потемнели, не колготят, как коклюшки. Ещё вчера кора тополя была бледная, а сегодня набрала зелени и как будто потеплела, и слепые, спеленатые почки на ветках сразу почувствовали тепло и подставили холодные бока под лучи щедрого солнца.

Дед сказал, что на неделе в Сумароково прилетели грачи, а значит, и баня нынешняя будет грачиной. У нас с дедом каждая баня имеет своё имя – ягодная и грибная, сенокосная и огородная, журавлинная и рябиновая, сиреневая и огуречная. На какое время и какую погоду, на какую ягоду или какой овош выпадет суббота, так баню и называем, тому банный день и посвящаем. Смотрю на сумароковский холм, на белую колокольню и на кладбищенские берёзы с черными шапками гнёзд. Прислушиваюсь, и различаю морозный шелест и лучинный треск грачиной перебранки. А у нас под окошком пока только воробы бурлят, как ручейки, да вороны с сороками бранятся у сытной помойки.



А весна уже, что ни говори, стоит у порога!

2.

Бегу в баню. Дед давно в ней хлопочет. Я знаю, сколько у него там работы: выгрести угли и ссыпать их в жаровню, пртереть с песком черные от краски котлы, вымести мусор и в углах сбить тряпкой осевшую после битья шерсти пыль. Не велик я помощник, но и без меня деду не обойтись.

— Пришел, внук дорогой, — обрадовался дед, он стоял над котлом со щеткой в руке, у него уже на лбу пот выступил и волосы слиплись. — С Баннушком-то поздоровался? Он сегодня добрый. А тебе наказал, чтобы дров принёс. Я тут скоро с котлом управлюсь, воды натаскаю, а там и печь затоплять будем.

Я побежал к поленнице. Она рядышком, слева, как дверь на улицу откроешь, но не со стороны сада, а с другой, которая на конюшню смотрит. Тут поленница и стоит, прикрыта сверху облезшими горбылями. Набираю беремя, а оно у меня маленькое, поленья берёзовые да осиновые, звонкие с мороза, друг о друга стукаются, будто перекликаются, належались за зиму-то, бока затекли, вот и балуются. Три моих беремя — это одно дедушкино. Ношу дрова без устали, мне такая работа в радость.

Нравятся мне и банные запахи. Я слышу их и вдыхаю: жженых кирпичей, когда приношу с улицы дрова; кислой шерсти, когда у печки вытряхиваю из подола рубашки щепки и стружки; серого мыла, когда сижу на лавке у единственного в бане окошка и обдираю на растопку с березового полена упругую и шелковистую бересту.

Наша баня стоит в саду. Такая же, как у всех, но только в ней есть душ — один на всю деревню. Дед приспособил под него обычный тазик. Припаял к нему трубку, а к трубке прикрутил консервную банку с дырками на дне и приделал медный кран. В тазик дед наливает воду и ставит его на два железных крюка, вбитые в потолок. Откручивай кран и вставай под россыпь теплого моросящего дождя! Помыться под душем напрашиваются порой и соседи...

— Дров пока хватит, — встречает меня дед с очередной вязкой.  
— Пора веники припасать.  
— Сколько?

— Как всегда — парочку.

Вообще-то, я побаиваюсь подниматься на чердак один. По ночам там кто-то похаживает. Но сегодня день особый и дело неотложное.

### 3.

Иду и с Баннушком разговариваю: «Ты уж меня, Баннушко, не оставляй, нечисть всякую прочь отгони, а мне смелости прибавь, чтобы не страшно было. Ты уж, родимый, пригляди за мной, огради от злых духов, не дай на лестнице оступиться, темь дворовую просветли...»

Иду через двор, а мне в каждом углу чудится сила нечистая, но я виду не подаю, иду, как ни в чем ни бывало, и даже песенку пытаюсь насыпывать.

Иду, а сам думаю, какой же у нас большой дом. Всё под одной крышей — дедова прикрытина с плотницким инструментом, двор с сеновалом, чуланка, зимовка и летняя изба с терраской и крыльцом.

Слышу, корова, Дочка, с хрустом жуёт сено и шумно вздыхает, прислушиваясь к шагам. Догадалась, что идёт не бабушка, и к моей особе сразу всякий интерес потеряла, отвернулась к слепому окошку и сыто отрыгнула воздух.

Двор — это её царство. Тут корова главная. Все живут под её началом и слушаются. Тут и сынок Дочкин — Буянко. Как морозы спали, так его из теплого закутка за моей кроватью на двор перевели. Теперь он обживает новую загородку.

— Буянко, — спрашиваю шепотом, — Как тут тебе живётся — без меня-то? Не мёрзнешь ли?

А он услышал и тут же оживился: и носом заводил, и хвостом по боку запришлёпывал, и копытами по навозу зачавкал.

Услышали мой голос и овцы в омшанике: ягнята тут же дружно задробили копытцами по настилу, будто град по крыше прокатился. Они-то подумали, это бабушка им картошку толченую несёт. А овца строго по-матерински осадила их, подала для острастки сиплое, будто простуженное блеянье. Отозвались на моё появление и куры с петухом. У них на дворе свой угол, а в нём насесты из ольховых жердей. Сидят и не падают. Уж если только какая несушка задремлет, да коготки расслабит, тогда может и оскользнётся на жердочке, но тут же



и спохватится, крыльями спасительно захлопает и закудахчет с испугу. Они по двору гуляют свободно. У них и в сене гнезда свиты, и в коробках бумажных, и даже в корзинках плетёных. Бабушка каждый день собирает в них яйца. Бывает, правда, какая курица и тайком несётся, но бабушка знает, где искать её новое гнездо. На дворе стоит густой, тёплый и сытный дух, настоящий на сене, навозе и всех дворовых запахах. Двор – это хозяйство бабушки. Оно у неё хлопотливое, требует за собой приглядя и днём и ночью. А под началом деда – прикрытия и бани.

Подволока тоже бабушкина канитель. Деду с его ногой по лестнице подниматься неудобно, да и опасно. Он туда без надобности и не ходит.

Прохожу без опаски двор и поднимаюсь на мост. Справа от меня – сеновал. С осени он до стропил завален сеном, а к весне сено заметно убывает, и под крышей без потолка открываются серые стены, похожие на стиральную доску.

Слева – лестница на подволоку. Поднимаюсь наверх без боязни. Баннушко идёт впереди меня, а я уж, как водится, за ним. Вдвоём-то с ним я хоть куда заберусь, даже в самый темный угол сеновала. На подволоке свои запахи. Тут пахнет застоявшейся пылью и чуть-чуть глиной и дымом. В углу у печной трубы, где вповалку свалены кули с шерстью, мерцает сквозь щелку в крыше бледный болезненный свет. Из-за кулей, просвечивая чердачные сумерки зелеными глазами, вышла Муська. Увидела меня, хвостом виновато завиляла и миролюбиво замурлыкала, а сама плутовски облизывается и от удовольствия потягивается. Вот и тут есть живая душа! Рядом с ней грех чего бояться.

Из-под дранки и со стропил свисает зыбкая паутина. На жердях, приколоченных дедом, висит ненужная конская упряжь, зимние полущубки, мотки ниток и даже кирзовые сапоги. Между жердями бабушка навязывает верёвки и развесивает бельё на просушку. Есть отдельная жердь и для веников. Вот они – взъерошенные, с сухими листьями висят парами на перекладине. Кажется, за зиму они истосковались по кипятку и сами просят мне в руки. Снимаю одну связку, шорох стоит на весь двор, встряхиваю и по-хозяйски неторопливо спускаюсь по лестнице вниз.

Веники оставляю на лавке, где стоят вёдра с колодезной водой, а сам захожу в избу проведать бабушку.

## 4.

В избе нос щекочут сдобные запахи. Бабушка истопила печь и напекла пирогов. Пряный дух кружит голову. На шестке, обжигаясь, беру из противня витушку с маком. Не мог удержаться. Одну съел всухомятку, а вторую запил молоком. Мог бы и третью проглотить, но не стал, чтобы не портить аппетит. Он и так не на шутку разыгрался, как только я переступил порог. В передней пахнет прудовой водой. Бабушка уже натёрла полы, раскатала половики, отмыла в окнах стёкла, а сейчас обтирает тряпкой листья фикуса. Они у него как у кувшинки на омуте, только без цветов да пожестче и потолще.

— Ну, как управляетесь? — спрашивает бабушка. — Не загонял тебя дедушка?

— Нет, — отвечаю, — мне Баннушко помогает.

— Баннушко и мне всё утро потрафляет, за что ни возьмусь, всё в руках горит. Вот бы каждый день так, а нет — только по субботам на хозяйство выходит. Ай да Баннушко! И на том ему спасибо!

На столе остывает утюг с углями. Дымком ещё от него тянет, но еле-еле, а больше пахнет ситным и уютным теплом от выглаженного к бане белья. Люблю этот запах! В нём тоже, как и в запахе от пирогов, есть праздничная радость.

Чистота в избе ещё и солнцем просвечена, лучи, проскользнув сквозь намытое стекло, падают на пол золотыми прозрачными лопастями, только широкими, не как у садового пропеллера, а в них — ни пылинки ни кружится, ни соринки ни плавает. Я даже виновато посмотрел на свои валенки и подумал: надо было снять в прихожей. Не догадался.

— Ну, я пойду, — говорю бабушке и выбегаю на улицу.

День, как сказал бы дед, вызрел красовитый, как по заказу. Снова смотрю на сумароковский холм и вижу, как над берёзами шумно празднуют своё возвращение грачи. Я слышу их дружный грай. Так они радуются встрече с родными гнёздами и со всей нашей округой, а значит, и со мной.

В баню прихожу с вениками. В ней уже пахнет свежим и вкусным дымком. Его аппетитный запах не спугнешь ни с каким другим. В печурке под котлом пластиается пламя, оно скворчит, закручивая бересту, и стрекочет, постреливая искорками от жарких березовых поленьев.



Люблю эти весёлые минуты, когда огонь, еще не уставший, резво и жадно хватается за каждую щепку, набрасывается на лучину и поленья и вмиг такую набирает силу, что ему в печурке становится тесно. Он, как крыльями, хлопает по печным стенкам и с ломовым гулом просится на волю, будто хочет выплыснуться из узкой трубы в безбрежное небо.

— Ну вот, Баннушко, и тут не подвёл. С первой спички печка занялась, а какая тяга в трубе! Слышишь, как огонь-то ломится, того и гляди из трубы выскочит. Баня нынче по имени-то какая?

— Грачиная, — отвечаю.

— Верно, внук, говоришь. Видел грачей-то?

— Видел и даже слышал.

— Вот и ладно. Теперь будем ждать, когда баня прогорится, а потом дадим ей выстояться, чтоб угарного духа не было. Баннушко и тут нас убережет. А теперь пора в избу — обед, поди-ка, стынет...

## 5.

Ждать осталось недолго, но какое же оно мучительное — ожидание бани. После обеда я сходил на гору и еще раз послушал грачей. Баня-то всё-таки грачиная! Я не знал, как сообщить об этом птицам. Одна надежда — на Баннушко. Уж он-то даст им знать, не подведёт.

С нашего холма далеко видно. Я часто прибегаю за деревню к одинокой черёмухе, от которой тропка спускается под гору. Отсюда открывается даль неоглядная на ближние и дальние холмы и широкие между ними низины. В ясный день, такой как сегодня, вся округа, доступная глазу, как на ладони. Что за горизонтом, не скажу — не видел, но всегда так хочется заглянуть за край леса, хотя бы одним глазком.

Я ездил с родителями только до Брызгалова, до родной деревни папы, а чтобы до неё добраться, надо обогнуть не один холм — чубыкинский, исаковский, костинский, ивашевский, жаровский. На иной надо и подняться по крутыму склону. Может, не все и назвал, а названья у холмов от деревень, которые на них стоят. И во всех деревнях живут люди и в каждой есть мои сверстники, с которыми я скоро увижуся в школе.



---

Среди них даже есть мои родственники. Они живут и не ведают, что на свете есть я – Вова, внук Михаила Семёновича и Анны Егоровны Соколовых. Не знают, что у нас сегодня топится баня, и не догадываются, что я стою на холме, думаю о них, близких и далеких, и оглядываю нашу холмистую округу, где нам Бог дал появиться на свет.

На открытом месте – не в заулке, где тихо, – тут продувает влажный ветерок. В апреле он тоже с запахами: на вкус в нём и горьковатый запах древесной коры, пригретой весенним солнцем, и лошадиный дух обмякших дорог и нежный аромат не морозного со скрипом, а сырого, подтаявшего снега.

Скоро потекут ручьи, сойдёт снег, разольются реки, будет сочиться на склонах вода, а на дороге и тропках блестеть жирная грязь. А пока на холмах лежит белая с синеватым отливом снежная пелена, чернеют голые сквозные перелески и поднимаются разноцветные дымки над трубами тучных изб и худеньких бань.

Солнце скрылось за тучами. Тень накрыла округу. В воздухе сгущаются вечерние сумерки, а значит, скоро настоится баня, и мы с дедом пойдём париться.

Постою еще минут десять, подышу апрельским воздухом и пойду домой. Дед, наверно, уже спрашивал меня, не ровен час и бабушка хватится, начнёт аукать из заулка на всю деревню...

Вбегаю в избу, дед стоит с бельём в руках, а бабушка ему наказы даёт:

– Смотри, не жарь, по себе не меряй, о ребёнке думай.

– А ты не поддавайся, – увидела меня. – Нос-то живо ошпаришь...

Бабушка берёт подойник и уходит на двор.

– Готов, пострел! – дед оглядывает меня с ног до головы, будто во мне за это время что-то должно измениться. – Баннушко давно на полоке сидит, спрашивал, когда придёшь?

– Готов, – кричу.

– Ну, тогда вперёд...

Мы по снегу улицей не ходим, идём в баню через двор. Бабушка доит корову и ласково приговаривает:

– Доченька, радость моя, стой. Вот умница. – Корова не дед, не слушается бабушку, размахивает перед ней тяжелым хвостом.

– Я тебе задам! Дубца захотела? Стой, тебе говорят!..



Бабушка, отбиваясь от хвоста, хлопает Дочку рукой по животу.

— Стой, дура полубелая! Стой, ангел мой. Так-то вот, духонька моя...

Бабушка еще и нам вдогонку успевает прикрикнуть:

— Вы там шибко-то не поддавайтесь! Слышите, что говорю...

Но жарко уже и в предбаннике. Раздеваюсь быстро, но входжу в баню не без робости. И вот этой минуты я ждал целый день! Ждал, чтобы съежится. Мурашки разбегаются по рукам, как муравьи, семена ножками, хочется смахнуть их, что я и делаю, проведя ладонью от плеча до кисти, но они уже усыпали всё тело. Пол сырой, скользкий, из щелей тянет холодом, а над головой будто рой пчелиный гудит, готовый ужалить.

— Слабовато, вроде, Вовульк? — поводил дед рукой у потолка.

— Парку бы надо.

— Ага, — поддакиваю деду. Мне и самому кажется, что в бане прохладно.

Дед забрасывает пару ковшей в черный зев печки, и оттуда с шипением вырывается взбесившийся пар, ударяется в стену и разлетается по сторонам. Достаёт и меня. У меня аж дух перехватывает. Дышу, прикрывая рот ладошкой. Теперь от жары бросает в озноб.

— Ну как? — спрашивает дед. — Баннушко доволен, а ты?

Я киваю головой, но рот открыть не могу, пар обжигает. Дышу только ртом и не через одну ладошку, а через обе. Дед берёт меня руками за плечи, а пальцы у него, как угли раскаленные. Я выскальзываю из них, как намыленный, и сам усаживаюсь на горячую лавку у окна, на полок забираться не решаюсь.

— Париться, значит, не будешь?

— Ты меня тут похлещи, — прошу деда и подставляю спину.

Дед вынимает из таза истомившийся в кипятке веник, листья на нём обвисли, резко стряхивает, обдавая брызгами, под потолком, где жар, подсушивает и только потом не опускает, а звонко и смачно припечатывает его к моей спине.

— Ну как?

— Здорово!

Мне и правда хорошо. Веник мягко гуляет по спине, а распаренные шелковистые листья ласкают тело, обволакивая его жаркой истомой. Я беру у деда веник и хлещу себя по груди, но, как у деда, с оттяжкой — не получается.



Веник намок и отяжелел, а какой был лёгкий, когда я его нёс с подволоки.

Только сейчас я оглядываюсь по сторонам. Свет жидкий и липкий просачивается сквозь запотевшее окошко и вязнет в сырых сумерках. Рядом стоит бак с холодной водой, весь в испарине.

— Всё, теперь давай мыться...

Дед наводит мне в тазике воду и ставит передо мной. Я пробую воду кончиком пальца, терпимо, но от жары нагреваются края таза. Дед заправляет душ. Грех, быть в бане и под ним не постоять. Чувствую, тело обвыклось, мурashki исчезли, теперь можно дышать без ладошек. Глаза тоже присмотрелись. Из-под крышки котла дымится седой парок. Слышу, как крупными каплями, обжигая кожу, скатывается по спине огненный пот, капли его шевелятся и в волосах, вызревают в бровях и сползают по щекам, как тяжелые слёзы.

Дед трёт мочалкой мою спину.

— Скрипит, слышишь? — Радуется дед. — Значит, грязь недельную отпарили и смыли. Грязь не катается. Так бабушке и скажешь.

Я соскальзываю с лавки на пол и встаю под душ. Дед открывает кран, и на меня обрушивается горячий дождь. Вода струится дружно, как слепой ливень, застилает глаза, её так много, что я, зажимая нос, прихлёбываю воду ртом и отфыркиваюсь. Потом ставлю над бровями ладошки козырьком, чтобы вода не заливалась лицо, а я мог дышать. И всё-таки как здорово, что у нас есть настоящий душ. Стою под ним и ожидаюсь, пока последние капли не ударят мне по темячку.

— Вот так баня! — подбадривает дед, видя, что ядреный банный дух разморил меня и обессилил. — А теперь быстро одеваться!..

## 6.

Из бани выхожу чуть живой. Дед помогает мне одеться, а сам уходит париться. Я еще некоторое время сижу в предбаннике. Сижу и представляю, как сейчас дед нажарит, залезет на полок и даст волю венику. Глаза у него помутнеют, тело порозовеет, и при свете керосинового фонаря заблестят на груди, как рыбы



---

чешуйки, сердечки березовых листьев. Потом он обольется из кадки ледяной водой, и она зашипит на нем, как на каменке.

Когда вырасту, и я так попарюсь.

Да, и нынче двери бабушке после нас придётся тоже держать открытыми настежь...

В избу захожу не сразу. Минут пять стою на крыльце и смотрю, как апрельский вечер полыхает над дальним холмом огненным заревом – красным, как дедова спина.

Господи! Как хорошо!

Вдыхаю густой воздух, еще пахнущий солнцем, и смотрю на пустынную деревенскую улицу, застывшую в синих мерцающих сумерках. И такая она в эти минуты тихая и такая родная, что дух перехватывает.

Оставалась бы такой всегда...



## ПОДСНЕЖНИКИ

### 1.

Сегодня с Колькой пойдем на Гремячку за подснежниками. Утром я собрался идти к нему, но бабушка сунула мне в руки глиняную плошку с пшенкой и сказала:

— Сходи-ка, покорми куриц, а то я не успеваю...

Делать нечего, выхожу на крыльцо. На улице зябко и ветрено. Голые ветки рябины скребут на ветру по оконному стеклу. По небу над самыми крышами ползут из-за леса грязные тучи. Морозец ночью прихватил воду ледком. Желтым и мутным — в дорожных колеях. Светлым ледком окинул воду у подтаявшего по краям пруда. С утра лёд поблёскивает, а неровные его стежки, набросанные в спешке морозным утренником, темнеют и даже на солнце долго не дадут льду разойтись по швам.

По неприбранныму заулку бродят курицы. Петух, не видев меня на свету всю зиму, сразу настораживается. Оглядывает несущек и свысока грозно на них ропщет.

На крупе да хлебе за зиму курицы разбаловались, и по весне землю оттаявшую ковыряют брезгливо и без охоты. Бросаю им горсть пшена на картонку. На дробную россыпь курицы, как по команде, пропустили со всех ног к крыльцу и вразнобой застучали по серой фанерке отточенными клювами и зацокали по ней желтыми коготками.

Ветерок ворошит и перебирает на их взъерошенных спинках белые, будто накрахмаленные, пёрышки, а на головках куриц краснеют бледные резиновые гребешки.

— Куры, куры, куры, — стою на приступке крыльца и по-взрослому воркую с ними. Фанерка быстро пустеет, и курицы, успокоившись, старательно ищут пшено уже вокруг неё. Из такой же крупы бабушка и для меня варит по утрам маленький горшок каши. Его мне хватает на целый день.



Я отнес в избу пустую плошку и, сказавшись, снова выскакиваю на улицу. Мне не терпится поиграть с машинкой, которую дед подарил мне на День рождения. Вчера, вымыв машины, мы поставили их на стоянку под березой у нашего палисада. Выбегаю из калитки и не верю своим глазам — машинок под берёзой нет. Оглядываюсь, вижу на скамейке Колькину машину. Слава Богу! На крыше её кабины блестят замерзшие капельки дождя.

— А где же моя? — К горлу подкатывает слёзный ком, вот-вот и дыханье оборвётся. Сажусь на скамейку и слышу, как под моим сапогом что-то звякнуло. Наклоняюсь и немею — в пожухлой траве лежит моя машина. Осторожно её вытащиваю и, глядя на смятую кабину с искореженным кузовом, не могу сдержать слёзы. Смотрю на машинку и плачу.

Машинку переехала телега. Вот он и след от колеса. Еще никогда мне не было так обидно за себя и больно. Почему именно моя машина, а не Колькина попала под колесо? Ну, почему? Не сама же она выехала. Значит, кто-то вытащил её и бросил. Уж лучше бы тогда обе телега переехала. Нет, Колькина машина красуется на скамейке, целёхонькая, а моя в лепешку смятая валяется на земле.

И до того жалко стало мне самого себя, таким несчастным и обиженным я себя почувствовал, что не выдерживаю и, схватив с земли суковатую палку, стукаю что есть силы по злополучной Колькиной машине. Я уже не понимаю, что делаю, но с каждым ударом у меня прибавляется сил и злости. Я останавливаюсь, когда машина падает со скамейки и переворачивается вверх колёсами. Для верности я бью по ней еще несколько раз и, отбросив палку на дорогу, воровато озираюсь по сторонам.

На улице никого не было. Колькина машина, еще минуту назад сверкавшая, как новенькая, теперь валялась рядом с моей — такая же измятая и разбитая. Под зеленой краской холодно светилось голое железо, и только одно переднее колесо еще крутилось с противным ржавым скрипом. Я равнодушно смотрю на него и уже ни о чем не жалею. Сапогом заталкиваю машинки под скамейку и, не глядя под ноги, устало направляюсь по скользкой тропке вниз деревни к Колькиному дому.

Когда прохожу мимо изб, мне кажется, что из окон их кто-то смотрит мне вслед и, осуждая, укоризненно покачивает головой...

Я понимаю, что совершил большой грех, и нет мне за него прощения. И это не единственный мой грех, о котором пока никто не знает. Есть еще один, который, как уголёк, жжет меня изнутри и не дает покоя.

Я как сейчас помню: стою у порога в избе Марьи Васиной, только дверь прикрыл, тут же у косяка и стою, тут и вешалка справа на стене, а на ней хозяйские пальто и фуфайки висят вnavалку.

В деревне запросто зайти в любой дом, встать у порога и даже не проходить в переднюю. Никто не спрашивает, зачем пришел. Зашел и ладно, значит, захотел зайти. Если чего надо, спросишь, нет – постоишь и уйдешь. Зимой вроде как погреться заглянул.

Вот и стою у порога. Руку из мокрой варежки вынул, смотрю за Марьей Ивановной – она у печки хлопочет, знает, что я вошел в избу. Для порядку даже из-за переборки спрашивает: «Баушка-то дома?» – «Дома» – отвечаю. – «Ну-ну, и дед дома?» – «А дед в бане». – Уточняю. – «Стирает, значит» – итожит Марья Васина…

Вот и весь наш разговор.

А я тем временем нашариваю в бархатной пальтушке карман. Местами он жесткий с засаленными, как у овцы, прядками. Вот моя ладонь, как мышка юркнула в пыльную норку. От этого чувства меня даже в дрожь бросает. Я запускаю в чужой, знаю, что в чужой карман, блудливую ручонку, которая тут же почему-то покрывается склизкой испариной, и воровато, со жгучим любопытством обследую его содержимое.

А в кармане чего только нет: к липким пальцам пристают хлебные и табачные крошки, царапаются ломаные спички, шелушатся скорлупки от семечек, шуршат какие-то бумажки, похожие на скомканные фантики (любит, знать, и хозяйка сладости).

И вот в этой-то трухе я нахожу желанные и будто магнитом заряженные монетки, я их в кармане же и очищаю от крошек, но чувствую, как они захватаны чужими пальцами, они даже обжигают, будто чувствуют чужие руки – воровские. Но отступать некуда, вынимаю руку, зажатую в потный кулачок. Стою и не дышу, не спускаю глаз с занавески, за которой, чуткая на шорохи, шевелится хозяйствина грузная тень. Чувствую, пронесло.



Пяткой валенка отжимаю сипящую, как рваная гармошку, дверь (какая же она тяжелая и грубая) и выскользываю прочь из Марьиной избы, даже не прощаясь. Поскорей бы спрятаться где-нибудь за углом и посмотреть, что же плавится в моем кулачке?

Я выбегаю по дороге за окопицу и только там, огляделвшись по сторонам, раскрываю онемевший кулак и вижу на склизкой ладошке две серебряные (не медные) монеты – сальные и тусклые, как стенки самовара. Смотрю на них и думаю, что теперь они мои, и я могу на них что-то купить. Не знаю только куда их спрятать и снова зажимаю в кулаке.

Понимал в те минуты, что украл, но не мог взять в толк, кто меня надоумил и с чего это я вдруг решил по чужим карманам шарить. Никак опять бес соблазнил. Понимал, что если брать у себя дома, то это не кража, это даже не интересно, потому что вроде как в доме и так всё своё. Другое дело, взять чужое, то есть украсть в чужом доме и так, чтобы никто не увидел и никогда не узнал. Вот в чём вся хитрость, тут одного желания мало, тут ловкость требуется и терпенье, даже дерзость.

Помню, в деревню вернулся счастливый, решив, что с этого дня буду собирать клад, зарою его в землю до лучших времен, а когда стану взрослым, то выкопаю, чтобы распорядиться им по своему взрослому усмотрению...

Никакого клада я не скопил. Это была первая и последняя моя кража. Я и подумать не мог, что на утро меня начнёт мучить раскаянье, душить стыд. Я не знал, куда глаза девать, стоило мне увидеть Марью Васину, да что Марью, я не мог спокойно мимо их избы проходить, уши горели, и лицо заливалась предательская краска. Кажется, окна и те смотрели на меня с презрением и упрёком, у косяка дверного тоже глаза есть, да и пальтушка не бесчувственная, запомнила, наверно, мою руку. Я не знал, что делать. Хотел было бабушке сказать, но признаться ей смелости не хватило. Так и ношу грех в себе, а тут с машинкой еще один грех на душу взял.

А есть еще проступок, который преследует меня, но его к грехам я не отношу, потому что совершил во сне. Однажды мне приснилось, что мы с Колькой по насту дошли до низины под Мысовкой. День стоял теплый, и мы не заметили, как наст ослаб и перестал держать. Колька провалился первый, он тяжелее меня, да так неловко увяз, что никак не мог вытащить

валенок, снег сдавил его и не отпускал. Мне бы помочь другу, а я испугался и убежал, оставил его в низине одного. Колька просил помочь, а я даже не обернулся. Потом вроде одумался, но было уже поздно — проснулся, а Колька так и остался в низине. Мне порой кажется, что он и сейчас отчаянно кричит мне вслед и проклинает меня.

Но кто знает, а вдруг я могу так и в жизни поступить — ведь искорёжил машинку, в чужой карман залез? От этой мысли я всегда содрогаюсь и уверяю себя в том, что в жизни я друга в беде не брошу. Вот с таким настроением и с такими горькими мыслями отправляюсь я навстречу с Колькой...

## 2.

Кольку я нашел на задворках у бани. В новых блестящих даже в серую погоду сапогах с высокими голенищами он измерял наполненную водой канаву. По весне мы с ним всегда обходим все канавы, измеряя глубину каждой. И не было случая, чтобы кто-то из нас не зачерпнул в сапоги воды.

— Тише, — Колька стоит посреди небольшой ямы и, боясь оступиться, нащупывает ногой дно. В темной зеленоватой воде на мелкой ряби расплывчато отражается его бледное лицо с залихватским рыжим чубом на лбу.

— За подснежниками-то пойдем? — Напоминаю ему о нашем вчерашнем уговоре.

— Да тише ты, — он искоса зыркает на меня и грозит кулаком.

Вода уже подступает к краю голенища, вот-вот и через край захлестнет. Колька осторожно пятится и сердитый выбирается на берег.

— Сам-то попробовал бы, — обиженно буркает он, шмыгает носом и деловито сдвигает на затылок шапку.

— Так пойдем или нет, — переспрашиваю.

Колька, не глядя на меня, разворачивается на каблуках и направляется под гору. Я иду следом с неизбывным чувством вины перед ним. Иду и вспоминаю разбитые машинки, но говорить Кольке не решаюсь, да и как сказать, а врать не хочу. Уж лучше пусть всё так остаётся, раз решился на такой обман. Я и не думал, что на такое способен, а вот способен, скажи кому — ни за что не поверят. Мне даже страшно становится за



самого себя. Может, я и человека убить могу? Господи, прости меня грешного, вразуми и отпусти грехи мои. Я больше не буду так поступать, честное слово не буду. Это бес меня попутал и толкнул под локоть, это он меня на всё надоумил, а я не устоял, поддался. Прости меня, Господи!

На бугре у яблони мы остановились. От неё хорошо видна Мысовка и речка под горой. Колька смотрит на колодезный сруб и что-то в уме прикидывает. Он на всё смотрит с хозяйственным прицелом.

А я хожу вокруг яблони. Какая же она старая и корявая, сучки кривые, будто морозом изведенные, топорщатся во все стороны. Кора на стволе пепельная, шелушится и отпадает сухими коростами. Последний снег вокруг неё похож на серебряное, но потухшее ожерелье. Любуюсь им и вижу, как на моих глазах оно рассыпается тусклым бисером на смятых листьях прошлогодней травы, окинутых мышиной плесенью. Бисер, если прислушаться, сухо шуршит, потревоженный блудным и вороватым ветерком. К вечеру солнце, как курица, собирает по бусинке распавшееся ожерелье и унесет его на небо...

К роднику мы спустились не по тропе, а по крутыму и скользкому склону. На дне его даже в солнечную погоду всегда сумрачно и прохладно, а в жаркую и ветреную – сырно и тихо. Куда ни посмотришь, везде следы бурно отшумевшей речки. Берега её будто вылизаны бурной весенней водой. На низких кустах, прижатых к земле, висят спутанные травяные плети. Между камнями торчат застрявшие коряги и сучки, опутанные сеном и припорощенные песком и древесной трухой. В самой низине вязко и студенисто стынет еще не отстоявшаяся пепельно-серая и шоколадного цвета грязь. В глубоком овраге пахнет стылой водой и прелыми листьями.

Мы стоим у родника. Колька подставил под его серебряный язычок свой блестящий сапог и смывает с него мутную жижу, а я на вред ему перегородил ладошкой склизкий от зеленої тины деревянный желобок, и вода заплескалась через край. В ледяной воде пальцы мои тут же заломило. Я резко, как от огня, отдергиваю руку и засовываю её под пальто.

– Ну, и где твои подснежники? – Огляделся вокруг Колька. – Что-то не вижу.

– Смотри, – показываю рукой на склон. – Вон же они.



— Где? — Колька щурится и, ничего не увидев, разворачивает ступни и лесенкой поднимается вверх.

Я иду в противоположную сторону. Над мокрыми и вялыми листьями у самых корней деревьев тут и там синеют хрупкие цветы, похожие на струйки печного дыма. Вроде, и запаха от них нет, а голова у меня кружится. Наклоняюсь и трогаю подснежник ладошкой. Настоящий! От него веет подземным холодом. Провёл пальцем по нежным листьям и ворсистому стебельку и почувствовал живую зябкую дрожь первого весеннего цветка. Перехожу от цветка к цветку. И цветы, будто осмелев, колеблются, в овражных сумерках синим пламенем, и тихо горят над мятными прошлогодними листьями.

Колька уже давно нарывал целый букет, а я все стою, увязнув в глине, и боюсь ненароком погасить над землей это сказочное сине-фиолетовое мерцание. Я бы и не стал их срывать, если бы не обещал Ленке.

С букетами мы с трудом выбираемся из оврага и долго поднимаемся в гору по набухшему от воды лугу. Колька остаётся у крыльца дома, а я, потупив взгляд, молчу и снова не осмеливаюсь сказать ему о наших изломанных машинах. Завтра сам увидит, с болью подумал я и стыдливо покраснел.

По пути к дому тайком пробираюсь на крыльце Ленкиного дома и оставляю для неё на верхней ступеньке букетик подснежников. Как обещал...

Уже и закат отгорел над дальним холмом, а я все сижу на пороге родной избы и слушаю, как шуршит о штакетник прошлогодняя крапива. Точно так, как в марте метель шуршит по ледяной корке шершавого наста...



## ВОДОПОЛЬ

### 1.

Какая же в апреле капризная погода. Встал я утром, разбуженный солнцем. Оно щекотало мои щеки солнечными зайчиками и шаловливыми тенями от рябиновых веток. Открыл глаза и неожиданно увидел в боковом окошке клочок голубого неба в обрамлении белого облака. Синь притягивала к себе. Она словно приветствовала меня и ласкала несказанным небесным светом.

Не позавтракав, я побежал к Кольке. С вечера договорились сходить на реку. Но дома его не застал. Ушел с отцом на конюшню, сказала бабушка Ефросинья.

Настроение упало, а тут еще снег вдруг, как из вороха небесного, вывалился. Над деревней суматошно заметался, на ветру полощется, боится на сырую землю опуститься и растаять. Такого снега давно не выпадало.

Я шел вдоль деревни, а меня засыпал снег. Он был таким взъерошенным и плотным, что даже на моем носу не успевал таять, и потому обильно слезился, как на оконном стекле, и с кончика его весело скатывался на губы и подбородок, а с подбородка по шее стекал за ворот, отчего меня всего передёргивало.

Снег кружился размашисто, и, казалось, не с неба опускался, а легко и радостно взмывал от земли в белесую высь, и каждой лохматой снежинкой, избалованной ветром, отмечался играющи на мутных и тёмных стеклах деревенских изб, утонувших в молочном мареве снежного крошева.

На лужах снег таял, как на огне, а на небе, как после праздничной драки, уже расходились по сторонам обессиленные стихией тучи. Они увлекали за собой и ветер, чтобы он за лесом припал к земле и успокоился. Ветер буйствовал из последних сил и растиаскивал разгоряченные облака, чтобы они, не приведи Господь, снова не затеяли над землей небесную свару — с дождем, крупой и снегом.



---

Снег валил азартно и весело, а солнце, похожее на свет тусклого фонаря, медленно утопало в призрачном верховом тумане и никак не могло разгореться, чтобы, ослепив меня, залить всю округу золотом апрельского утра и захватить власть над небом и над всей округой.

Снег так же неожиданно закончился, как и начался. Через него, плотно укрывшего землю, проступали жирные пятна зеленоватых луж с талой водой. Над деревенской улицей между рваными облаками опять плескалась радостная синь, а за спиной сползала за сумароковский холм фиолетовой расцветки туча...

Выглянуло солнце, и заснеженные избы, не узнавая друг друга, начали приводить себя в порядок. С крыш повисла серебристой бахромой тонкоструйная капель, кусты в палисадниках, чуть покачиваясь, брезгливо отряхивались от липкого и тяжелого снега, не ко времени выпавшего.

Я смотрел на чистые окна домов, на черные крыши с белыми пятнами, на кисейные кроны берёз, и ко мне опять возвращалось доброе настроение светлого апрельского утра...

И вот что я еще заметил: если зимой, особенно в метельный день, когда печи уже истоплены, а лампы в избах еще не засвечены, взглянуть на Попово с ближнего холма, то можно подумать, что наша деревня мёртвая и нет в ней ни одного жилого дома.

Другое дело весной. Иду по деревне, а меня распирает чувство радости. Я вижу, как на деревенской улице начинает торжествовать новая весна, уже восьмая в моей жизни, и как, радуясь ветру и солнцу, крылато полощутся на бельевых верёвках между березами белоснежные наволочки, разноцветные полотенца и даже солнечные пелёнки.

Как всё-таки здорово, что я родился в Попове...

## 2.

Еще неделю назад река покоилась под снегом, а сегодня по всему руслу она испятнана зеленовато-голубыми разводами. В тихую погоду и с холма слышно, как в черной полынье, где зимой женщины полощут бельё, воркует осмелевшая вода. Даже не верилось, что река когда-нибудь сможет освободиться из ледяного плена. Такие вокруг неё были залежи снега!



Но каждый день солнце упрямо подтачивает снег. Сначала на крышах изб распускает его, как пряжу, и капелью развесивает под окнами. Потом рыхлит снег на полях и ручьями сгоняет в низину. И вот наступает долгожданное утро, когда мы с Колькой выходим в гумно и смотрим с холма на разлившуюся у моста речку.

Колькины резиновые сапоги еще не потеряли свой магазинный блеск. На их голенищах пурпур и мутновато, но солнце отражается, а на моих стареньких сапогах даже не блестит...

Веселая вода, отшумев у Гремячки и отбурлив под Мысовкой, смиленно успокаивается только у снесенного моста, где наша Гремячка соединяется с соломининской речкой, и долго ходит кругами по затопленной низине. Вода в водополь желтая, с рваными лохмотьями мыльной пены. Над ней, склоняясь, качают макушками кусты измочаленной бредины, да серый ольшаник еще брезгливо приподнимает над грязным потоком худосочные ветки.

— А мост, наверно, опять снесло.

— А то нет, и лаву тоже смыло, — без тени сомнения подтверждает Колька и вскидывает руку. — Гляди — там целое море!

Я и без него, насколько хватает глаз, смотрю в сторону Ивашева. За Исааковским холмом, где мы летом пасём скотину, покоится подсвеченная солнцем водяная гладь. Она напоминает мне дымящуюся пенку в огромной кастрюле с топлёным молоком. А когда солнце скрывается за тучами, то вода меркнет и стекленеет.

Большую воду в нашей лесной стороне мы с Колькой видим только весной. Летом в Гремячке воробью по колено, а деревенский пруд в жару и вовсе пересыхает. Если когда и удается нам вволю поплескаться, так это после столбовых июльских ливней. И то в канавах и лужах. Потому так и радуемся водополи. Вода завораживает и волнует.

— Давай спустимся вниз, — предлагаю Кольке. — Отсюда плохо видно.

— Пошли, — соглашается он.

Весь склон пропитан водой. Идти по нему скользко и опасно. Кажется, солнце, упав на землю, разбилось вдребезги, разлетелось по всей горе, и теперь в склизкой прошлогодней



траве кишит золотыми головастиками. Сотни озорных ручейков наперегонки друг с другом сбегают, сломя голову, под гору. Они вспыхивают под ногами и шевелятся вокруг, как живые щупальцы огромной солнечной кляксы. По дорожным колеям басисто голосят набравшие силу ручьи. А в больших канавах, похожих на овражки, захлебываются и шумят уже не ручьи, а маленькие речушки. На круtyх перепадах над ними зависает радужное облачко искрящихся брызг.

Мы с Колькой звучно шлепаем по воде. В грязи сапоги наши вкусно чавкают. Солнце припекает. Колька снял шапку. Его челка стала совсем рыжей и жесткой, как пружина.

— Простудишься, — осторегаю его.

— Сам берегись, — отвечает он и расстегивает пуговицы на сером ворсистом пальто.

Я тоже сдвигаю шапку на затылок и чувствую, как свежий ветерок перебирает на лбу непослушные волосы.

Мы с Колькой останавливаемся на бугре. Летом от него до реки метров пятьдесят, а весной вода подступает к его подножью. Вода ходит кругами — грязно-желтая, как после дождя.

— Здорово! — не скрывает своей радости Колька. Он поднимает с земли палку и, размахнувшись, что есть силы, бросает в воду.

В воде и без палки чего только не плавает: травяные плети, сучки и коряги, даже бревна. Вся низина затоплена. От нашего холма до сумароковского не видно ни моста, ни лавы.

— Долго, — спрашиваю, — не спадет?

Колька не слышит меня. Он, завороженный водоворотом, удивленно хлопает сивыми ресницами, и смахивает рукавом бисерную сыпь пота, выступившего на лбу.

В водополь мы живем, как на острове. Ждём, когда спадет вода, и мужики наладят лаву. Не пройти ни в Сумароково, ни в соседние деревни — Шёлки и Соломинино. Их тоже отделяют от нас разлившиеся до белого кипенья и до совиного уханья овражные и лесные реки...

### 3.

Я отхожу в сторону и там, где летом под бугром кустятся бредины, открываю тихую заводь. Она такая уютная и спокойная, что даже вода в ней не такая мутная, как на стремнине, и нет в ней пены и мусора.



Подхожу ближе и вдруг — о, чудо! — неожиданно для себя обнаруживаю целый выводок диких уток.

— Колька, — кричу. — Иди сюда.

Колька не обращает на меня внимания и продолжает следить за движением беспокойной воды. Ему и в голову не придёт, что у меня тут может быть что-то интересное. Как знает, решая я, и ничуть на него не обижаюсь.

Я застыл и не дышу, чтобы не спугнуть уток. Я их никогда в жизни не видел и знал только одну Серую Шейку. Про неё мне читал дед. А однажды он принёс с охоты утку и селезня. Я долго разглядывал их красивое оперенье, жалел их и тогда же твёрдо решил, что никогда не буду убивать птиц.

И вот впервые вижу уток живых и во всей их неописуемой красе. Они, кося на меня глаз, беззаботно резвятся в воде и на берегу, будто меня и нет. А может, чувствуют, что я их не трону и не обижу.

Я залюбовался их играми. Как же красиво ходил вокруг самодовольной кряквы удалой селезень с ярко-фиолетовой головкой. Голова его на солнце так и отливалась перламутром, а на шее, когда он крутил ею, ревниво следя за подругой, цвет, переливаясь, играл всеми цветами июньской радуги.

Как он робко и осторожно, как будто даже нечаянно, касался своим зимним, почти ледяным, боком её теплого осеннего крыла, окрашенного в цвет сжатого пшеничного поля.

Как он, от любви и желаний потерявший голову, заходил к ней — то справа, то слева и всё норовил погладить её своим чуть приподнятым крылом с белым подбоем и с черной окантовкой по спинке. Мне казалось, что она только этого и ждала. Но, холодно принимая ухаживания, она кокетливо и обиженно отворачивала от него кукольную головку, сырую и сальным ветерком уложенную — волосок к волоску.

Я видел, как утка ходко перебирала под водой красными озябшими лапками. Она не просто дразнила селезня, но и по-утиному тонко дерзила ему. Она косила на него равнодушный взгляд и укрывалась за клочком грязной соломы, невесть откуда принесённой и прибитой к берегу.

Я наблюдал за их игрой, и на душе у меня становилось легко и радостно.

И вот, разогнавшись на водной глади, утка с разбега, подобрав крылья и обдав селезня брызгами, вылетела на сырой



---

берег и, переваливаясь с боку на бок, скорёхонько обежала голый брединовый куст с бело-серыми пушистыми цветами. На мгновенье остановилась, поискала глазами незадачливого ухажера и, не найдя его, съехала на животе к краю крутого бережка и плюхнулась с него в речку, разгоняя по талой воде светлые круги, позолоченные блёстками солнца.

Я присел на корточки, ноги затекли, а я сижу и смотрю, как завороженный.

Вижу, как ужедругой селезень на глазах упяти взволнованных утиц шумно нырнул вглубь, прощально встряхнув над поверхностью мокрым взъерошенным хвостом, чтобы уже через секунду снова рвануться из-под воды в небо, расплескивая суматошными крыльями мутную воду апрельского половодья.

Но вокруг него вода уже бурлила и вскипала серебряным кипятком...

#### 4.

Наглядевшись на утиные игры, я подхожу к Кольке, гляжу на водные просторы и говорю, толкая Кольку в бок:

— Был бы у нас корабль, сели бы на него и поплыли к синему морю...

— Давай построим, — соглашается он. — Может, хоть до Ивашева доплыvем...

— Сейчас уже не успеть, — вздыхаю. — Если только на будущий год.

— Тогда поплыvём в следующую весну...

Мы стоим на бугре, не замечая времени. Стоим и смотрим на воду. Кажется, она всё прибывает и прибывает. От её ровного и торжественного хождения по большим и малым кругам и меня заводило из стороны в сторону.

У подножья холма пузырится ноздреватая пена. Она взбита, как пена в бабушкином тазу, и клочками цепляется за хилую ольховую поросль.

— Во-ва-а! — доносится с холма от нашей черёмухи голос бабушки. — Идите домой...



## В ДЕЛЯНКЕ

### 1.

Стою за околицей у голого осинника, который неизвестно когда и вырос вокруг не обиженного пруда. Снег в нём осел, глубокая трещина прострелила берега, а в середине пруда он еще и набух, как синяк зеленовато-серого цвета. Теперь уж и лечебный снежок с неба не обложит его пушистой ватой, и метель не приподнит, потому что снег огрубел и засох, превратившись в жесткую коросту.

В сытном воздухе правит дух пробуждающейся земли. Кажется, каждой ноздрей чувствую горьковатый запах набухающих почек. Зима была серой и долгой, но вот услышал, как ветер над головой проникается сквозь густые кроны, перестукиваясь упругими ветками, и вспомнил их недавние осенние всполохи пёстрой окраски. Давно ли, кажется, роптала на осинах заполошная листва, а вот уже снова наступает время нежной, клейкой зелени. Да и сам я тоже становлюсь старше, потому, наверно, и перелесок этот вижу в новом свете, где мне всё знакомо до каждой надломленной ветки и порванной паутинки, натянутой между сучками.

Завтра я первый раз пойду с дедом чистить делянку. Я еще и не знаю, что это такое делянка, но понимаю, что её отвели нам, когда колхоз делил сенокосы. Вот и посмотрю, велика ли она и хватит ли на ней травы, чтобы зимой прокормить корову и две овцы с ягнятами. Дед всё время жалуется, что крестьянина государство не любит и не дает ему в полную силу развернуться. Наверно, так оно и есть. Дед зря говорить не будет.

От осинника хорошо виден сумароковский холм.

Холода отпустили, и каждое деревце обрело свой весенний цвет. По берегам речки, как цыплячий выводок, рассыпались опущенные вербы, нахоллив желтые спинки, взъерошенные озорным ветерком. Под ними краснеют кусты ивняка, как



ржавый мох вокруг болотных кочек. Чуть выше, среди серого ольшаника, зыбко мерцают бледно-зелёные облака дымных осиновых крон. А тонкие стволы берёзок светло и гибко струятся от земли к небу, как теплый пар над полем, согретым солнцем.

Даже тёмные верхушки ёлок окропила нежная зелень, высыпавшая на кончиках подросших веток. Ёлки барствуют не зимой, когда держат на лапах боярского достоинства снег, а именно весной, когда они, освободившись от него, начинают торжествовать непризнанной летом зеленью.

Летом они теряются среди деревьев, одарённых листвой. А весной, как рентгеном, просвечивают насквозь корону каждого дерева, стоящего рядом: будь то ствол бледной осины или ствол серебристой берёзы. И не только каждая веточка, но даже набухшая и готовая вскрыться почка – и та, осчастливленная будущей жизнью, не теряется на темном фоне вечнозелёной елки.

Я люблю это время года, когда зима уже позади, а в воздухе стыло пахнет горьковатым от прелых листьев снегом.

Как хорошо, что завтра мы пойдём в делянку. Уж поскорей бы утро!

## 2.

Утро выдалось теплым, влажным и ветреным. Наст не держал, как после морозных утренников, он шумно хрустел и, рассыпаясь, разъезжался под ногами серебряным крошевом.

Дед несёт в руке топор. Бабушка пристроила за спиной коричневую потертую сумку с едой, насадив её на черенок железных грабель. С боку из сумки торчит горлышко бутылки с молоком с растрёпанной пробкой из газеты.

С нами, как бабушка не отговаривала, собрался в делянку и кока Валя, приехавший в гости из Костромы. Он уже с утра отхлебнул браги. Щеки у него горят, будто свекольные, а глаза стали ясные-ясные, как небо, очистившееся от серых туч. Он осторожно укладывает на плечо двуручную пилу, обернутую желтым фланелевым халатом в клеточку.

– Ну, крестник, держись, – он потрепал меня по голове и озорно по-заговорщицки подмигнул. – Каши-то с утра поел? Будем нынче с тобой пни корчевать.



— Отстань от ребёнка, — одёргивает его бабушка. — Оставался бы дома-то, таких весёлых лес не любит...

— Ладно, мать, — обижается Валентин. — Любит, не любит. Как-нибудь и с медведем договоримся. Верно, Вовка?

— Как не верно, — отвечает за меня недовольная бабушка. — Не дай Бог, случится что. Молчи уж лучше...

Я иду налегке. Мне так весело, что я чувствую, как на губах у меня, как солнечный зайчик, играет улыбка, и я не могу её погасить. Я люблю и коку, потому что он добрый и всегда привозит из города гостинцы. Вот и на этот раз приехал не с пустыми руками — подарил резиновый мячик для игры в лапту. А то, что выпивает много, так он же в отпуске, а в гостях все выпивают, не только он.

Иду рядом с ним и смотрю на небо. Оно сегодня какой-то особенной расцветки.

Такого неба я еще не видел. В бездонном небесном котле поочередно варились для туч и облаков то одна краска, то другая.

Вот огромная туча изнутри, как вата, пропиталась бледным малиновым цветом и как недозревшая ягода заалела на солнце, неожиданно показавшемся в разъёме легких облаков. Но красовалась она не долго. Через минуту солнце скрылось, и туча снова, как тиной, стала затягивать взмученное сиреневой взвесью облако. Оно набухало и на глазах темнело от разводов густо замешанной синьки.

Вокруг неповоротливой тучи гуляют суетливые облачка, как обрывки печных дымков темно-кирпичного, грязно-серого и даже зеленоватого цвета.

Всё это стихийное брожение и кипение должно было бы, в конце концов, разразиться скорым и шальным весенным дождем, а может, и первой грозой, но тучи и облака, отталкивая друг друга, беспомощно растекались по мутному небосклону, и даже ветер не мог их собрать в кучу и замесить из них грозовую массу.

Только над горизонтом спокойно стояли плотные слоистые облака пепельного цвета со стальным отливом и не сулили никакой грозы...

Мы без труда переходим овраг за фермой и по обветренной дороге, разделяющей два поля с озимыми всходами, поднимаемся к деревне Соломинино.



Я помню, как на санях с бабушкой мы проезжали её в серый метельный день, когда вывозили сено из стога, смётанного на ближней за Соломинином поляне.

### 3.

Так далеко от дома я еще никогда не уходил. От Соломинина до леса совсем близко. Дорога здесь разъезжена тракторами. Колея на колее, и в каждой стоит вода, и потому мы не без труда пробираемся по краю глиняной обочины. Тяжелее всего деду обносить хромой ногой каждую ямку и кочку. У деревенского огорода он подобрал старую тычинину, и теперь передвигается, опираясь на неё.

Кока Валя идет рядом с дедом, и, слышу, рассказывает ему о Панке Черном, который осенью убил в Чубыкине Анну Веселову.

— Мы ведь с Панком-то дружили по молодости. На беседах встречались, пока его не посадили за кражу. После убийства он заходил в Кострому к одному знакомому мужику, тоже из тюремщиков. Вот он мне и рассказал, как у него по осени Панко появился. Он и раньше у него бывал, а тут пришел, говорит, какой-то смурной, с похмела, трясёт всего, налей, просит, сто грамм, а то помру. Опохмелил он его, а Панко, как волк затравленный, опять просит: «Укрой на время, отлежаться надо, братва ищет — порешить хотят». За что — не сказал, только рукой махнул: дескать, дело прошлое. Может, деньги задолжал — не знаю, но видно крепко кому-то насолил.

Он и дал ему ключ от дачи. Почем ему было знать, что за ним гонятся и что он старуху в Чубыкине убил. Вот и жил он у него с неделю, а потом исчез. Даже не сказался...

Дед останавливается у большой лужи, скрывшей сверхом дорожные колеи, прислоняется спиной к стволу старой сосны, чтобы передохнуть, и сам вступает в разговор:

— Народ сказывает, будто ночь-то после убийства он на мысовке отсиживался. — Дед верит тому, что говорит. — А потом где-то под Исаковым в шалаше жил, там, где скотину пасем.

Теперь кока Валя слушает деда и не перебивает.

— И будто еще в Головинском его кто-то видел, когда он на автобус садился, — продолжает дед. — Не помню, куда —



в Буй или Кострому. Выходит, в Кострому, если там объявился у твоего мужика. И ведь не боялся, сел в полный автобус...

— Даже и представить не могу, как можно убить человека, — вздыхает кока Валя. — Это каким же нужно быть человеком, чтоб решиться на такое. Вот наткнулся бы кто, к примеру, на него под Исаковым или увидел случайно на мысовке, ведь он бы их тоже мог пристрелить, а ведь кто только не проходил мимо него в этот день, и никто даже не догадывался, что рядом на сосне сидит преступник и следит за ним...

— Страшно подумать, — соглашается дед. — Теперь в деревнях стали на ночь калитки запирать.

За разговором и мне дорога не показалась скучной. Слушая деда с кокой Валей, и я будто заново вспомнил и пережил те страшные осенние дни.

— Далеко еще? — спрашиваю у деда, когда выходим ко второму оврагу, на дне которого шумит и пенится лесная безымянная речка.

— А вон и делянка — на той стороне, за сосновами, — объявляет радостно дед и внимательно оглядывает тревожное небо.

Отсюда, с пологого спуска, оно открывается над делянкой высоко и просторно. Я тоже гляжу на небо, но ничего необычного на нем не вижу, кроме туч, выплывающих из-за горизонта рыхлыми чернильными клубами — одна темнее другой.

— Не нравится мне небо, — качает головой дед. — Видишь, как ветер тучи крутит, — показывает рукой на восток. — Не знаю, чем и прорвется, но то, что небеса разверзнутся — к гадалке не ходи...

— Не камни же с него повалятся, — успокаивает кока Валя себя и деда. — А от дождя не размокнем, верно, Вовка?

Я гляжу на небо, и в это время из синего проёма меж тучами брызнуло ярким светом весеннее солнышко и будто облило желтой краской высоченные стволы елей и сосен, поднявшихся ребристой, отвесной стеной на границе леса, вырубленного и отступившего от оврага в глубь бескрайней тайги.

Делянку я именно такой и представлял. Пни, сучки да валы малинника, а еще кусты и заросли молодого осинника. Кое-где, избежавшие топора лесоруба, стоят и скрипят на ветру тонкие-тонкие сосны с кисточками зеленых вершинок. Когда они стоят в частом лесу, то не кажутся такими тонкими и гибкими.



А вот оно и обжитое место, где дед с бабушкой делают, похоже, привал и во время сенокоса. На земле чернеет пятно от костра, торчат рогатины под котелок и чайник, а на пнях, заменяя скамейку, лежат две обтёсанные топором берёзовые жердочки.

Кока Валя стряхнул с пня прошлогоднюю листву, подложил рукавицу, присел, как на табуретку, и огляделся.

— Не узнаю и делянку, весной она не такая, как летом, — говорит он сам себе и поворачивается в мою сторону. — Крестник, будешь сегодня у костра дежурить. Я разожгу, а ты дрова таскай и подкладывай, чтоб горел ярче. Вон сколько вокруг сучьев...

Глаза у коки Вали потухли, хмельная говорь пропала, щеки у глаз трясутся, и на них, побледневших, простила кровяная сетка, похожая на тонкую паутинку.

— Вовульк, от костра не уходи, — наказывает бабушка. — Валюха разожжет, а ты следи, чтобы не погас. Много-то дров не вали и смотри — не обожгись. Глаза береги. Угли бы не стрекнули, а мы тут рядом будем. Проголодаешься — крикни. В сумке у меня колобки припасены...

Они с дедом расходятся по делянке в разные стороны. И вот уже затрещали сучки, застучал топор и зашумела пила.

Кока Валя задувает тепленку на месте старого костра, и я, отмахиваясь от дыма, подбрасываю в неё сухой хворост, который вспыхивает, как порох, и опадает в огонь невесомым серым пеплом.

Я тоже бегаю по делянке и собираю сучки. Дед с бабушкой каждый год чистят и расширяют её: рушат трухлявые пни, распиливают брошенные стволы деревьев и вытаскивают их к дороге, вырубают под корень свежую древесную поросьль, и бросают её в костер, разожженный у канавы, наполненной талой водой.

Воздух в лесу чистый и вкусный. Пахнет прелью, смолой и дымом. На душе легко и радостно, потому что чувствую себя при большом и нужном крестьянском деле. Этим летом я, может, даже приду сюда сушить сено...

#### 4.

Солнце пропало и надолго. В лесу стало серо, зябко и неуютно. А потом вдруг, будто свара какая на небе случилась



и борьба нешуточная началась, погода стала меняться каждые полчаса: то солнце возьмёт верх над растрёпанными в пух облаками и выплеснет на делянку пронзительный свет, то тучи загустеют, нальются фиолетовой тьмой и затянут в глубь себя разыгравшееся над лесом светило.

Вот я снова обрадовано вздрагиваю: это светлой тенью скользнуло по верхушкам деревьев обессиленное солнце. Оно каким-то чудесным образом, именно чудесным, пробилось сквозь плотные тучи и трусливыми зайчиками шаловливо поиграло на бронзовых стволах гулких сосен. Мне даже показалось, что от сырого пня, обласканного солнцем, отслаиваясь одно от другого, медленно и торжественно поднимаются в небо зыбкие и тонкие ободки от светлых годовых колец.

Пока я любовался кольцами, тающими в воздухе, тучи будто вскипели, и надо мной вдруг суматошно заметался разлохмаченный снег. Я подбрасываю в огонь заранее подготовленные дрова. Белый густой дым лениво расползается над землей.

Из делянки сначала дед возвращается к костру, потом кока Валя и последней бабушка.

— А я что говорил, — напоминает дед о своём верном предсказании погоды. — Камни не посыпались, а вон, какая каша заварилась. Валит и валит...

— Основное-то успели, — бабушка стряхнула с головы и плеча снег и достала сумку с едой, прикрытую у пня еловыми лапами. — Слава Богу, приcherедили. Копны на две-три больше сена возьмём, если трава уродится...

Перекусили наскоро под ёлками, где не так снежило, как на открытом месте, но без обычного в лесу аппетита. Кока Валя пожалел, что не прихватил с собой бутылочку браги, а дед сослался на изжогу, вдруг напавшую на него. Видно, и аппетит тоже от погоды зависит. Но я с большим удовольствием выпил из железной кружки холодного молока вприкуску со сдобными колобками.

— Теперь пора и к дому, — говорит, перекрестившись, бабушка.  
— К ужину как раз и доберёмся.

— Глядишь, и бражка повыходится, — улыбается кока Валя. — А то насухо и кусок в горло не лезет.

— Кому что, — укоризненно покачивает головой бабушка. — Пожалел бы здоровье-то — не казенное ведь...

Дед молчит и сегодня в пустые разговоры не вступает. Он вытирает тряпкой лезвие топора, не спеша, обворачивает халатом пилу, срывает с грабель прошлогодние листья и навившуюся траву.

Справа от солнца уже студенисто застывают обессиленные тучи. Они на моих глазах снова превращаются в зыбкие облака грозового цвета и, подсвеченные солнцем, напоминают ватные игрушки.

Снег успокоился, и через него, плотно укрывшего землю, проступили жирные пятна коричневых луж. Ветки кустов и деревьев чуть покачиваются под тяжестью облепившего их мокрого снега.

Мы выходим на дорогу в том же порядке, в каком пришли в лес. И будем, наверно, идти молча до самого дома. Этот день мне запомнится, потому что я впервые в жизни готовил к сенокосу нашу лесную делянку.



# СМЕРТЬ ПРАБАБУШКИ

## 1.

Евдокия Васильевна приходит из-за леса каждую весну. Приносит на показ и продажу вышитые полотенца и целые картины. Обход начинает с нашей, крайней от леса, избы.

Она, обычно шумная и громкая, на этот раз, разложив и развесив товар, вдруг с любопытством посмотрела на меня и торжественно спросила:

— Не ты ли, добрый молодец, будешь внуком Михаилу Семёновичу?

— Я, — отвечаю растерянно, не ожидав к себе такого внимания.

— Подходи ближе, — берёт меня за руку, а ладошка у неё горячая, и тянет к столу, я не сопротивляюсь. А свободной рукой достаёт из берестяного короба бумажный пакет. — Вот тебе гостинец из-за леса, не от лисички-сестрички, не от зайца одноухого, а от кого бы ты думал?

Пожимаю плечами, не зная, что сказать, и заглядываю на бабушку, не подскажет ли, но бабушка улыбается и ждёт, что я сам отвечу.

— Ну, вот, а кому дедушка зимой лыжи отдал?

— Дядя Паша! — восклицаю. Как же я мог забыть. Мне стало перед тётей Дусей стыдно за себя, короткая же у меня память, а давно ли провожали в дорогу на дедовых охотничих лыжах бородатого странника.

— Вспомнил, а я уж хотела гостинец обратно в короб прятать, — Евдокия Васильевна подает мне пакет и говорит: — А на словах дядя Паша Потехин наказал передать, что Жар-птица жива и сидит на том же озере, что и прежде.

— Что сказать-то надо, — по привычке напоминает бабушка.



Я благодарю и разворачиваю пакет, а в нём – маленькое перышко необыкновенной раскраски. От Жар-птицы. Конечно, от неё, от кого же ещё. Такого оперенья у наших птиц я не видел. Ай да, дядя Паша! Значит, дошел он до Костомы, не заблудился, волки его не тронули. И обо мне не забыл. Может, самое дорогое от сердца оторвал и прислал.

– А еще сказал он, что летом сам придёт и лыжи дедовы вернёт, как и обещал. – Тётя Дуся повернулась к бабушке и добавила: – Пашка-то мне родственником приходится – по материнской линии. Родня не близкая, но не чужаемся...

– Бороду-то не сбрил? – спрашивает бабушка.

– Какое там, не заставиши. Ухаживает за ней, как за женой. Он ведь из верующих – набожный. В церковь ходит. У них вся родовая такая.

Я открыл ящик в комоде и положил туда перышко. Надо, подумал, завести себе коробочку для хранения подарков.

– А это тебе, внук дедов, от меня, – тётя Дуся вынула из кармана кофты белый носовой платок. – Подарочный. Держи и вспоминай тетку Дусю. – Она развернула платок, уложила его у себя на ладони и полюбовалась им. – Для тебя вышивала, дядя Паша велел, чтобы в каждом уголке по Жар-птице сидело. Всё, как велел, так и сделала...

– Спасибо. Тётя Дуся, – говорю и принимаю из её рук драгоценный подарок. На мою ладошку платок не убирается, но я чувствую, что от платка исходит легкий жар и растекается по всему моему телу.

– А теперь пусть бабушка смотрит и выбирает что-нибудь любому внуку. Придёт время, будет девкам дарить. Чай, у внука уже и невеста есть?

– Есть, а как же, – подтверждает бабушка и озорно подмигивает мне.

## 2.

Уже одно то, что она залессская, вызывает у меня особое к ней отношение. Я ишу в ней что-то нездешнее, на наших женщин непохожее. И нахожу. На шее у неё висят крупные бусы цвета солнечной окалины, а в каждой бусинке, светлой, как расплавленная смола, темнеют замуррованные перышки от Жар-птицы.



У Евдокии Васильевны и глаза диковинного цвета. Они у неё время от времени изнутри озаряются всполохами, и вокруг них всегда мерцает свет, а от самой мастерицы исходит целительное тепло.

Даже на её полотенцах другие узоры, не такие, какие вышивает моя мама. На них везде угадывается Жар-птица с распущенными хвостом и рябит жаркая синь сказочного озера. Да, она и правда совсем другая. Только волосы, как у бабушки, гладко зачесаны назад, но не в крендель уложены, а заплетены в тугую косу. У неё и голос сказочницы, завораживающий, и слово к слову ложится без зазоров. Слушаешь её, а перед глазами, как на картинах, оживают люди, птицы, цветы и, кажется, ты попадаешь в сказку, в которой тебя окружают добрые и светлые люди из далёкой и неведомой страны Залесье.

Вот и сегодня бабушка встретила гостью из-за леса радушно, как родную, напоила чаем с пирогами, а теперь мы ходим по избе и рассматриваем неписаную красоту, развешанную на спинках стульев, разложенную на столе, диване и кроватях.

В избе светло и радостно. Солнечные лучи, похожие на лучину, будто бы выстрагивают на крашеных половицах желтую стружку. Правда, без завитков. Не такую стружку, какая вьётся из-под дедушкиного рубанка. Тени от сучков и листьев накрывают пол черной кружевной сеткой, и стружка, закипая под ней, превращается в горящие веселые угольки. Солнечные зайчики играют и на полотенцах и на открытом лбу Евдокии Васильевны.

— Ну и мастерица ты, матушка, — приговаривает бабушка. — Дал Бог тебе таланту. Такую красу надо в Москве показывать. У кого вышивать-то училась, али своим умом до всего дошла?

— От матушки передалось, — отвечает Евдокия Васильевна. — Первые-то вышивки — ох как! — меня помучили, — вздохнула она. — Сидела, помню, вышивала и думала: а что матушка-то мне про цветок вышитый скажет? Похвалит за стежок или заставит по-новому вышивать? Матушка не ругала. Царство ей небесное. От неё мне баночка осталась — магазинная, с золотыми буквами. В ней она нитки хранила, кружево, иголки. А секреты свои матушка с собой унесла, не успела передать, а может и не хотела — не знаю. Сама всему училась. Но подхваливала. Что правда, то правда. Потому, может, у меня цветочек от цветочка день ото дня стал краше выходить.



---

Вот уж, чувствую, и пальцы иголкой реже колоть стала, а в руках смелость появилась. Скорее, даже не в руках, а в душе.

Могу! Могу, если захочу! Бывало, насобираю в поле цветков, положу перед собой, а то и обведу их, и вышиваю. Смотрю на них и помню, что этот василек на ржаном поле сорвала, а одуванчик — у пруда заросшего, ромашку — за околицей у конюшни. И всё у меня легко и радостно получалось. Вот цветок один — аленъкий — никак не давался, а был он потаенной мечтой каждой юной вышивальщицы.

Евдокия Васильевна перевела дыханье, как от тяжелой в поле работы. Утерла широкой ладонью запекшиеся губы и, погладив себя любовно по коленям, продолжала бережно вспоминать:

— Однажды решила я вышить братишке рубашку, а отцу поясок. Даже платье доброй соседке Марье надумала разукрасить узорами. Да вот несчастье. Заболели мои родители тифом. Мать умерла, а отец как-то выжил. Нас у него осталось четверо. И мы тифом переболели, но тоже, по Божьему промыслу, от смерти спаслись.

Я была старшая — на тринадцатом-то годку. Отец вскоре женился на девице о двадцати восьми лет. А мачеха и есть мачеха. Не зря ведь и в природе трава так называется — мать-и-мачеха. Знаете, верно, такую траву? У неё одна сторона листа теплая, бархатистая, как у родимой матушки, а другая — холодная. По ней, гладкой, как говорят в народе, и слеза сиротская скатывается не задерживаясь. Жили они плохо. Отец стал пить, а мы для мачехи — отрезанный ломоть. Она и своих детей успела нарожать, да вот только выжили у неё всего двое. Такая вот судьба...

Евдокия Васильевна пошарила рукой в кармане кофты и, достав скомканный носовой платок, обмахнула им бескровные губы и дряблый подбородок.

— Жалко, годы быстро уходят. В глазах нет прежней остроты. А вот хоть и говорят, что старость — не радость, а я не верю. Кому как, а мне умирать неохота. Люблю жизнь. И всегда любила. С детства. Закрою глаза и вижу себя совсем маленькой, вот эконочкой, как внук твой. Поле вижу. Ромашки. И всё-всё помню. Будто так в одной поре и доживу свой век, так и останусь в душе молодой и веселой. Как сама земля...

Такой и остаюсь. И только память, матушка моя, чаще стала душу бередить. Старею. Какая-то встревоженная стала.



То светлая картина, то горькая встанет перед глазами, будто оживёт. И всё на исповедь тянет... У тебя, Егоровна, вижу, красны стоят. Я тоже за них с малолетства села. Меня еще из-за кросен не видно, а я уже о приданом думала. Вот как! Загодя готовила половики, рубахи, полотенца. Как вчера всё было, Господи! Так всё перед глазами и стоит, так за душу и берёт.

— За Никифором у нас все деревенские девки бегали. У матери он был единственный сын — красивый и бойкий. Жили они зажиточно. Отец-то, правда, умер рано, но дом в наследство оставил крепкий и земли много.

— Вот и я, матушка моя, в тринадцать-то годков осталась, как былинка в поле, — говорит бабушка. — И у меня на руках орава и все мал мала меньше. Господи, как и выжили!

— И не говори, Анна Егоровна. А меня тогда Никифор-то и выбрал, а почему — не знаю. Как сейчас помню, Великим постом сватов заслал. В деревне, как узнали, так только обо мне и говорили. Дескать, какое же великое привалило сироте Евдокии счастье. Видно, Богу так угодно было...

Я-то знала, что мать у него больна, а в хозяйстве у них — полный двор скотины. Так что в доме нужна была не просто невестка, а еще и ломовая работница. Вот и выбрали меня. Обвенчались, вроде, на ходу, а жили-то хорошо. Вон погляди-ко, я и картину так назвала — «Свадебный поезд». Вон — на диване-то...

Смотрим с бабушкой, и надивиться не можем.

— Вот так и жизнь, Егоровна. Цветок к цветку. Картина к картине. Лета да годины. Из них и вся жизнь моя соткана. Революцию пережили, две войны, сиротство. Всё, Анию, испытали. Разве это забудешь?..

У меня дома в заветном сундуке живы ещё накидки и скатерти из моего девичьего приданого, а я уже подготовила вышитые подарки на свадьбу внуков. За них вот, внуков-то, теперь и болит душа. А ещё тревожусь, Егоровна, за ремесло своё. Боюсь, умру, и никто дело мое не продолжит.

Евдокия Васильевна замолчала и как-то по-детски часто захлопала льняными ресницами, словно отбивалась ими от нахлынувших воспоминаний. А воспоминания, как белые бабочки, порхали вокруг её воспалённых глаз...

Я разглядываю её вышивку и картины и вспоминаю маму. Она у меня тоже мастерица. Вышивает на пяльцах цветы, а



---

на швейной машинке узоры на подзорах вяжет. Красиво у неё получается. Я только боюсь, как бы палец не проткнула. Уж так близко она держит его у иголки. Правда, картин у мамы пока нет, но вернётся из города и за картины сядет. Ей тоже Бог талант дал. Она даже на груди моей рубашки петушков крестиком вышила. Эту рубашку я надеваю по большим праздникам.

— Ну, Егоровна, выбрала что? — спрашивает Евдокия Васильевна. — Пора мне.

— Картины ты не продаешь?

— Нет, картины не продаю. Картины для души делаю. Детям оставлю, а может, в музей сдам, если возьмут, — пусть люди смотрят.

Бабушка выбрала полотенце, а мастерица уложила дорогой товар в берестянную коробушку, поблагодарила хозяев за хлеб-соль и ушла, а после неё в избе остался знакомый запах бабушкиного сундука.

### 3.

Я уже хотел выбежать на улицу, как на моей штанине повис котенок и остановил меня. Ложусь на пол, сажаю его на грудь и дую в мокрый нос. Котенок фыркает, вырывается и лохматит у порога клубок с нитками. Встаю, отряхиваю штаны и выхожу на крыльцо.

После ночного дождя на улице свежо и солнечно. Ветерок ворошит в заулке промытую до блеска густую и сочную траву-новину.

И каких только цветов и красок вокруг нет!

Блестят ребристые листья подорожника. Качаются желтые взъерошенные папахи калужниц. Пушатся и распускают парашюты белые оперившиеся одуванчики. Торжествует у самого крыльца темная бархатистая крапива. В саду снежат бело-розовые яблони и пятнают черные грядки, опущенные нежной зеленью усатого укропа. Под узорчатыми окнами избы тихо, как бабушкина лампадка, светится золотистая акация и, словно капельки воска, роняет лепестки на мокрую слюдяную кромку дороги.

Смотрю на всё и всему радуюсь. День у меня сегодня богатый на красивые подарки и добрые новости. Вокруг меня кипит жизнь — бойко, празднично, неудержимо. И в этом



зелёном кипенье, в этом цветущем мире я не чувствую себя лишним и чужим. Я ведь тоже расту и тянусь к солнцу.

Нарядные кроны деревьев шумят на ветру, как пчелиные семьи, и каждая корона со своим голосом. На добродушной березе листья сухо шелестят, как крылышки стрекоз. На строгом тополе они звонко плещутся и по-голубиному воркуют. На рябине листья шепчутся вкрадчиво и от удовольствия перебирают зелеными пальчиками, а на клёне по-мужски здороваются и шуршат друг о другу шершавыми ладошками.

Столько вокруг звуков и столько запахов!

Мимо выверенным курсом пролетают к домикам под яблонями груженные нектаром пчелы. Над головой бестолково мечутся мухи, ноют голодные комары, шелестят стрекозы. От медового запаха травы, листьев и цветов во рту сочится сладкая слюна, и голова идет кругом. Я стою посреди заулка по колено в траве. Лицо подставляю теплому ветру и жаркому солнцу. Жадно вдыхаю очищенный грозой майский воздух. Слушаю бодрую и звонкую перекличку деревенских петухов.

Снимаю со штакетины кепку и направляюсь вниз деревни – к Колькиному дому. Навстречу мне идёт тётя Лида Цветкова, Галькина мать. Она в красном шелковом платье с белой косынкой вокруг шеи. Легкая на ногу, с открытым взглядом, она и сама под стать светлому майскому дню. У дома Мары Васиной тётя Лида останавливает меня и говорит, чтобы я далеко не убегал, а сама быстрым шагом пошла к нам в избу.

По Лидыному голосу и потому, как она говорила, я почувствовал сердцем какую-то неясную тревогу и вернулся в заулок. Минут через пять тётя Лида вышла и без обычной на лице улыбки сказала, что меня зовёт бабушка. Вбегаю в избу и будто натыкаюсь на живую тишину. Бабушка сидит за кроснами, руки у неё безвольно лежат на полотне. Она поворачивается ко мне и говорит:

– Иди за дедушкой. Скажи, баушка зовёт.

Бегу через сад. Из бани возвращаюсь с дедом.

– Матк, приходил кто? – спрашивает дед, не успев переступить порог. Вперёди его в открытую дверь шмыгает с улицы Муська и прямиком бежит на кухню.

– Лидуха прибегала – Анна померла...

Дед глубоко вздохнул и положил мне на голову тяжелую ладонь. От нее опахнуло краской и шерстью.

— Мамка моя, — дрогнувшим голосом говорит дед, — прабабушка твоя — помнишь, на печи-то слепая сидела. Нет больше её — померла. Царство Небесное...

— А где она? — спрашиваю осторожно, чтобы не обидеть деда.

— Душа её на небе, а тело земле предадим...

— Дело, — закачала головой бабушка, — думай, что говоришь — при ребенке-то...

Я чувствую, как тяжелеет на моем затылке дедова рука. У меня даже на загривке заныло. Я выныриваю из-под ладони и присаживаюсь у печки на маленькую скамейку, которую бабушка берёт на двор доить корову. От теплой печки на спине почему-то высыпал холодный озно.

Дед идёт на кухню. Гремит ухватами, брякает умывальником. Бабушка в передней выкладывает из комода на стол стопками выстиранное и поглаженное бельё. В комнате запахло нафталином.

Я понял, умерла бабушка Анна. Ещё никто из родни моей не умирал, но я почему-то больше переживал за деда и бабушку. Чтобы не путаться у них под ногами, убегаю гулом к старому амбару на краю нашего сада и усаживаюсь на щелястый, исхоженный сапогами порог.

Я, конечно, её помню. В летней избе бабка Анна лежала в кути под лоскутным одеялом. В зимовке она сидела на печке и часами, слепая, смотрела на желтый коврик с черными рогатыми оленями. По утрам, когда никого не было дома, она просила пить. Я подавал ей воду в зеленой кружке. Рука её, обтянутая тонкой кожницей, всё время дрожала. Анна была очень старая. На её землистом лице, когда она сидела, морщины собирались в складки и при свете были похожи на водянную рябь. Только глаза у неё всегда источали синь, как две дрожащие под голыми бровями капельки светлой ключевой воды с отраженным в них небом.

Я побаивался бабку Анну. Не знаю, правда, почему. Она, сколько я помню, никогда не улыбалась, хрипло кашляла и почти всегда тихо и заунывно с дрожью в голосе стонала. Однажды бабку Анну увезли в больницу. Из неё она уже не возвращалась.

И вот её не стало. Душа, как сказал дед, улетела на небо, а тело её зароют в землю. Неужели и бабушка моя, и дед тоже



когда-нибудь вот так же навсегда оставят меня, и я никогда их не увижу? От этой мысли у меня даже в глазах помутнело.

Майский день цвел и ликовал, но меня он уже так не радовал, как утром. Я устал от солнечного света. Вокруг меня всё как-то сразу завяло и померкло. Я смотрел вдаль и ничего не видел, забыл о Жар-птице и подарках из-за леса. Сажусь на самый верхний порог и спрячусь от солнца под козырьком амбара. Равнодушный ветер пролетает мимо, набрасывается на лопухи и треплет их за широкие слоновьи уши.

— Во-ва! — Слышу голос бабушки и радуюсь ему, резко вскакиваю и даю стрекача к дому, как будто за мной гонится кто-то злой и страшный.

— Мы скоро, из дома не убегай, — целует меня бабушка. — Каша на шестке, сметана в чулане. Поешь. — И они с дедом через гумно уходят с кошелками в Сумароково, где их ждёт мёртвая бабка Анна.

Я долго с крыльца смотрю им вслед. Было такое чувство, что и они от меня тоже уходят навсегда. Когда они скрываются из виду, я бегу за воротца на задворки. На верхушке холма у куста черёмух останавливаюсь и смотрю, как они медленно в затылок друг другу спускаются к речке. Бабушка впереди, а дед, прихрамывая, за ней.

Я стоял на холме до тех пор, пока они не поднялись в сумароковскую гору и не исчезли за пожаркой. Только после этого я побрел обратно к дому.

В избе было тихо и сонно. Она будто осиротела и я вместе с ней. В углу на стене колосились часы. За перегородкой на столе блудила кошка.

Я лежу на диване и разглядываю на стене фотографии. Они висят над кроватью в коричневых рамках, сколоченных дедом. Стекла на них бликуют.

Вот бабушка с кружевным воротником поверх платья — молодая и красивая. Она и сейчас такая же. Только волосы без кудряшек и кожа на лице чуть-чуть потемнела. От загара, наверно. Вот строгий и остроносый дед в полувоенном кителе с петлицами на воротнике. Тогда он еще не хромал и работал в лесничестве. Дед тоже мало изменился, разве только нос пообмяк, да волос на затылке поубавилось.

Нет, думаю, они у меня еще не старые. Их душе рано отлетать на небо. Они будут со мной и тогда, когда я вырасту.

Я вспомнил, как однажды бабушка, отругав пьяного деда, в сердцах сказала ему: «Живи, как хочешь, а я так больше не могу – завтра же уйду...» В этот день я от бабушки не отходил ни на шаг. Боялся, что она вдруг и правда возьмет и уйдет. Что тогда будет с домом и со мной? Кто будет варить по утрам кашу? Кто привозить из Сусанина гостинцы? Нет, такого я себе не мог представить даже в страшном сне. От одной этой мысли у меня наворачивались слезы.

А вот Анна сегодня померла...

Я снова и снова повторяю слова, сказанные дедом, и вдруг чего-то сильно-сильно пугаюсь. Мне стало сиротливо одному в пустой комнате и страшно. Я заплакал и, озираясь по углам, не прячется ли кто, опрометью выскочил на улицу. Уж лучше буду стеречь куриц у дома, чтобы не утащил ястреб.

День только начинался и на этот раз обещал быть долгим и томительным...



## ЛЕСНОЕ ЭХО

### 1.

Вчера схоронили бабку Анну. На кладбище меня не взяли. Я никогда на нём не бывал. Оно остаётся слева, когда, миновав пожарку, мы входим в Сумароково. За красной кирпичной оградкой, наполовину разрушенной, среди деревьев и кустов стоят деревянные кресты, а на них висят увядшие венки, похожие на те, которые мне бабушка плетёт летом из васильков и ромашек.

Утром после завтрака дед спросил:

— Пойдешь в лес?

В большом лесу я тоже ни разу не был. Мы с Колькой гуляем только по близким ольховым перелескам около полей и недалеко от деревни. А тут дед зовёт в настоящий лес!

— Дело ли придумал, — как всегда, пеняет ему бабушка, она меня от всего оберегает, как заботливая наседка. — Куда — на съеденье комарам? У самого-то кожа толстая.

— Не у подола ли твоего до школы сидеть?

— А хоть и у подола — всё надежнее, чем с тобой-то.

Пока дед с бабушкой перепираются, я одеваюсь и убегаю на улицу, сажусь на завалинке, нагретой солнцем, и жду деда. Я, конечно, пойду в лес. Мне так хочется его увидеть. Колька с отцом не раз ездил в лес на лошади, а я не бывал.

Сижу и любуюсь майским утром. В заулке пузырятся одуванчики. Вчера, вернувшись с кладбища, дед подсел ко мне на приступок крыльца и сказал:

— Не заметил, как за ночь желтые цветы превратились в одуванчики.

— Нет, — отвечаю. — Я думал, это другие цветы. А ты видел, — спрашиваю у деда, — как они превращаются?

— Это невозможно. Такие они таинственные цветы.



Я долго смотрел на желтую шляпку цветка, но в нём и намёка не было на какое-нибудь чудесное превращенье. Дед положил руку на моё плечо и сказал:

— А ведь одуванчики — это души предков. В одного из них теперь вселилась и душа нашей бабки Анны. Душа её с нами рядом поживёт, поглядит, как мы без неё управляемся, узнает, помним ли о ней, и облетит. Сама ли, а может, от ветра. Или дождь прибьёт к земле. А будущей весной снова из земли прорастёт желтым цветом и превратится в белый одуванчик...

Теперь я, как погляжу на одуванчики, так и вспомню бабку Анну. Еще полчаса назад, когда ел кашу, небо над конюшней было чистое и ничего не предвещало, что оно вдруг покроется белыми облаками. И как облака зарождаются, откуда они появляются на чистом-чистом небе, мне тоже никогда не удавалось увидеть. А они, как по волшебству, пропадают сквозь синь и обживают просторное небо. Вот и сейчас они выросли уже до таких размеров, что за ними и солнце стало пропадать.

В движенье облаков, пока белых, но с засиненным нутром есть тревога. Небо живое и меняется каждую минуту — и в форме облаков, и в их цвете. Так бывает только в мае, когда земля томится ожиданием первой после зимы весенней грозы.

Ветерок тёплый. Солнце ласковое, осторожное, даже робкое, глаза не застит и к телу не пристаёт. Стоило теплу установиться, как листья на деревьях сразу окрепли, а трава в заулке поднялась. И так всегда: с марта жду, когда вскроются почки, и в ожидании этом живу до мая. Есть в нём что-то волшебно-сказочное. И стоило солнышку пригреть землю, как в набухших почках начинается сотворение чуда. Давно ли они, будущие листья, туго свитые и круто спелёнатые, высовывали из лопнувших скорлупок жеваные и мятые кончики листьев, напоминающие баxому, и, потягиваясь,правляли зелёные спинки.

— Смотри, — показывал мне дед две почки, одну наглухо закрытую, а другую — с маxровым хвостиком листочка. — Они, как древние свитки, письма такие раньше были — бумажные, в трубку свернутые. Вот в них до поры до времени и спрятан Божий замысел каждого дерева и куста, в семенах и корешках ржаных колосков, трав и цветов. Понимаешь, как всё мудро в природе устроено. Не иначе как чудом это и назвать нельзя. Чудо, да и только. Как приходит весна, так Господь Бог и удивляет нас такими вот земными чудесами.



Может, и не всё я понимал, но удивлялся постоянно, когда видел, как из почек подавались на свет нежные листочки, липкие и влажные, ещё не запылённые и такие беззащитные. Я глядел на них и думал, только бы не ударил мороз и не погубил их, не нарушил бы Божий замысел...

Мне никогда не удавалось увидеть, как листочки растут, как они поворачиваются к солнцу и набирают цвет.

У завалинки, прямо у меня под ногами, валяются коричневая чешуя от почек тополя и зелёные сережки, похожие на изломанные застёжки-молнии. Дед говорил, что тополя, выбрасывая листья, очищаются от мусора. Вон, сколько еще висит на его ветках бархатных гусениц. Это они, упав на землю, превращаются в застёжки. Это на них с осени до весны и были застёгнуты жестяные почки...

И всего-то два-три дняостояло тепло, а листья на деревьях вытянулись в полный рост, и кроны уже не сквозят. Теперь, когда листва окрепла и кроны сомкнулись, то в деревне нашей и во всей округе стало как будто теснее, но уютнее. Листья еще не запылились и клейко блестят на солнце, как новенькие, да еще после вчерашнего дождя. Яблони в саду ослепительно белые, а черёмуха под окном теряет цвет. Стоит воробышку сесть на ветку, как с неё тут же сорвутся снежной замятью невесомые лепестки.

Еще день-два и матово забелеют с желтым налётом рябиновые кисти и закипят бело-фиолетовые грозди сирени.

Какое на дворе душистое и светлое время! Сколько в нём радостных откровений! Как жаль, что оно быстро проходит...

## 2.

Дед в заулке появляется неожиданно. И не с крыльца, а из сада. Он через двор зашел в прикрытину за топором. У калитки дед остановился и взглянул на небо:

— К обеду разгуляется.

Я тоже поднимаю вверх глаза, но, кроме туч, похожих на взбитую шерсть, ничего особенного не вижу. Но над горизонтом сквозь них, рассеянных ветром, проступают кое-где синеватые промоины.

Я каждое утро смотрю на большой лес. Из окна кухни кажется, что лес совсем близко, сразу за конюшней.

Но мы уже прошли и конюшню, и последние за ней амбары, а лес как стоял вдалеке, окутанный сизой дымкой, так и стоит, ничуть не приблизившись к нам. Наоборот, было такое ощущение, что он от нас все время отодвигается.

Я забегаю вперёд, потом останавливаюсь и поджидаю деда у кромки зеленого поля. Он идёт медленно, цепляет хромой ногой прошлогоднюю солому и носком сапога то и дело сбивает в дорожную колею подсохшие после дождя комки глины. Среди зелени проселок напоминает светло-коричневую ленту. Вдали она обрывается, а за поворотом распрямляется снова, испачканная по краям лужами с грязной водой.

Но вот посреди распаханного поля, как островок, остается позади и последний осиновый перелесок. Перед нами открывается настоящий лес. Он стоит неприступной стеной. До середины, как мхом, стена окинута зелёной с блестками листвой, а по самому её верху темнеет зубчатый гребешок изумрудных елей.

Ближе к лесу дорога не так просохла, как на открытом месте, а в двух глубоких колеях покойится вода цвета жженой глины. Я осторожно иду между колеями, боясь оступиться и зачерпнуть. Дед, опираясь на палку, с трудом одолевает разбитую и скользкую обочину. На его сапог навилась растрепанная плеть прелой травы.

Не дожидаясь деда, я быстро добежал до скамейки перед входом в лес. Разъезженная тракторами дорога тяжело и неохотно вползает в лесную чащу и там, за первым крутым поворотом, пропадает.

По её краю, цепляясь за грязные ветки ольшаника, чтобы не соскользнуть в воду, я выхожу на развилку трех лесных дорог. Главная дорога пробивается в глубь леса, две других, петляя между деревьями, расходятся в разные стороны.

Ели и осины стоят вокруг меня – гулкие и могучие, и, как гибкие колонны, подпирают небосвод. Рядом с ними я почувствовал себя таким маленьким и слабым, что мне стало не по себе. Скользу взгляdom по ороговевшему стволу осины и, задирая голову, упираюсь им в синее небо. Там, под его куполом, корона кажется огромным шатром, ветки её переплетаются с ветками других осин, и сквозь листву, бурлящие на ветру зелёным кипятком, пробивается к земле пучок расщеплённых, как лучина, солнечных лучей.



Я оказываюсь как раз в самом его центре, а лучи вокруг меня, как золотой частокол, и нет из этого круга ни входа и ни выхода. Но мне не страшно, я заворожен игрой солнечного калейдоскопа. Опускаю глаза и снова вижу перед собой ствол осины. Прикладываю к гладкой коре ладошку и ухо, обжигаюсь холодом, а внутри осины слышу жаркое и напряженное движенье годовых колец, глухой перестук верховых веток и шумные всплески листвы.

Снова поднимаю глаза вверх, и мной овладевает чувство, что сейчас гудящий поток воздуха затянет меня в бездонную высь, и я окажусь на облаке. Тут я не на шутку струхнул, и резко опустил голову. Теперь деревья стояли передо мной уже так часто, что впереди меня они сливались в одну сплошную стену — коричневую, ребристую и шершавую. За ней-то, наверно, и скрываются дремучие лесные дебри и сказочные чащи. В этот лес и входил на лыжах дядя Паша.

Я стою один. Надо мной гудят мощные кроны и там, где они переплетаются, образуя над головой крышу из темных еловых лап и серебристых листьев, неясно сквозит спокойный неземной свет.

Я еще несколько минут постоял на мягкой хвойной подушке и по той же обочине не вышел, а уже выскоцил из таинственного леса. Дед только что подошел и, придерживая хромую ногу, с трудом усаживался на скамейку.

— Не страшно в лесу-то? — спрашивает он.

Я пожал плечами, не зная, что ему ответить.

— Садись и ты — отдохни...

Я присаживаюсь рядом. Дед прижимает меня к себе и целует в темячко. От дедова кителя пахнет медом и свежими стружками. На сырой лавке штаны мои быстро промокли. Я подсовываю под них ладошки и сушу. Руки тоже остывли, и мне захотелось погреть их о теплые от загара дедовы щеки.

За спиной у нас глухо и грозно шумит лес. Наряженный гул исходит теперь из глубины и, как озноб, пробирает до косточек..

— А теперь пойдем, — говорит дед и легко встает со скамейки.

С дедом мы доходим до первого оврага. Я и не подозревал, что в лесу они тоже есть. По дну оврага течет речка.

— Сороковой враг, — говорит дед.

- Почему «враг»?  
— Так люди называют. Почему сороковой — не знаю. Может, с той стороны леса счет им ведется.

Дед опёрся на палку и о чем-то задумался. Я уже привык к лесу и мне в нем ни капельки не страшно. Вот бы Кольку сюда, подумал я, и тоже, как дед, вздохнул, но с сожалением.

— А ну-ка крикни да погромче, — предлагает дед. — Сложи ладошки корабликом — вот так, — и кричи, что есть силы — Анна!

Я набираю воздуху, делаю всё, как научил дед, и кричу:

- Ан-н-на!  
— А-а-а, — отзывается кто-то за оврагом.  
— Слышишь? Эхо откликается.  
— Кто?

— Эхо. Сейчас оно голосом мамки моей — бабки Анны — откликается нам. Не узнал?

Я снова кричу, и опять доносится в ответ далекое — «а-а-а». Кричу третий раз.

— Это душа её голос нам подаёт — слышит нас.

Дед надолго умолкает, а потом неожиданно начинает рассказывать:

— Люди говорят, что край наш — Буй да Кадуй — черт три года искал, а один человек — тот и вовсе не нашел, заплутал да и канул в лесу. С тех пор каждому звуку голос подает: валежина ли треснет, медведь ли рявкнет. Ну и нам тоже откликается. А видывать его — нет, никто не видал. Он, как невидимка. «Коля!» — крикнут ему, а он в ответ им: «Я-я-я...». А кто «Я» — одному лесу известно...

— А, может, это бабка Анна и отзывалась нам? — переспрашиваю у деда.

— Может, и она, — задумчиво отвечает он и добавляет: — По голосу, так она...

— Конечно, она, — я сам уже искренне в это верю. — Я же узнал её голос, дедушка...

— Ну что, пойдем? — Дед хлопает меня по спине. — К обеду надо вернуться, а нам с тобой еще тычинник рубить. Не зря же топор-то взяли.

Колышков мы так и не нарубили. Вечером я рассказал Кольке о моем разговоре с бабкой Анной и о встрече с лесным эхом...



## ПЛОТНИКИ

### 1.

Дед давно задумал ставить новый дом. Два сруба у пруда на лужайке уже успели обветриться и потускнеть. Год назад желтый цвет окоренных бревен был свежее и ярче. По траве босиком не пройти. В ней жесткая еловая кора и колючие щепки.

— Завтра переезжаем в баню, — сказал с утра дед. — Всю мебель — на сеновал. Придется, внук, потерпеть. Бог даст — за лето управимся...

Дед смерил меня глазами и добавил:

— Для тебя, внук, дом-то рублю? — и сильно потрепал по голове.

Через неделю, сразу после майских праздников, пришли плотники и на моих глазах по бревнышку раскатали старую избу и зимовку. От дома остался только двор, столярная мастерская (прикрытина) и баня.

С этого дня мы живем в бане. В ней одно маленькое оконце с грязным стеклом, и потому в бане с утра до вечера сумрачно. Спим на полу — от порога до печки. Перед сном выгоняем дымом комаров. С первой ночи дух жженых кирпичей, кислой крашеной шерсти и серого мыла так въелся в мою одежду, что не выветривается даже днем. Его не перебивает и смолистый запах стружек.

### 2.

Этим утром я встал рано. В открытую дверь забрел наш боевой пестрой раскраски петух и, что есть мочи, прокукарекал над моим изголовьем. Спросонья я испугался, а петух, видимо, сам струхнул, обнаружив меня, суматошно захлопал крыльями и выскоцил с криком через дедушкину столярку в сад. Даже перья полетели и зависла пыль в светлом проёме прикрытины.



Я долго протираю кулаками глаза и смахиваю с лица песочную сажу, осевшую за ночь на щеки и лоб, потом хлопаю ладонями по ушам, от петушиного крика их заложило.

Наконец, выхожу на улицу, но не в сад, куда выскочил заполошный петух, а со стороны двора – к пруду. По утрам я обхожу свои владения. Начинаю с ближней околицы. Она у меня, как граница.

По эту сторону от изгороди стоят покосившиеся амбары с соломенными крышами. Солома под кривыми жердями серая, жесткая и пыльная, пахнет гнилью и плесенью. В амбараах хранится колхозное зерно. На дверях ржавые замки кузнечной работы. Пороги от времени сносились, венцы изрезаны глубокими щелями и мелкими трещинами, сгнившие сучки выпали или высыплются из своих гнёзд сырой трухой. Стоят амбары с незапамятных времен, и, кажется, нет им износу.

У стен их в зарослях лопухов и крапивы я проверяю свои потаенные места. В них я прячусь от бабушки, когда она меня за что-нибудь отругает. Здесь грущу и мечтаю. О них, местах потаённых, не знает даже Колька. Здесь я храню деревянные игрушки – трактора и машинки. Смотрю: не украл ли кто кованые в кузнице черные скобы и длинные граненые гвозди с круглыми грубыми шляпками. Я их прячу в траве под черемухой. Здесь же стоит мой трон, не царский, конечно. Под него я приспособил гладкий осиновый кряж, застлал его цветным тканым половиком из бабушкиных старых запасов. Когда половик сухой, а после дождя на него не сесть, то водружаюсь на него, как царь здешней округи, сижу и зыркаю из-под нахмуренных строгих бровей на петуха и куриц, которые прячутся в лопухах от хищного ястреба, ищут в рыхлой земле под прошлогодними листьями червяков и жучков.

По ту сторону изгороди лежит сонная проселочная дорога, а от её обочины до самого леса лежат поля, засеянные рожью и овсом. Осмотрю тайник и возвращаюсь к бане. У поленница, где стоят козла для пилки дров, сую озябшие руки в мякоть свежих опилок. Я так люблю парное тепло опилок и душистую их сырость. После завтрака снова выхожу на улицу и, поджиная Кольку, сижу у пруда на окоренном бревне. Смотрю, как ловко на углах сруба плотники подгоняют венец к венцу, и слушаю, как звенят, подбирай в пазах, их серебряные топорики. Я могу слушать эти перезвоны сколько угодно.



Дом подрастает с каждым днем. Пока он без окон и дверей, без крылышка и крыши, но к осени мы справим в нём новоселье. Я закрываю глаза и вижу не избу, а сказочный дворец с белыми палатами и красными светлицами.

Сижу и любуюсь, как на моих глазах рассеянный и холодный свет майского утра настаивается до света дневного – яркого и теплого. А вечером увижу, как багрово-красное солнце, умаявшись за день, зависнет над исаковским холмом и, ломая сноп искрящихся лучей, тихо и торжественно опустится в заулок у избы моего троюродного брата Валерки.

И пруд деревенский с рогожкой зеленою тины тоже превращается по моему велению в сказочное озеро. И уже не Марьина гусыня с красным клювом по нему плавает, хлюпая носом, а Лебедь белая режет грудью озёрную гладь и накатывает грудью легкие волны, а они набегают на берег и радостно причмокивают. И не лошадь дяди Толи Осипова щиплет у конюшни сочную траву, позякивая ржавой цепью, а бьёт на цветущем лугу серебряными копытами по шелковой траве мой сказочный конь – Сивка-Бурка…

– Эй, Царевич! – услышал я голос Коли-Гриши. Он сидит на верхнем венце сруба и машет мне рукавицей. – Подходи чай пить.

Я увидел его и сразу очнулся. Сказочный мир исчез, и я снова очутился в обычном мире – земном. Когда я подошел к плотникам, они уже сидели в саду у костра. Их и всего-то трое: Коля-Гриша из Сумарокова, Валюха Цветков из нашей деревни, Лиды Мазовой муж, да еще незнакомый мне мужик из-за леса, он постарше и на правой руке на месте большого пальца у него закруглённая култышка. Я люблю с ними чаевничать и слушать их рыбацкие байки.

Коля-Гриша – не знаю, почему, но так его называют все – разливал из закопченного котелка в алюминиевые кружки крепко заваренный чай.

– Будешь? – спросил меня.

Я согласно киваю головой и сажусь рядом.

– Вот и молодец!.. Посиди с нами-то – успеешь набегаться.

Коля-Гриша, не торопясь, готовился закурить. Сначала шумно продувает папиросу, потом встряхивает над ухом спичечный коробок, на всякий случай – вдруг спички кончились.



---

С трудом выцарапывает из него заскорузлыми пальцами последнюю спичку и долго чиркает ею по истертому до бумаги боку коробка.

В конце концов, он не выдержал, бросил коробок в огонь, прихватил из костра огненную головешку и, закрыв глаза, смачно и дымно прикурил.

У плотников и лица цвета чайной заварки. Кажется, их щеки не остывают даже ночью. Так и хочется потрогать их ладошкой.

В это утро за кашевара Коля-Гриша. Ему лет пятьдесят, скрипучий и сухой, как сморчок. Шея у него длинная и тонкая. По ней сверху вниз бойко гуляет кадык и катается, как яйцо под куриной кожей. И глаза у Коли-Гриши такие же юркие. Сидят глубоко и сверкают из-под густых черных бровей, как две искорки. На выгоревших до желтизны ресницах дрожит древесная пыль, а на прокуренных усах и в кудрявых на груди волосках шевелятся крупяные опилки. Коля-Гриша страсть как любит врат.

— Ты что сегодня без рыбы-то вернулся? — спросил Валюха Цветков. У него лицо широкое с вечным на щеках румянцем. — Или заснул на берегу?

— Ой, только не спрашивай, — закашлялся Коля-Гриша, да как-то удущливо и с надрывом. Нервно постучал костлявым кулаком по впалой груди, мог и проломить, потом зло сплюнул под ноги, растер слюну каблуком, и только после этого отозвался на Валюхин вопрос.

— Расскажу, так не поверите, — заранее оговорился он и тут же исподлобья оглядел нас и, смакуя, жадно проглотил последнюю затяжку, даже зажмурился от удовольствия. — Такой рыбалки у меня еще не бывало. Как вспомню — мороз по коже. Омут вчера нашел — колдовской! Сижу на берегу и чую: какая-то сила так и тянет, так и тянет меня в глубину. По телу благость такая...

— Коля-Гриша для убедительности даже потянулся и, крякнув, погладил себя ладонью по животу. — Будто с бабой целуюсь. Вот такая внутри истома. А как зенки-то разул — рыба. Верите, нет — глазищи — во! — Он пошевелил жесткой щетинкой бровей и выкатил под пыльные ресницы белки удивленных глаз. — Колдовские, скажу, натурально. И вот, значит, заманивает меня. Иди, мол, иди. Верите, встаю и... по воде круги и темень. Оборачиваюсь — жена, подбоченясь, с дубцом стоит...



— Ну, брат, от греха отвела, — скупо улыбнулся Валюха, щмыгнул по привычке носом и, обжигаясь, прикурил от дымящей головешки потухшую папироску.

— Я ей и говорю, — горячится Коля-Гриша. Врет он искренне и очень переживает, если ему не верят. — Баба, говорю, ты жись мою разбила...

— У тебя не жена, а сила нечистая, — не унимается Валюха.

— Ну, это ты брось, — по-детски обижается Коля-Гриша, — может, твоя баба нечисть какая, а моя — медок липовый...

— То-то и оно, — засмеялся Валюха, перекинув языком папироску из одного уголка рта в другой, — что липовый медок-то — не натуральный то есть.

Коля-Гриша обиженно отмахнулся от него, запримокивал, облизывая сизые пересохшие губы, и стал соскабливать желтым от махорки ногтем прилипшую на коленке янтарную смолу.

Мне стало жалко его. Я протянул Коле-Грише гвоздь из своих запасов. И не простой граненый, а волшебный, выкованный в залесской кузнице за Черными лужами...

### 3.

Плотники сидят на срубе до позднего часа: ночи стоят светлые, тихие и теплые. Часов в девять, когда начинает смеркаться, Коля-Гриша с Валюхой уходят по домам, а Палыч, так зовут третьего плотника, остаётся у нас.

Вечером он долго сидит у костра и курит. Огонь волнуется на его щеках и лбу, всё норовит чуб его пышный подпалить, да никак дотянуться не может.

Я присаживаюсь рядом на берёзовый кряж. Из бани выходит дед с табуреткой и тоже садится. Следом за ним и бабушка появляется с кринкой молока.

— Прямо из подойника, — подает кружку Палычу. — Пей, молочное брюхо. Вовульк, будешь?

Я отказываюсь, а Палыч выпивает за один дух и снова подставляет кружку.

— Грешен, Егоровна, люблю — наливай вторую.

— А я бы от стопки не отказался, — подстал к разговору дед и вздохнул. — Вот до тринадцатого венца дойдём, так разговеемся. Тринадцатое — моё число.

— Ишь, чего надумал! — оговаривает бабушка. — Сначала избу сруби, а уж потом и празднуй.

Палыч комкает в широкой горсти губы и привычным движением вытирает с них молочный налёт. Ловко у него это получается.

— А что Палыч, войну часто вспоминаешь? — спрашивает дед, подгребая к костру отпавшие головешки.

— А куда ж от неё денешься, — поднимает голову Палыч, и в глазах его вдруг заискрились тревожные огоньки. — Ты вот о числе тринадцать вспомнил, а ведь у меня с ним, Семёныч, тоже связь кровная. Я и родился тринадцатого октября.

— Неужели тринадцатого, — оживляется дед, — выходит с тобой, внук, день в день. Ну-ка, ну, расскажи...

— А я расскажу, Семёныч, как я на войне свой День рождения отпраздновал. — Палыч расправил плечи, встряхнул головой, будто взбадривая себя, и пошугал ладонью зудящих комаров.

— Только вот закурю. Без «козьей ножки» не могу. Я ведь так с войны махорку и курю, от папирос кашель душит, во, как втянулся...

О войне с фашистами я ничего не знаю. Дед говорил, что из деревни всех мужиков и ребят, чей возраст подошёл, на фронт забрали, а обратно никто не вернулся. Деда не взяли из-за ноги. В День Победы всегда слушаю песни о войне. Да ещё в разговорах застольных слышу порой, как женщины, вспоминая военные годы, плачут о не вернувшихся мужьях и посылают в церковь свечки за упокой их молодых душ.

Палыч раскурил «козью ножку». Затянулся вспасть и утонул в белом дыме и, будто и не в дым, а в прошлое погрузился — дымное, огненное, болевое.

— Смотрю на огонь, — начал он и, прикрываясь от жара ладонью, отодвинул свой кряж подальше от костра. — Сморою, и, не поверишь, всё вижу, как наяву. Вчера в бой ходил, а сегодня у меня День рождения. Нашел в траве осколок от немецкого зеркала и стал щетину недельную сбивать.

Утро, помню, тихое было. А там, где мы стояли, вишнёвый сад рос. Красивый такой. От ягод черным-черно. А в глубине сада — сарайчик. В нем стояла корова бабки Ганы. Даже во время боёв.

Слыши, кто-то окликает меня. Оборачиваюсь — Серега Субботко, командир расчета минометной батареи. Я у него



раньше служил. Многих ещё по Маршанску знал — по училищу. Потому так и обрадовался.

— Откуда? — говорю.

— Из ада, — отвечает.

А и верно, все мы из ада вчера вышли. Много ребят полегло. Я и сам не мог поверить, что жив. Ушибну себя за щеку — больно. Значит, живой. Мог бы до двадцатилетия и не дожить. Запросто мог. А бабка Гана жила рядом — в погребе. Добрая старушка, невесомая, вся будто из света соткана. В чём только и дух держался. У неё в дни затишья мы штопались и мылись. Дай, думаю, загляну к ней.

Старушка приняла меня, как дорогого гостя, нагрела воды. Три недели голову не мыл, даже воротничок подшил, а на него мне бабка Гана лоскнут от своей кофты отрезала.

Потом мы сели с ней за стол. Старушка напоила меня парным молоком. Слышишь, Егоровна! — Палыч повернулся к бабушке, она сидела у меня за спиной и беспрестанно махала над моей головой берёзовой веткой. — Молоко после боя и вокурат в День моего рождения. О таком и не мечтал! Так в сказках только бывает, да и не в простых, а волшебных. Вот уж была радость для меня, словами не описать. И помню, дала ещё мне бабка Гана два больших красных яблока. А на прощанье прижала к себе и, как мать сыну, сказала:

— Береги себя...

И в эту самую минуту погреб вздрогнул, аж кружка со стола свалилась и по полу забрякала. Я бросился на КП. Тут новый взрыв. Едва успел упасть в траншею. Земля в рот набилась, в волосы, за гимнастерку. И так мне было обидно — из-за воротничка-то. Уж так обидно. Ведь только успел пришить, думал, покрасуюсь перед связистками — и на тебе.

В саду увидел раненых. Лежал тут и Серёга Субботко. Вроде и полчаса не прошло, как виделись-то, а за ним смерть, будто по пятам шла. Лежит, ноги перебиты, лицо белее погребального полотна. Пристроили его в сарайчик, чтобы потом на другой берег Днепра переправить.

— Ну вот, — прохрипел Серёга, — не удалось твой День рождения...

А говорить ему трудно, по слову выдавливает и то через боль. Уж молчал бы.

— Видно не ты, Палыч, первый, — я.

Губы, вижу, у него пересохли, а облизать сил нет. Меня в пот бросило. Держись, говорю.

Тогда я, Семёныч, и загадал: если сегодня не убьют, то буду жить. Загадал и успокоился. А день-то только начинался. Мне бы День рождения отмечать, а тут приказ: атаковать и взять высоту. Замполит собрал нас, а и всего-то от батальона человек шестьдесят осталось. Километра полтора прошли быстро. Дошли до заболоченного луга. Место открытое. Разделились на пятерки. В одну из перебежек упал боец.

Стало ясно: где-то сидит снайпер. Теперь один из пяти до конца луга не добежит. И верно: вот и второй боец уткнулся в трясину. Третий. И тут замполит командует:

— Бежать всем...

Не успел скомандовать, вижу, к ручью паренёк бежит.

— Куда! — кричу. — Стой!

Куда там — бежит! У ручья упал и всё...

Дальше шли по голой балке. Уже видны были на высоте траншеи немцев. Как щели.

Вдруг!.. Мины. А это страшно. После обстрела в живых остались замполит да шестеро бойцов — укрылись в воронке. А меня спас старый пень. Осколки изрешетили его в щепки. И вот, Семёныч, не поверишь, лежу, смерть рядом, а я разглядываю, как под корой пня муравьи мечутся...

Окопались мы, стали ждать вечера.

Вот он, думаю, был мой первый круг, еще только первый...  
А что дальше?!

С темнотой прошли мертвую поляну, ручей и добрались до КП. А связи нет. Линия оборвана. С полком не связаться, без подкрепления не устоим, обороняться и наступать уже некому.

Решил идти сам. Я один знал, где штаб. Местечко — шаром покати. Смотрю и думаю, где подстрелят — у канавы или там — чуть дальше?

Бегу по полю, а сердце ломится, как в клетке, того и гляди из груди выскочит:

— Быстрей, Палыч, быстрей. — Командую сам себе. — Легче, легче, не по болоту бежишь. Ну! Всё! — Упал у межи. Прислушиваюсь. — Стрелял снайпер или нет? Не слышно. Упустил, Ганс. Упустил, злорадствую, жди теперь...

Ползу выше. Межа изгибается.



— Дай Бог — успею! Пока заметит, прицелится — проскочу, а вдруг. Нет, сразу не возьмет. Быстрой, — вскакиваю и бегу, а спиной будто вижу. — Целится, Ганс, целится...

И вдруг с боку просвистела пуля, услышал, как треснула ветка, а я бегу. Вот он — сад! Всё! Не сам, а будто кто-то другой силой бросил меня в кусты.

— Жив! — чуть не кричу, ощупываю себя. — Что это? Шинель выше локтя прострелена. В сердце метил...

Я разделся. Пуля даже рубашку нижнюю взлохматила — во как! А на теле — ни царапинки. Вот и думай — случай это или что? А это был мой второй круг...

В штабе мне дали двенадцать автоматчиков — из пополнения. Замполит поговорил с ними, а я повёл их разводить по местам. На всякий случай подход заминировал. Сам отогнул от лимонки зажимы, кольцо привязал веревочкой, протянул её через тропинку к деревцу. Пусть, думаю, сунутся...

Обратно возвращался уже в темноте и с тропы-то сбился, стал искать её, шарить ногой. И вдруг — искорка! Слева — крохотная такая искорка, как острье накаленной иголки.

— Мина! — сработала мгновенно мысль. Я шарахнулся в сторону, и уже на земле услышал взрыв, а следом — пальбу. Тут уж я точно был на волоске от смерти. Но снова выжил. Опять остался жив! Помню, даже заплакал. Не знаю, и от чего. Наверно, от счастья, что не убили. Тогда долго я лежал на дне оврага. Это был мой третий круг...

По откосу добрался до вишневого сада. Там догорал сарай. Тот самый, куда мы перенесли раненого Субботко.

У меня и сердце упало. От сарая уже одни угли остались. В кустах увидел корову бабки Ганы. Она лежала на земле и шумно дышала. Губы слюнявые и все в налипших листьях от вишни. Я стал искать Серёжу. Увидел его недалеко от сарая. На спине чадили остатки одежды.

Вот и всё. И опять меня стали слёзы душить. Он так боялся смерти. Всё говорил, жить хочу. А ведь умереть-то я должен был. Из-за меня всё и случилось — взрыв мины, пожар, стрельба.

Здесь, в саду, у КП, и зарыл я Серёгу. А потом приткнулся к могильному холмику, да и уснул на шинели. Проснулся поздно. А вокруг опять тихо, такая же тишина, как утром в День рождения, когда брился. Солнце высоко. Листья под вишнями, как кровь запёкшаяся. Пахнет дымом и яблоками.

Вижу всё на месте – излучина Днепра, а на берегу осенний лес. На Украине он тоже по осени красивый. Уже потом, в штабе полка, попалась мне на глаза газета «Красная звезда» – от 13 октября 1943 года. Я сохранил её. Так вот в ней про нас было написано примерно так: в этот день на правом берегу Днепра весь день шла упорная борьба за высоту, а к исходу дня немцев с этой высоты выбили. Вот так, Семёныч, я встретил двадцатый год моей жизни... Палыч умолк, подобрал палку и пошевелил в костре. Искры испуганно взметнулись в небо.

– Вот, искру-то видишь, – поглядел он на меня и сунул беспалую ладонь в гущу огненной россыпи, хотел видно одну искру поймать в кулак и показать мне, – так вот и тогда искорка-то перед взрывом такая же точно была...

– И верно, как остриё булавки, Вовульк, видишь, – дед тоже поворошил угли и вызвал новый сноп искр. А потом повернулся к Палычу и переспросил: – В 43-м, говоришь. Выходит, внук мой появился на свет ровно через десять лет. А не разбей тогда немцев, не прогони их, так и неизвестно, как бы всё и обернулось. Может, и не сидели бы мы вот так, как сегодня, не грелись бы у костра, не пили бы парное молоко...

– А куда делись красные яблоки? – не удержался и спросил я. Спросил и покраснел. Так мне стало неловко, будто спросил я совсем не о том, о чём бы надо. Но ведь дала ему бабка Гана два красных яблока. Сам говорил.

– Яблоки, говоришь, – улыбнулся Палыч. – А я разве не сказал? – Он погладил меня по голове и обернулся к деду. – А внук-то у тебя, Семёныч, слушать умеет. Молодец.

Тут я и успокоился. Значит, Палыч не обиделся. Он просто забыл о яблоках, до них ли было, когда кругом взрывы.

– А яблоки я положил на могилу Серёжи Субботко. Может, на ней уже яблонька выросла? Как думаешь? Всё собираюсь съездить к нему, поглядеть, жива ли могилка, растёт ли сад вишневый, да всё никак не соберусь. Вот избу тебе ко Дню рождения поставим, тогда и поеду. Привезу тебе оттуда и вишен, и яблок, и воды с Днепра. А хорошо, что про яблоки-то вспомнил – молодец...

Мы еще долго сидели у костра. Палыч курил махорку. Дед молчал, гоняя веткой комаров, а бабушка, не проронив ни слова, ушла с пустой кринкой в баню.

Я думал о войне...



ЛЕТО





## ИЮЛЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ

С вечера прогноз обнадеживал: дождя не обещали.

— Горшок с кашей на шестке, молоко в чулане, — причитала надо мной поутру бабушка, — от дому, смотри, не убегай — сторожи куриц...

Я встал около полудня, в избе уже парило. Все сделал, как велела бабушка, и, сунув в карман сдобную витушку, выбежал в заулок.

Деревня как вымерла, даже собаки не лают. Только Семиchin петух навострил ухо, стоит на одной ноге посреди улицы и, склонив головку набок, к чему-то напряженно прислушивается. Из-под вялого и одрябшего на жаре гребешка поблескивает на солнце черный стеклянный глаз.

Любуюсь петухом и вспоминаю про куриц. Вчера у Марьи Ермиловны ястреб чуть не унес цыпленка. Сажусь на лавку под березой и смотрю на небо. Мутновато-синее, оно дышит зноем. А белесые и взбитые до пуха облака свисают с него, как с потолка паутина, — где попало.

Ястреба не вижу. По небу с писком чиркают только суетливые ласточки да прыскают стайками юркие воробы с проводов в траву, где закипают, как грязная пена в чугуне с картошкой.

Глаза от горячего света, даже прикрытые ладошкой, вдруг резко заломило, и я на мгновенье будто ослеп. Судорожно заморгал ими, тру кулачками слезы и тупо гляжу в землю. Передо мной, как через увеличительное стекло, стала проявляться трава: и не пыльная, как минуту назад, а яркая и сочная, как после дождя. В ней неуклюже ворочался черный с сизым отливом костяной жук, и кишели бестолково вокруг хлебной крошки потные муравьи.

В такой знойный день время как будто замирает и останавливается. Листва на деревьях цепнеет, не шелохнется и не вздрогнет.



У распахнутых настежь дворов стоит тяжелый дух навоза, а сеновалы пышут жаром, напоённым кислым запахом слежавшегося сена. Над грядками в садах струится горячее марево, это парит и поблескивает раскаленный до серебристой слюды воздух.

Такое ощущение, что, спасаясь от жары и зноя, хозяева бросили избы в большой спешке. У Марии Васиной даже калитку не приткнули палкой, а по заулку валяются разбросанные берёзовые кряжи, пустые ведра и детские игрушки. В тугой тишине, сковавшей в округе всё живое, стоит и нарастает гудящий звон, который сильно давит на ушные перепонки. Того и гляди — лопнут.

Сижу и боюсь лишний раз пошевелиться.

Перевожу взгляд на улицу, а на ней ни души. Одна на всю деревню бабка Анна в серых с галошами валенках сидит в притворе крыльца и, положив на клюшку сморщененный подбородок, мирно и сладко дремлет. Рядом с ней в тени у порога тяжело дышит такой же старый Шарик, выбросив на лапы бледный и почти сухой язык.

Люди зовут Анну Медведицей. Может, потому, что она грузная и по деревне ходит, переваливаясь с боку на бок. Старики помнят, как Семен привез её из дальней деревни — чужую и нелюдимую. Может, так Анну зовут и потому, что Семена на охоте заломал медведь.

Анна осталась одна с сыном Ленком. Ленко рос хилым, но буйным. Однажды в драке порубил себе руку. Анна плакала. Думала без внуков останется, но Бог миловал. Ленко, как и батько его, уехал в город и привез жену Шуру. Шура боялась его, а Ленко её под пьяную руку частенько бил. Зато детей у них было много.

Когда Ленко в колхозе получил квартиру, то увез семью в Сумароково. Медведица снова осталась одна.

Я побаиваюсь её, потому что в деревне Анну за глаза называют колдуньей. Слышал, бабушка рассказывала деду, как Анна, чтобы досадить своей обидчице, прокралась к ней во двор, собрала в узелок навоз, обмазала коровьей слюной тряпку и спрятала её под сено. Летом хозяйская корова объелась овсом и пала. Бабушка украдкой крестится, когда проходит мимо дома Медведицы. Я тоже сторонюсь его и пробегаю мимо избы бегом.

Мне кажется, и дым над её избой иной раз валит какого-то странного цвета, будто ядовитого. И петух-то на дворе кукарекает как-то таинственно и не даёт спуску деревенским крикунам.

Анна и сама больше молчит. Из дома выходит редко. По весне она днями пропадает в лесу и собирает диковинные волшебные травы.

Иногда Медведица берёт к себе внука Тольку. Он плохо говорит (немует), но крик его, когда он заревет, слышится из конца в конец деревни.

Вот и сейчас он в одиночку играет в заулке. Бабушку он слушается плохо.

Бывает, у Анны от его проказ и терпенье лопает, тогда она хватает с лавки приготовленную веревку и грозит внуку, а если он подвернется под руку, то и стеганёт его, куда придется, и со всего-то размаха.

— Вот тебе, гаденыш, на-ка. Будешь знать, как баушку не слушаться...

Тогда Толька кричит на всю улицу, размазывает по щекам грязными ручонками слезы и, забившись под крыльцо, нервно и долго всхлипывает, чихая от пыли и куриного пуха.

Анна, отхлестав внука, садится на лавку и плачет, жалея его. Чужих детей она не любит и злится, когда видит на них обновы, прогоняет от крыльца.

Толька, вижу, тычет пальцем в мою сторону и будто жалуется на меня своей бабке, но она не обращает на него никакого внимания. Рядом с ним валяются чурбаны, поленья и остатки сломанных железных машинок. Толька таскает их по земле, взбитой до пыли курицами, и усердно до дрожи в теле гудит, разбрызгивая тягучую слону.

Однажды Анну привезли с сенокоса на телеге. Она сорвалась со скирды. Когда Анну вносили в избу, с головы у неё упал платок. Помню — клетчатый. Я поднял его и занес в избу.

В избе у неё я никогда прежде не был. Она у неё низкая, хотя с виду дом таким маленьким не кажется. Пол в избе не крашенный, а щели и трещины набились черная сырья грязь. Потолок, закопченный печной сажей, темнел, как после пожара. Со стен свисали обрывки обоев с засохшим клейстером, неведомо какой поры и какой расцветки. У окна стоял самодельный стол с засаленной столешницей без клеёнки, а над ним висела уже



сухая липучка с мухами. Рядом громоздился сундук, который заменял ей топчан. На нем, сваленные в кучу, лежали пальтушки, платки и тулузы.

Анну положили на сундук, укрыли рваным тулупом на овечьем меху.

Я повесил платок на стул у дверей и услышал немощный голос Анны.

— Ну, вот и мой час настал, — простонала она, глядя в потолок, и закашляла. Потом тяжело вздохнула и положила руку на поясницу. — Помирать, видно, надо. Зажилась. Сама измучилась, да и людей умаяла...

Не забыть, как в грязной избе вдруг резанул по глазам свет ослепительно белых занавесок. Наверно, невестка повесила...

Я выбежал на улицу из душной избы с тяжелым чувством и стал часто вдыхать у крыльца свежий воздух.

Через неделю Анна встала на ноги.

— Она и нас всех переживет, — сказал дед, увидев её у крыльца среди куриц, — да и внуков своих тоже...

И вот живет и ничего ей не делается...

В воздухе, светясь, дрожит раскаленная хмаря. Над головой сеется мошкова, звенят нудно осы и перед глазами надоедливо мечутся, как угорелые, слепни да мухи. Слышу, как над прудом шелестят крыльями слюдяные стрекозы.

Спасаясь от них, я ухожу на сеновал, забираюсь под марлевый полог, тычусь носом в прохладную подушку и неожиданно для себя засыпаю...

Проснулся от всплеска петушиного крика. Вскакиваю, как ужаленный, — ястреб! Выбегаю во двор и облегченно вздыхаю, видя, как в окружении полусонных куриц прогуливается у распахнутых настежь ворот сморенный зноем петух и в зобу у него тихо угасает добродушный клекот...



## ПАСТУШНЯ

### 1.

Сегодня скотину на «жару» пригнали рано. Сгонять будем часа через три, когда поспадет зной. Пастух Колька Корзинкин попинал в столб кирзовым сапогом с подковой, опробовал, много ли в нём накопилось пыли, бросил в заулке измучённую плеть, повесил на штакетину седую от солнца кепку, уже на крыльце стукнул каблук о каблук, сбивая пыль, и, пригибаясь на пороге, вошел в баню на правах званого гостя.

Бабушка вытаскивала из печки чугунок с зелеными щами. Ухват поскрипывал, а чугун жёстко шаркал о чумазый шесток.

— Заели, поди, батюшко, слепни-то.

— Прихватывают, — буркнул в ответ Колька и сунул под умы-вальник красные, будто распаренные в бане, руки. Белое мыло в его ладонях превратилось в пепельно-серую пену.

С нынешнего дня пастух стоит на очереди у нас. Три дня он будет приходить на завтрак, обед и ужин, потому как у нас в стаде пасутся корова, теленок и овца. За каждую животинку по череду.

Я люблю, когда пастух на постое. Даже еда в эти дни становится вкуснее. И бабушка хлопочет как-то по-особому. А пироги печет, как на праздник, чтобы не хуже, чем у других, было. Колька, правда, не привередливый, но солощий, как говорит дед, ест много и по-коровьи чавкает...

Пока он обедал, я ждал его на улице. Минут через двадцать Колька вышел.

— Ну что, мелюзга, пасти пойдете? — съято отрыгнул он и по привычке нахлопал в кармане отцовских светло-синих брюк мятую пачку папирос.

— Не знаю, — пожал я плечами, хотя еще вчера мы договорились с Колькой, что с обеда пойдем на пастушню.



Мне Колька Корзинкин нравится. Ему уже пятнадцать. Он даже курит не тайком. Вот и сейчас, как бывалый мужик, садится на крыльце, закидывает ногу на ногу и, не глядя на коробок, чиркает по нему спичкой. Но прикуривать не спешит. Ждет, пока разгорится пламя, и только тогда, когда оно начинает уже обжигать пальцы, он, и тоже не глядя, подносит спичку к свеченькой с голубым отливом папироске и, раскуривая её, жадно в сладость затягивается и утопает в облаке слоистого ленивого дыма.

Подсаживаюсь к нему поближе, вожу чутким носом и ловлю сладкий запах «Севера». Я слежу за Колькой и знаю, что сейчас он подопрет золотушным кулаком сальный подбородок, ловко сплюнет сквозь редкие зубы и задумается о чем-то очень-очень важном. У него уже жизнь взрослая, а в ней самому крутиться надо.

Волосы у Кольки рыжие и зачесаны назад. А на руках торчатся, переливаясь на солнце, желтые блестящие ворсинки. Глаза у него хитрые и всегда с прищуром, даже, когда не курит. Папироска, потрескивая и искря, при каждой затяжке яро краснеет, обрастаёт рыхлым пеплом, и огонёк быстро подбирается к мундштуку. Смачно поплевав на неё, Колька отработанным щелчком бросает измочаленный зубами окурок в крапиву, обтирает о штаны обслюнявшиеся пальцы и, не говоря ни слова, уходит на сеновал спать. Так у пастухов заведено.

Я остаюсь один, подхожу к палисаду, снимаю со штакетины пастушью кепку и примеряю — великовата. От кепки пахнет солнцем вперемежку с потом и сеном, а на козырьке прилипла засохшая кровь с мутными крылышками убитого слепня.

Иду в баню и тоже ложусь на матрац отдохнуть. Пастушня дело серьёзное, требует сил и терпения.

## 2.

Сухой без эха стук барабанки услышал уже сквозь сон. Вскакиваю и бегу на улицу. Стадо уже стекает под гору и, подняв дорожную пыль, отмахивается хвостами от оводов и мошки.

Колька Осипов ждал меня у своего дома. В руке у него отцовская плетка. Я же плётку, подаренную мне Колькой на день рождения, забыл в палисаде.

Мы входим с ним в пыльное и духовитое, гудящее слепнями и мухами, облако и семеним по обе стороны от пастуха. Земля под ногами мелко дрожит и пружинит, каждый камешек отмечается на пятках. В ушах смешались глухое шарканье копыт, овечье блеянье и шумные вздохи коров.

– Куда погоним? – кричу я Кольке Корзинкину.

– Под Исаково. Там дружок меня поджидает.

Пыль забивает глаза, сушит нос и, словно стеклянная крошка, противно скрипит на зубах. За деревней, спасаясь от неё, мы обгоняем стадо и вприпрыжку, сбивая пальцами босых ног головки ромашек, бежим под гору. Останавливаемся у речки. Там, где ее переходит стадо.

Гремячка – речка мелкая, воробей брюшко не замочит. Журчит она себе под нос, сон навевает. Вода в ней прозрачная и холдная, бежит по серому, как овечья шкура, каменистому дну, обнимая каждый камешек, и только на самой середине неспешно заплетается в косичку, а солнышко в неё вплетает золотистые бантики и запускает выводки солнечных зайчиков.

Берега её заросли черёмухой, кустами бредины и глухим ольшаником, но мы с Колькой знаем места, где растет красная и черная смородина, толькоходить туда боимся, там много цепкой и липкой паутины.

Стоим у реки и ждем, когда подойдет стадо. Колька, съежившись, потрогал босой ногой речную воду и тут же, как от огня, с криком её отдернул.

– Чур, ты, первый, чур, ты, чур, ты! – скривившись, запричитал он.

Я спорить не стал – первый, так первый – и, подтянув штаны, брезгливо, как в сырой сапог, сунул босую ступню в рваный коровий след. Вода в нем будто обожгла. У меня дыхание перехватило. Я набрал воздуха, закрыл глаза и на носочках, чуть касаясь воды, скрёхонько перебежал на другой берег. Даже серебряных искр-брзыг и тех не успел из воды высечь.

Очнулся, поглядел на ноги и обомлел. Ноги мои покрылись пылью и, казалось, что стоял на берегу в порванных галошах горчичного цвета – бархатных и очень теплых.

Колька у края речки держится за живот и смеётся. Он и не думает её переходить. Помахал мне насмешливо рукой и пошел в обратную сторону.



Ну и ладно, решил я обидеться, но передумал и со всех ног бросился на исаковский холм. Знал, что пасти сегодня мы будем под ним – в лощине. С холма видно всё, как на ладони. У реки толпится стадо, как в пруду по весне кишат головастики. Колька стоит по шею в пыльной завесе, что-то кричит и машет плеткой, но коровы, телята и овцы на него не обращают внимания. Каждая животина, измученная мошкой и разморенная зноем, прежде чем перейти речку, хочет досыта из неё напиться и потому терпеливо ждет на берегу своей очереди.

Я сел на горячий валун, снял с подорожника божью коровку, посадил её на тыльную сторону ладони и стал рассматривать. Она перебирала по коже щекотливыми ножками и пытлась взлететь. Её красные в горошек крылья похожи на скорлупу пасхального яичка. Она хрустит и трескается посередине, а из-под неё с шелестом выскользывают маслянистые светло-коричневые пленки-подкрылки.

Божья коровка, – вслух приговариваю я, – улетай на небо, там твои детки кушают котлетки... Но божья коровка улетать не хочет. Тогда я подбрасываю её вверх и теряю из виду.

Тем временем стадо уже переправилось через реку и расположилось по лощине у подножья холма. Коровы, спасаясь от оводов, зарываются в прибрежные кусты, а овцы бегают от барана по выбитому копытами порыжевшему склону. Колька, по колена грязный, волок по сухой траве мокрую пастушью плеть и с оттяжкой хлестал своей плеткой. С конца её озлобленно и с шипом срывались сырье хлопки и тут же гасли.

– Дай хлопнуть, – прошу у него плеть.

– Не дам, – ломается Колька. – Убежал от нас – вот и сиди тут...

От реки с веткой бредины поднимается в гору Колька Корзинкин, а с ним какой-то мужичок странного вида – в красной рубахе навыпуск и на босу ногу. У Кольки голенища сапог, размоченные в воде, мутно поблескивают, а забрызганные штаны на коленках почернели, из кармана, как разинутый вороний клюв, торчит козырьком наружу скомканная серая кепка. Во рту у пастуха из угла в угол гуляет потухшая папироска.

– Знакомьтесь, это Вася Шалопай, – хлопает он по плечу сморщенного мужика. – Он к нам с юга приехал, с моря. Много чего повидал. Может, что и расскажет. Пить кто хочет? – Колька ловко со спины на бок перекидывает кожаную почтальон-

скую сумку и достает из неё запотевшую бутылку с клюквенным морсом. Он её с утра держал в реке под корягой. – Ну, кто первый?

У Кольки руки были заняты, и я на глазах у него начинаю пить из горлышка. Колька считает мои глотки и уже готов осадить меня по спине отцовской плеткой. Я обтираю ладонью губы и протягиваю бутылку пастуху. Пусть сам передает. Колька бросил на землю плеть, взял бутылку и запрокинул голову. Его чуткий кадык судорожно заметался под белой с грязными разводами кожей. Я глядел на него и жалел, что мало отпил.

– А теперь за дело, – говорит, опустившись на валун, Колька Корзинкин. – Ты, – поворачивается ко мне, – беги к липе, видишь, на той стороне оврага и следи, чтобы овцы за неё не бегали. – А ты, – переводит взгляд на Кольку, – ты с плетью – на тебе коровы. Особенно за Горбылем смотри – он, как черт шелудивый, всё в лес норовит, убежит – не нащемся, понял? Ну, давай, по местам, а мы тут посидим. Если что – свистите...

Другу моему пастух доверяет больше. Колька уверенно зажинул на плечо тяжёлую плеть, искося взглянул на меня и небрежно бросил к моим ногам плетку.

– На, держи – да не потеряй...

Я поднимаю плетку и, не говоря ни слова, ухожу к липе. Крыть мне было нечём. Колька и лошадь запрягать умеет, и свистки из ивовых прутьев делать, и плетью хлопает куда лучше меня...

Солнце исходило зноем. Припекало даже в тени под липой. Слепни будто взбесились, гонялись уже и друг за дружкой. Белесая мерцающая хмаря висела над сумароковским холмом. Небо над макушками елок выгорело до застиранной белизны. Редкие облака изредка вспыхивали блестками и без следа растворялись в раскаленном воздухе. Босые ступни горели. Под ними похрустывала жесткая, как проволока, спаленная солнцем трава. На пригорке, как запекшиеся капли крови, чернели сморщеные ягоды земляники. Я сорвал одну, разжевал и тут же выплюнул. К языку прилипли сухие безвкусные крошки.

Стадо сбилось почти у самой речки. Колька выгоняет коров из кустов. Его светлая головка мечется между ветками, как солнечный зайчик.

Мне стало жалко Кольку. Коровы не слушались его, вскидывали искусанные морды и напролом лезли в густые заросли



ольшаника. Даже на холме слышно, как шуршат листья и как потрескивают под ногами коряги и сучки.

То ли дело овцы. Улеглись дружно в болотине и жуют себе травку. С ними у меня никаких забот. Сижу под липой и в небо поплевываю — назло Кольке. Жаль, что он не видит, заревел бы от зависти. Хотя, по правде сказать, мне без него уже скучно. Я успел обежать все пригорки, вволю похлопать плеткой и не раз пересчитать порученных мне овец. И потому подумал-подумал и решил помочь другу...

### 3.

К стоянке пастуха мы возвращаемся вместе. Колька Корзинкин, высунув от усердия малиновый язычок, вырезает ножиком узоры на черемуховой палке — красивый получается посох. Рядом сидит Вася, глаз с Кольки не сводит, и всё говорит, язычок на место не положит. Глаза у Васи заискивают, так и бегают по кругу, как заводные, ни на чем взгляд задержаться не может. Руки в наколках и такие суетливые, нервные и трясущие: то он брюки прищипывает, то рубаху на животе разглаживает, а сплетёт пальцы обеих рук в «замок» и до хруста выворачивает их. Вася весь в напряжении, ерзает на ягодицах, аж пыль из-под него клубится, языком губы облизывает и носом пришмыгивает, будто учゅять чего хочет.

Мы с Колькой прислушиваемся к его рассказам.

— А знаешь, как я первый раз в тюрьму попал? — Заглядывает он в глаза пастуху и ждёт его одобрения. — Рассказать?

— Ну, расскажи, — не отрываясь от дела, позволяет Васе Колька Корзинкин.

— Ну так, слушай. Забавная история. У меня как раз брат из тюрьмы вышел. Сидим, значит, дома, пьем за свободу. С нами еще знакомый мужик с бабой был. Хорошо посидели. Даже песни попели. А утром-то мужик этот и говорит: «Надо бы патефон продать. Деньги нужны. Хочу к матери в деревню съездить...»

Дело, думаем, хорошее, сыновнее. Почему бы и не продать? Мать — дело святое.

И ко мне, значит, подруливает: «Сходи, говорит, возьми его у меня дома. И рассказал, как его дом в селе найти. Взял я у него дома патефон. Старый патефон-то уже, с потёртой крышкой. Вижу, мужик знакомый едет на лошади. Останавливай его.

«Возьми, говорю, патефон». Мужик подумал и сказал: «Погоди час. Доеду до свата, денег возьму и вернусь...» «Ну, хорошо, приезжай. Я дома буду».

И верно, ровно через час приехал. «Сколько просишь?» – «А давай тыщу, да и разойдемся». – «Да ты что, – стал он торговаться. – За такую цену в городе и поновей куплю».

Чувствую, с таким покупателем можно и не сторговаться. «Давай семьсот и по рукам. Идет?» – «Ну, ладно...»

Отсчитал он мне деньги и уехал, а я зашел в лавку, купил вина, закусочки и вернулся домой. Праздник, значит, продолжался...

А через неделю в доме у нас вдруг появляется милиционер со следователем. «Ты, – спрашивает, – патефон продал?» – «Я, – отвечаю. – А что?» – «А то, – говорит следователь, – что патефон этот краденый». – «Как краденый? Я же мужика знакомого патефон-то продавал. По его же, говорю, и просьбе. Ему деньги на поездку были нужны». «Да нет, Василий Иванович, не его это был дом, в чужую избу он тебя отправил. Потому, дескать, и называется это не просто продажей, а продажей краденого. Чувствуешь разницу?»

Так и дали мне год условно. Ничего бы, вроде, и страшного, да вот не выдержал я срока – трижды сорвался, и отправили меня на зону под Киров. Там я и отбывал срок – не условный, как понимаешь, а настоящий. Там я много чего узнал и повидал...

Слушал его и думал: вот они какие – тюремщики-то. Видно в тюрьме-то его здорово потрепали. Весь он какой-то мятый, гнутый, скрипучий. На темячке лысина от загара шелушится, а нос расплюснут и чуть набок сворочен. Этот, наверно, и убить сможет.

– Покурить оставь, – просит пастуха, – а то во рту сушь и в голове шум.

Колька посмотрел на папиросу, много ли осталось, зобнул пару раз и, оторвав зубами слюнявый кончик мундштука, протянул остаток Васе. Тот нервно схватил окурок, прилип к нему губами и, спалив табак до бумаги, жадно всосал в себя весь оставшийся дым. Потом с закрытыми глазами долго выпускал его через чуткие ноздри с раскаленными добела выпяченными крыльями...



---

#### 4.

День на пастушне тянется дольше, чем в деревне. Кажется, что ему и конца не будет. Вот и жара поспала уже, и солнце не так жжется, и овода, обессилев, поугомонились, и коровы давно не рвутся в лес, а мы все сидим на холме и сидим. Я смотрю в сторону деревни. Её из-за холмов не видно. До нашей горы еще идти и идти. Уж скорей бы!

Друг мой закадычный чешет на ногах старые болячки и, размазав слюну на листке подорожника, прикладывает его на свежие царапины.

— Скажи, а ты Лешего видел? — спрашиваю у пастуха.

— Видел и не раз, — всерьез отвечает Колька.

— А какой он?

— Обыкновенный — как человек. Только весь в листвах, как веник. На голове листья ивовые, борода из акации, на руках и ногах — осиновые, а на спине и животе — березовые листья. Ходит и шуршит. Веселый такой. Коров по утрам иногда пугает...

— Вот бы поглядеть на него, — вздыхает мой дружок Колька.

— Он и разговаривает?

— Врать не буду — не слыхал. — Колька Корзинкин посмотрел на часы, потом на небо и торжественно объявил: — Всё, мужики, пора гнать домой... Собираем войско!..

Обратно мы уже не бежим впереди стада, а идем за ним и гордо входим в деревню вместе с пастухом...



## ГРОЗА

### 1.

В пору сенокоса по утрам мы с дедом выходим на крыльцо и осматриваем небо. Сегодня оно чистое.

— Видишь, синеется над Шелками, — показывал он, — к обеду нанесет...

Дед почти никогда не ошибался. Он угадывал погоду по своим приметам.

— Матк, дождь будет, — пойдем сено стаскивать...

Они уходят с граблями на гумно, а я залезаю на крышу амбара и наблюдаю за небом. Над лесом, как синька по воде, растекается легкая дымка. Она на глазах густеет и превращается в бесформенную студенистую массу, которая растёт, как на дрожжах, и медленно расползается над горизонтом.

К полудню иссиня-черная туча уже раскинулась на полнеба. Будто кто выталкивал ее из-за верхушек темных елей. Вот уже белые растрепанные облачки, как пена, пузырятся в уголках ее плотно сжатых лиловых губ.

Я стою в саду и зачарованно смотрю, как туча грозно и неотвратимо нависает над деревней. Она уже готова под тяжестью своей рухнуть, но вдруг в растерянности замирает, будто испугалась чего и в последний миг одумалась..

Спину мою пригревает солнце, а глаза завораживает вздыбленная тьма. Я боюсь пошевелиться. Перед ней цепнеет вся округа. И только сорока — то ли радуясь, то ли злорадствуя — взлетает на столб и скороговоркой стрекочет. Дед спешно выставляет марлевые сетки и наглоухо закрывает окна.

В гуменнике бабушка накинула на копну сена клетчатую клеёнку и придавила ее осиновым поленом.

— А ну-ка, домой, — увидела она меня и, подхватив подол, вбежала на крыльцо. — Кому говорят — домой!..



От неожиданности я вздрогнул и только сейчас почувствовал страх перед затаившейся надо мной стихией. Я опрометью бегу из сада, но у прикрывины останавливаюсь. Какая-то сила удерживает меня на улице.

Звенившую тишину нарушил заговорческий ропот березы. Листва ее нервно затрепетала и крона, словно охваченная озномом, мелко и судорожно задрожала. На пруду зашуршала осока. В одно мгновенье на деревне началась паника. Травы, стелясь по земле, будто потекли по ней зелёной лавой. На деревьях забурлили вывернутые наизнанку листья. Поднятая столбом пыль закрутилась волчком и, как осиное гнездо, понеслась вдоль улицы к Колькиному дому, а там, с бугра, взмыла в серую пучину неба.

Туча чернильного цвета щупальцами дотягивается до солнца и властно затягивает его в кипящую бездну. Но светило сопротивляется и лучи его, как золоченые спицы, еще мелькают в пыльной мгле и просвечивают ее изнутри желтым мятаежным светом. Но вот и последний их рассеянный сноп сверкнул из-под синего козырька тучи и пропал...

## 2.

Вспыхнула молния, и по её острым зазубринам сухо и бархатисто заскрежетал, высекая огонь, первый с надтреснутым голосом гром. Я в испуге присел и закрыл ладошками уши.

В страшной кутерьме ветра, огня и пыли я не услышал, а увидел, как обрушился на деревню сплошной стеной отвесный и слепой ливень.

Началось, как бы сказал дед, светопреставление...

Выбежала бабушка, шлепнула мне подзатыльник и затащила в прикрывицу. В ней было темно и холодно. Прохожу в баню, забираюсь под пальтушку и забиваюсь в самый угол. Над крышей оглушительно громыхает. На полке стукаются и брякают стаканы и рюмки. В раме звенит заплывшие водой стекло, да так, что, кажется, оно вот-вот лопнет и рассыплется в мелкую крошку. За окном гудит и захлебывается дождь.

Вдруг стекло и впрямь не выдержало и с дребезгом разлетелось. Запарусила и сгорбилась на ветру занавеска, зашуршали слетевшие на пол газеты, и ветер с брызгами влетел в баню.

— Ай, батюшки!.. — Охает и причитает бабушка.



Она хватает с вешалки дедову фуфайку и кое-как затыкает им сквозную дыру. Снаружи рукав ватника часто и глохно захлопал по стене. Сверкнула молния и озарила улицу ледяной вспышкой.

Я затаил дыхание и, втянув голову в плечи, с ужасом жду грома. От его хлестких с трескучим рокотом разрядов баня дрожит, и с голого потолка сыпется мне за ворот, обжигая и щекоча, колючий песок...

Минут через двадцать дождь также неожиданно стих, как и начался. Я вылезаю из-под пальтушки и робко выглядываю на улицу. Гроза уходила за Сумароково. Над холмом, пронизанные солнцем, мирно клубятся и тают разметанные клочки грозовой тучи, похожие на окрашенную в разные цвета шерсть.

Частый, но мелкий дождь будто застеклил деревенскую улицу. Искристые капли его порхают и гаснут. Сочная зелень травы и листьев блестит медово и липко. Земля простуженно хлюпает, а в саду грядки жадно всасывают влагу. На парных лужах растут и лопаются сальные пузыри, а на земле шумно выплясывает веселая капель.

Из полной кадки вместе с водой выпрыгивают в траву солнечные зайчики.

Я ловлю их в ладошки и подбрасываю в небо...



## СЕНОКОС

### 1.

Сижу на пороге бани и смотрю, как дед готовится бить косы. Вот он усаживается на красную табуретку, пододвигает к себе серый кряж с маленькой наковальней и на неё наставляет сверкающее на солнце лезвие косы. Вот у него уже всё готово. Сейчас дед выбросит вперёд хромую ногу, смочит в воде молоток, и тишина июньского вечера разлетится вдребезги.

Да, вот оно, вроде, и началось.

Пыч! Пыч! Пыч!.. – зазвенело в ушах, и вздрогнули на деревьях листья. Липко на стройном тополе и трепетно на раскидистой березе, робко на молодой рябине и сухо на старой черемухе.

Дребезжат стекла и в оконных переплетах. И, кажется, не коса, а сам вечер звенит под смячными и точными ударами молотка.

Пыч! Пыч! Пыч!.. Я слушаю эту монотонную песню и не устаю от неё. Она будто вплетается в общую мелодию вечера. В заулках и на гумнах женщины стаскивают в копны сомлевшую за день траву. Но не трава опять же, а жарою сморенные сумерки шуршат у них под граблями. Да и сами грабли перекликуются, как спицы.

Оставляю деда и выбегаю на улицу. Из-под горы, поднимая пыль, втекает в деревню утомленное стадо. И вот уже слышу, как запели в заулках знакомые голоса.

– Мани, Мани, Мани, – заводит внизу Марья Осипова. – Звонко и пронзительно.

– Нинки, Нинки, Нинки! – Подхватывает посреди улицы, боясь опоздать, Семичиха.

– Дочи, Дочи, Дочи!.. – Сменяет их сдержаненный с хрипотцой голос Марии Васиной.



Дробят по утоптанной дороге суетливые овцы и прыскают на её обочину шустрые ягнёта. Помыкивают уставшие от слепней и мух коровы. Чешут шершавыми языками искусанные бока и шумно вздыхают, смахивая с толстых губ тягучую слюну.

Но вот уже и рассерженные хозяйки начинают вести с ними другой разговор.

— Домой, Горбыль!.. Зовет из заулка свою кормилицу Марья Ермиловна, а сама, подбоченясь, жует подгоревшую корку и комкает пальцами хлебный мякиш.

— Ах ты, чертшелудивый! — Лупит хворостиною упрямого теленка моя бабушка и ласково причитает. — Куда тебя леший-то понес! Кыш домой!..

Из-под горы за последней коровой бредет едва живой пастух Коля Корзинкин. С выгоревшими до белизны бровями и с лицом, усыпанным маслянистыми веснушками. Он по-мужицки шаркает окаменевшими на жаре и серыми от пыли кирзачами, а за ним, шипя, как змея, ползёт по его следу заплетенная в тугую косу такая же запыленная плеть с распущенными на конце хлопцом из рыжих конских волос.

Я смотрю на Кольку и на деревенских женщин. Слушаю их и радуюсь. Рядом с ними в этот светлый вечерний час так хорошо и так всегда спокойно бывает у меня на душе. А из сада, как из травы звонкий кузнец, стрекочет без устали на всю деревню неугомонный дедов молоток.

Пыч! Пыч! Пыч!..

Я знаю, что завтра меня первый раз возьмут на ближние поляны...

## 2.

Когда я утром вышел из бани, солнце еще не встало. Оно только угадывалось в розоватой молочной дымке над лесом за Соломининым. На траве высypала обильная роса. Сверху она была серо-белая, как будто присыпанная серебристой пудрой. От одного её вида меня бросило в озноб. Так рано я ещё никогда не вставал.

От порога к поленнице чернеет и поблескивает рваная цепочка следов. Это бабушка ходила за дровами. На гвозде, вбитом в косяк дверей, висит моя желтая панамка. Снимаю её



и опять судорожно ёжусь. Панамка разбухла от влаги и стала тяжелой, как дедова кепка.

Выходит дед, звеня косами.

— Не передумал? — спрашивает.

Я мотаю головой. Лень слово сказать. Никак не могу прокнуться.

— Ну и хорошо...

Дед навязывает мне на пояс лопатку в берестяном футляре.

— Не потеряй, а то косы точить нечем будет.

За ним в темном проеме дверей появляется бабушка. Вся в белом с головы до пят. Оттого и лицо её под платком стало еще темнее.

— Спал бы, горе луковое, — она жалостливо осматривает меня, проверяет, так ли дед привязал лопатку и заодно поддёргивает мне штаны.

Мимо прогромыхали дороги Толи Осипова. Они с Марьей ездят косить к Шёлкам. Тётя Маня в зимней фуфайке, но без платка. Кольки с ними не было. Не поехал, подумал я. Спит в теплой кроватке. Ну и пусть.

— Доброго здоровьяца, — приподнимает над всклоченной головой мятую кепку Колькин отец и, подхлестнув лошадь вожжами, прикрикивает. — Ну, милая, пошевеливайся!..

Утром колеса у телеги скрипят громче, чем днем. На досках днища трясётся сенная труха и листья от березовых веников.

У нас лошади нет. Мы идем пешком. Впереди бабушка с острыми косами, за ней я с лопatkой на поясе, а сзади дед — с рюкзаком за спиной.

Солнце, высунув кончик красного язычка, сладко потягивается над лесом еще парными после сна лучами. Вдруг все темнеет, а потом разом вспыхивает и озаряется маслянистым светом. На обочину — откуда ни возьмись! — будто с неба, спрыгивает моя тень, длинная и неуклюжая. Она как будто проспала и виновато засеменила в ногу со мной. Так, не отставая ни на шаг, она и сопровождала меня до самого леса.

Лесная дорога — не проселок. Трава и ягельник почти с меня ростом.

— Теперь иди за мной, — говорит дед. — За нами росы поменьше.

Иду и моргаю глазами. Где раздвигаю траву, а где отвожу в сторону её сырье хвостики и метелки. Но всё равно роса брыз-

жет на щеки. Штаны у меня уже промокли насовсем и прилипли к коленкам. Даже в сапоги натрусило воды. Иду и сам себя жалею. Шмыгаю носом и дрожу, как заяц.

Бабушка, легкая на ногу, давно убежала вперед. Вдалеке – то пропадал, то появлялся её белый платок. Дед поминутно поворачивается и подбадривает меня:

– Уже скоро – вон, видишь, просвет – там и есть Михайлова поляна...

– А почему Михайлова? – спрашиваю. За разговором идти легче. – Потому что твоя? Тебя ведь Михаилом зовут...

– Выходит так, – соглашается дед. – В мою честь она и названа...

Впереди из-под темных елей растекается по веткам и свисает густой, смешанный с ночными сумерками, предутренний свет.

– Осторожно, не завязни, – дед берёт меня за руку.

Нащупывая дно, мы переходим с ним ржавый и топкий ручей и сразу же подныриваем под низкие еловые лапы. Я зацепился панамкой за сучок и услышал, как стрекнули мне за шиворот мокрые и колкие хвойные иголки.

И вот лес будто расступается. Перед нами открывается залитый солнцем и окропленный росой сказочный луг, с которого, кажется, только что взлетела Жар-птица.

– Ну, вот и добрались! – Дед снимает рюкзак и, прикрыв ладонью глаза, придирчиво осматривает поляну. Травой он, похоже, доволен. Бабушка, не дожидаясь нас, уже вовсю косит на другом краю поляны.

– А ну-ка, подай лопатку, – протягивает руку дед.

Я, как саблю из ножен, вынимаю шершавую лопатку, оглядываю её и кладу деду в раскрытую ладонь. Дед жестко вжикает ею по звонкому лезвию. Потом пробует косу на траве и зовёт меня:

– А ну-ка – выбирай прокос!

Я встаю перед дедом. Расставляю, как он, ноги и упираюсь головой в пряжку его брючного ремня. Дед берёт мои руки, наставляет их на косевыище, крепко прижимает их своими ладонями и, резко взмахнув косой, легко бросает сверкнувшее на солнце жало к самой земле.

Я ничего не успеваю понять и увидеть. Слышу только под ногами сырой всхлип сочной травы. Дед взмахивает косой еще раз. Еще! И еще! Я раскачиваюсь, нет, скорее дергаюсь вместе



---

с ним из стороны в сторону, но чувствую, как под косой трава послушно подаётся и шумно сбивается в мокрый от росы валок.

— Вот так молодец! — Хвалит дед. — Матк, гляди-ка — внук-то как разошелся...

— Ладно, хватит! — Как всегда, жалеет меня бабушка. — Вовульк, молочка попей, в рюкзаке оно...

Дед натягивает до бровей кепку, плюёт на ладоши, растирает их и ведёт по краю поляны широкий и ровный прокос. При каждом взмахе на остриё косы заскакивает солнечный зайчик и даже успевает подмигнуть мне. Дед идёт не спеша. Часто останавливается, чтобы сбросить с сапога на хромой ноге тяжелые плети скошенной травы.

А мои старые сапоги блестят сейчас не хуже новых Колькиных. Я достаю из рюкзака бутылку с молоком и пью прямо из горлышка. Такого вкусного я, кажется, еще не пил.

Так вот какая она — Михайлова поляна!

Солнце поднимается справа от неё. Светит оно чуть ярче, чем над Соломининым, но еще не греет, а только слегка ласкает щеки и нос. В такую рань с ним еще можно переглядываться не жмурясь.

Я стою по пояс в траве и слышу, как набухшие шарики росы, сверкнув, скатываются на землю. Наклоняюсь пониже и любуюсь россыпью серебряных крошек, оставленных ими на листьях. Я вижу, как стекают капли по тонким стебелькам, омывая их до блеска, и как выпрямляются, освободившись от них, гибкие былинки. Я чувствую, как пахнет лесными цветами и скошенной травой. Так терпко и сладко, что мне даже хочется выбежать в поле и вдохнуть сухого и безвкусного воздуха...

На поляне темнеет уложенная в валки трава, а между ними высвеченный солнцем зеленеет густой и ровный ёжик жесткой стерни.

Я пробегаю по нему, как по матрасу с пружинами, и только сейчас замечаю, что дед с бабушкой уже выкосили всю поляну и обтирают разгоряченные косы сочной зеленью.

— Вова! — машет мне платком бабушка. — Иди собираться...

Из дома мы ушли чуть свет. И возвращаемся в него тоже рано.

Печь стоит не топленная. Колька Осипов еще спит, а мне так хотелось его разбудить.



Каким же длинным и каким красивым был у меня в жизни этот день!..

### 3.

На следующее утро после завтрака мы пошли на сушку.

– Ну, дорогой внук, роса тебя окропила, – говорит перед дорогой дед. – Пришло время причащения – готов ли?

Я согласно киваю головой.

– Тогда держись! Выдержишь – мужиком станешь...

Дед подхватывает подмышку серые, почти отполированные, слеги-носилки. Бабушка укладывает на плечо грабли, и мы неспешно трогаемся в путь.

Солнце стоит высоко. Не над лесом, как в то утро за Соломининым, и похоже оно теперь не на крутой красный желток, а на горячий бабушкин блин, который, скворча, растекается по сковороде, только не черной, обугленной, а голубой и с синеватыми краями.

И тень моя на обочине не жирная и длинная, как вчера, а бледная и короткая. Даже меньше меня. И не я теперь волоку её за собой по росной траве, а она легко скользит за мной по её сухим макушкам.

Я не знал, кто и как будет меня причащать, причащают в церкви, а тут что-то другое, и я всю дорогу настраивал себя на худшее. Если уж дед так глубокомысленно об этом сказал, значит, и впрямь, впереди меня ждут какие-то не шуточные испытания.

По дороге до Михайловской поляны их, слава Богу, не было. Дошли мы до неё быстро и без приключений. Роса с листьев ягельника не брызгала. Штаны мои хоть и намокли, но не так, как вчера и к коленкам не прилипали. Даже ржавый ручей за сутки как будто обмелчал. Его мы, наловчившись, перешли с дедом по жердочке.

Поляну я тоже не узнал. Она поменяла цвет. Тучные валки на солнце одрябли и осели. Стерня между ними подсохла и забурела. Она не пружинила под подошвами сапог, как вчера, мягко и сочно, а шуршала под ними – колко и сухо. И уже не комары, звеня, висели над ухом, а слепни, обжигая, метались вокруг, как ужаленные.



Бабушка, как пришла, стала сразу разбивать валки. Где граблями, а где руками. Мы с дедом сначала попили молока, потом пристроили на сучке рюкзак и только после этого вышли на поляну.

Поляна парит. От земли исходит тяжелый дух. Пахнет увядшими цветами и сомлевшей травой. Я ворошу граблями склоненную траву у края поляны. На солнце сильно припекает. Не спасает и панамка.

— Отдохни, — говорит дед, когда мы взъерошили всю поляну.  
— Теперь пусть посохнет...

Панамкой вытираю лоб и обмахиваю с рук сенную труху. Царепины на них сднят. То и дело чешу их. Липкий пот разъедает глаза. Тело зудит. Особенно спина и шея.

— Сбегай к ручью, — велит дед. — Ополоснись. Да и перекусить уже пора...

Вода в ручье чистая. Только цвет у неё коричневый. На желтой отмели, как на островке, прилепились и моргают крылышками белые бабочки. Плеск воды вспугнул их. Они замелькали над осокой. Их было так много, что в глазах у меня зарябило.

Умываюсь и возвращаюсь. Мне действительно стало легче, как будто вода в ручье живая! Слышу, как высыхают на лбу её капельки и стягивают кожу. Стою в тени и впервые чувствую на щеках её робкое прикосновение, не жаркое, а теплое.

Бабушка раскладывает на платке еду: яйца с треснутой скорлупой и в хлебных крошках, пышные пироги с печным румянцем на корочке, сдобные витушки, очищенную луковицу с перламутровым отливом, вареную картошку в кожуре, молоко и клюквенный морс в бутылках.

— Ешьте, что Бог послал, — крестится бабушка. — На воле-то вкуснее...

Сажусь на корточки. Беру зеленую бутылку и пью молоко с витушкой.

— Ну, как? — спрашивает дед. — Вкусно?

— Вот так, сын милый, молочко-то дается, — бабушка бьёт о коленку яйцо и подает мне. — Вспомнишь зимой-то, как на поляне от слепней отбивался да комаров кормил.

На сенокосе и верно всё не так, как в деревне. И у хлеба вкус медовый, и молоко гуще, и яйца с пасхальной сладостью. Даже слепни и те жалят больнее. Они и сейчас нам не дают покоя. Натужно гудят над ухом и чиркают перед глазами воздух.



---

— Самый солнцепёк, — дед смотрит на небо. — Погода выстоит — завтра сметаем?

— Дай бы Бог! — вздыхает бабушка.

Всё небо залито золотой глазурью. Посмотрю на него и слепну, опущу глаза на поляну и ничего на ней не вижу, кроме вытравленной зноем бесцветной травы...

После обеда мы еще два раза ворошим сено, а потом с бабушкой укладываем его в копны. Дед расчистил посреди поляны старое остоожье, натаскал к нему свежих березовых веток и установил стожар.

Завтра будем метать стог.

В деревню мы вернулись, когда в неё входило стадо...



## КИНОПЕРЕДВИЖКА

### 1.

Вчера от Толи Куликова узнал, что завтра, когда стемнеет, в Сумарокове у пруда будут показывать кино. Там, как мне объяснил дед, есть движок, который вырабатывает электричество. Движок стоит в каменной башенке, сохранившейся от прежнего монастыря. По вечерам движок заводят, как трактор, в домах зажигается свет и горит до полуночи. Не такой свет, какой задуваем мы от фитилька, а другой, яркий и без копоти.

Когда дед водил меня в инвалидный дом фотографироваться, я видел там под потолком рядом с керосиновой лампой маленькую стеклянную лампочку, похожую на вытянутую свеклу или грушу. Потому в Сумарокове, а не у нас, и показывают кино. И только летом, пока тепло.

Я упросил дядю Толя взять меня с собой. Он согласился, но при условии, если меня отпустит бабушка. Вечером за ужином я обо всем рассказал деду. Дед разрешил, а бабушка, поворчав, на этот раз перечить не стала. К Толе Куликову она относилась уважительно и во всем доверяла ему...

На следующий день выхожу в Сумароково пораньше. Часа за два до начала фильма. Вечер выдался светлый и тихий. От нашей деревни до села и всего-то – с горы на гору.

У пожарки меня будто кто остановил. Уж так мне захотелось пройти через кладбище. После овина, через который я на спор с Колькой пробежал насквозь в осенней тьме, у меня и впрямь смелости прибавилось. Сворачиваю на тропинку, прохожу через пыльные лопухи и натыкаюсь на могилу с крестом. Оглядываюсь по сторонам. На кладбище сумрачно и сыро. Над головой в кронах старых берёз и осин грозно и мощно шумит верховой ветер, а перед глазами сиянье мошки и круженье комаров. Гнёзд грачевых почти не видно, они скрыты листвой, но грачей я слышу, и живое их присутствие вселяет в меня уверенность.

Я прохожу между могил и всматриваюсь в карточки на крестах. Никого знакомых не нахожу. Ищу свежую могилу, не заросшую травой, ту, в которой похоронили бабку Анну, но на пути моём свежих могил нет. Останавливаюсь у маленькой могилки. Крест на ней низкий, а на нём фотография мальчика, примерно моих лет. Что же он так рано умер? Вот уж никак не думал, что дети тоже умирают. Меня это так поразило и взволновало, что я долго не мог прийти в себя, стоял у могилки и не мог оторвать глаз от фотографии. Мальчик на ней улыбался. Он был такой счастливый, когда фотографировался. Как же так: его нет, а я живу. Царство ему небесное. Я озираюсь по сторонам, высматриваю одуванчики, но не нахожу. Весна уже прошла. На будущий год его душа взойдёт из земли в хрупком одуванчике, и он узнает меня...

Я, наверно, еще долго стоял бы у этой могилки, если бы не услышал за спиной ехидные со свистом придыхания и невнятный шамкающий голос.

Оборачиваюсь и вздрагиваю от неожиданности.

По тропе, усыпанной прошлогодними листьями, ходко и ловко, выворачивая листья наизнанку, подбирается ко мне не по-летнему одетая старушка. Подумал, что она идет к кому-то из своих родных, но понял, что ошибся – старушка правила ко мне и уже приветливо улыбалась, как старая знакомая.

Признаюсь, я испугался, когда увидел её в двух шагах от себя с черной клюшкой и в очках с толстыми стёклами. Она оглядела меня с ног до головы и спросила:

– Чей будешь?

– Соколов, – отвечаю.

– Откуда?

– Из Попова.

– Брат твой, что ли тут лежит? – Она вскользь посмотрела на могилку и фотографию. Рука её, судорожно крестясь, поблудила около подбородка и шеи и соскользнула на горбатую ручку клюшки. На ней был фиолетовый халат цвета выцветшего липина, с блёклыми в рябую крошку звездочками.

– Нет, – говорю, – мой брат в Иванове.

– Как звать-то тебя?

– Вова.

– А меня Вера, – облизывает губы и добавляет. – Вера Румянцева. Хочешь яблоко?



— Спасибо, не хочу.

— А деньги у тебя есть?

— Есть, — отвечаю, — бабушка на билеты дала.

— Ну-ну. — Вера смотрит на меня сквозь очки и, кажется, еле-еле видит. В серых сумерках очки отливают стальным цветом. Стекла, как линзы. Через такие мы с Колькой ловим солнечные лучи и выжигаем на досках черные узоры, утопая в душистом и тучном дыму.

Вера еще минут пять постояла рядом со мной, пошарила в накладном кармане казенного халата и пошла по тропе дальше, а я не стал больше испытывать судьбу и, не оглядываясь по сторонам, быстро выбрался с кладбища на берег большого пруда с островом. Стою, жду, когда успокоится сердце, а сам думаю, зачем же повстречалась мне эта странная старушка? Ведь не случайно же судьба свела нас у могилки мальчика? Дед говорит, что в жизни ничего случайного не бывает. Вот и думай, что хочешь. Надеюсь, встреча с ней ничего худого мне не принесёт и ничем плохим не обернётся. Вера, наверно, обо мне уже и забыла, а я, чувствую, еще долго буду её вспоминать...

Вот он какой, церковный пруд с островом! Его выкопали вручную, а когда, никто непомнит. Правда ли, нет, но дно пруда будто бы выложено плиткой, а в пруду живёт золотая рыбка. Под утро, когда она вслывает близко к поверхности, вода озаряется горячим светом даже в самый ненастный день. Но сегодня вечер тёплый и солнечный, и в воде отражается голубое небо с белыми облаками, да еще избы, стоящие на другом берегу, и деревянные изгороди прибрежных садов и огородов.

У берега причален плот, сбитый скобами из пяти еловых брёвен. Тут же воткнут и гладкий шест. Вот бы сплавать на нём к острову и пройтись по нему! На острове растут берёзы и осины. Так и хочется ступить на плот и оттолкнуться шестом. Оглядываюсь, и вижу, справа по берегу в кустах бредины сидит рыбачок. Видна только его черная кепка. Вот он выдергивает леску, а на крючке трепещется золотистый карасик.

Какая удача! Как здесь хорошо, но мне пора идти. Часов у меня нет, а спросить не у кого.

## 2.

От пруда с островом до пруда в центре дохожу быстро.



Между ёлками висит на веревочных растяжках полотно, похожее на застиранную простыню, грязновато-белую, жеванную и в трещинках. Обхожу вокруг и обнаруживаю на ней еще и две лохматые дырки. Может, местные мальчишки продырявили? Но зачем? Ведь на нём кино показывают.

Первый-то в своей жизни фильм я смотрел еще на стене большого амбара на краю Сумарокова. Тогда и экрана не было. Свет от аппарата падал прямо на серые брёвна, и мы, зрители, рассевшись, кто где, были довольны и таким кино. Я, помню, забрался на поленницу и сидел на ней, подложив кепку для мягкости.

А теперь-то любо-дорого. Перед экраном, как на параде, стоят шесть рядов вкопанных в землю лавок. Может, лавок и занозистых, но уж лучше сидеть на них, чем на жестких поленницах и на мокрой от росы траве. Уже и смола, вытопленная на солнце, и та застывает на выстроганных досках, пусть и медленно, но твердеет. Трава вокруг скамеек припорошена сухими, как крупа, опилками. Задиристые щепки и завитые рубанком стружки наспех свалены у последнего ряда в пышную лохматую кучу.

Мне пока делать нечего. Сижу на скамейке на берегу пруда и смотрю, как от черной липы крадется по траве бесшумная тень. Скоро она коснется моих босых ног и остынет свежие не затянувшиеся еще царапины. В воздухе стоит звенящий гул: от нудных комаров и слюдяных стрекоз, от неугомонных слепней и бесцеремонных мух.

Из-за пруда потянуло вкусным дымком. Наверно, от затопленной в саду баньки. Как никак суббота!

Сумароково не деревня, а древнее село. Дед рассказывал, что селу уже больше трёхсот лет, а название своё оно получило от фамилии. А еще дед говорил, что сумарок, значит, хмурый, сумрачный. Я не сказал бы, что в селе люди хмурые, нет, нормальные люди, и света в селе хватает. Стоит оно на холме и дали с него открываются просторные, такие с нашего холма не увидишь.

Бабушка, когда уходит в село, то говорит, что пошла в Новое. Почему в Новое, а не в Сумароково, она мне объяснить не могла, а дед сказал, что Новым называлось раньше половина села, но я так ничего и не понял, кроме того, что село можно называть и так и эдак. Я называю его Сумароковым.



Здесь стоит монастырь. Правда, в нём уже давно не молятся, а до революции, говорит бабушка, здесь жили монашки.

Потом монастырь закрыли, монашки разошлись, кто куда. Теперь в монастыре колхозные мастерские, а в церкви — склад и заправка. В прежних монастырских домах живут инвалиды. Их, одиноких и брошенных, привозят сюда из разных мест. Может, и старушка на кладбище тоже была из индома? Как же я сразу не догадался.

А раньше за монастырской оградой было чисто и красиво. На клумбах росли цветы и кусты чайных и белых роз. Такой грязи, какая нынче бывает после дождя у бывших монастырских ворот, тогда не знали. Ходили по мощеным дорожкам и деревянным мосткам. Я знаю, что во время революции свергли царя и помещиков, и простые люди сами взялись управлять страной. В деревне нашей создали колхоз, в котором моя бабушка и работает. Обо всём этом мне рассказывал дед. Однажды я спросил у деда:

— А почему церковь закрыли?

Дед долго молчал, а потом сказал:

— А вот церкви закрыли зря. Не надо было их нарушать. Без Бога-то человек много воли берёт, живёт и грехов не боится. Придёт время, опять люди к Богу вернутся. Без Божьей помощи и Божьего благословения ни дом не построишь, ни жизнь, как надо, не проживёшь. Я так, внук дорогой, думаю. А ты уж сам решишь, когда вырастешь, как жить — с Богом или без него. В школе-то о Боге не поминают — запрещено.

Не всё я понял, но почувствовал, что дед жалеет церковь и живёт с оглядкой на Бога. Бабушка деньги на свечки посыпает в Соболево на каждый праздник, где церковь не нарушили. Там поп служит. В этой церкви меня бабка Аграфена крестила.

Мне тоже жалко церковь. Стоит она теперь, как сирота. Стены обшарпаны, внутри бензином пропахла. Ангелы на стенах плачут, штукатурка осыпается, а вместе с ней падают на грязный пол, пропитанный маслом и мазутом, и Господь, сидящий на облаках, и Божья Матерь, и святые, и всё, что нарисовано и раскрашено под куполом, на сводах и на стенах.

Я был с дедом в соборе. Под его сводами за ремонтом мужики похабно ругаются, плюются, где попало, сваливают в алтаре мусор и шапок не снимают. Никто не перекрестится перед лицом Божиим, не помолится, не попросит благословенья и уж

тем более – прощенья и отпущения грехов. Какое же наказание нашлёт Бог на всех нас, когда терпению его придёт конец, а когда-нибудь оно лопнет.

От монастыря на селе много чего осталось: двухэтажные дома и въездные ворота, большой сад и липовая аллея. А еще красная кирпичная ограда с башенками на углах. В одной из них, в центре, и стоит движок, который вырабатывает электричество.

В Сумарокове много грачей и голубей. У нас в Попове только вороны на помойках да сороки на столбах. Ну, еще воробы, но они везде есть. И деревья на селе не такие, как у нас. Они выше и раскидистей, а у церкви еще и с огромными черными шапками-гнездами. По весне и осенью с нашего холма видно, как грачные стаи, черня и пятна небо, с криками зависают над деревьями, а потом, как пепел, оседают на их взъерошенные ветром верхушки.

В Сумарокове я бываю не часто, а только тогда, когда сам напрошусь с бабушкой в магазин или дедушка возьмёт, отправляясь по своим делам. В этом году с осени буду ходить сюда в школу каждый день. И не один, а с Ленкой Семичевой. Мы с ней будем учиться в одном классе. Колька пошел на год раньше. Пока же из нашей деревни в школе учится только Глашка Мошкова. Она всех старше.

В Сумарокове и запахи не как в Попове. У нас запахи от конюшни, а здесь от тракторов и машин. Но я люблю сюда приходить. Здесь другой мир, и люди тоже как будто не такие, как у нас в деревне.

А сегодня я первый раз прибежал сюда один. Толи Куликова пока не видно. А, нет, – вот и он. Лёгок на помине. Можно сказать, после меня первый зритель.

Машет мне рукой. Таким нарядным и бравым я его никогда прежде не видел. Идет вразвалочку, но не так идет, как ходит по деревне. Глаза опустил вниз, плечи расправил, а в глазах играет озорная усмешка, и вспыхивают хмельные искорки. На лбу поблескивает мелкая испарина. Это у него после бани. Темные волосы еще не высохли и любовно зачесаны назад, прилизаны волосинка к волосинке. На поясе туго, не вдетый в проймы, застегнут потертый армейский ремень с начищенной бляхой. Одна рука в кармане, на другой, согнутой в локте, лежит аккуратно сложенный пиджак, вывернутый наизнанку. За спиной



белым облаком пузирится рубаха, выбившаяся из-под серых наглаженных брюк. Наодеколонен Толя так, что хоть нос затыкай. Жених да и только! – Сказала бы моя бабушка.

Толя подмигнул мне и пошел в сторону аллеи, где под липами уже давно топчутся две расфуфыренные местные модницы. Одна высокая и рыжая, как кленовый лист. И платье такого же цвета, только выгоревшее. Ножки кривые и тонкие в кремовых носочках. Туфли красные с блестящими застежками. Букетом завянувших ромашек нехотя отгоняет от своих бледных щек клубящуюся мошкарку. Другая модница, наоборот – полная и румяная. В белой кофточке с красной брошью на груди и в черной юбке под узеньким черным ремешком. Русые волосы забраны в широкую косу. Коса лежит на мягкому плече, а в косу вплетена синяя лента, завязанная на хвосте веселым бантиком. На пухлых ногах узкие ботики, а в руке желтый капроновый платок. Вторая, скажу честно, мне понравилась больше.

Толя с достоинством подходит к ним, что-то говорит, и девчонки, смущенно опуская глаза, понимающе хихикают.

Пока я наблюдал за ними, ко мне подсел Жорка из инвалидного дома. Жорка-дурак. Я и раньше видел его у магазина. Бабушка говорит, что он для мальчишек, которые тайком от взрослых курят, покупает махорку и папиросы. Жора в любую погоду при полном параде. На острых плечах висит просторный солдатский китель. Вся грудь увешена значками. Я таких значков и не видывал, такие они яркие и красивые. Даже медали у Жоры – и те настоящие. На морщинистый лоб то и дело спадает милицейская фуражка с треснутым козырьком. В редких и давно немытых волосах путается сенная труха. Видно, пришел прямо со скотного двора, где он помогает дояркам управляться с коровами.

Жора вытаскивает из кармана казенных голубовато-серых штанов мятую пачку папирос.

– Будес? – по-мужицки серьезно предлагает мне.

– Не, – качаю головой, встаю и от греха подальше отхожу.

Он закуривает и к нему – откуда ни возьмись! – прыскают, как воробыи, местные мальчишки, и воровато, как голуби у пшена, воркуют вокруг него. Я их никого не знаю, и потому они на меня смотрят косо. Но, слава Богу, не задирают. Я вижу, как Жора украдкой раздаёт им папиросы.

Скорей бы уж кино!..

Народ повалил как-то разом и со всех сторон — малый и старый. Зрители трогают ладонью доски, подстилают, чертыхаясь, траву и с опаской рассаживаются на смолистые и занозистые скамейки. Все равно на лавках лучше, чем на земле.

Между рядами ходит важная и строгая билетёрша с коричневой сумкой на животе. В сумку она ссыпает с ладони мелочь и, поплевав на пальцы, не глядя, отрывается от синей книжечки синие билетики.

Молодой киномеханик, прикусив измусоленную папироску, ловко заряжает в аппарат хрустящую на сгибах пленку. Дым попадает ему в глаза. И он, прищуриваясь, попеременно мигает ими, да еще беспрестанно мотает заросшей головой, пытаясь рывком забросить набок пышный и непослушный чуб.

Я стою рядом, прижавшись спиной к теплому стволу толстой шершавой елки, и внимательно слежу за каждым его движением. Вот ведь какое хитрое дело, — сказал бы, увидев аппарат, дед Михаил, — чудо, да и только! И мне тоже все интересно.

Вот, наконец, зашелестел и застремился на железных ходулях проектор. В густых сумерках над головами задрожала рассеянная, как солнечный луч, мутно-желтая световая дорожка. По экрану беспорядочно заметались вспышки огоньков и рваных крестиков. В черном ящике, висевшем на елке, что-то вдруг засопело и зашуршало. Потом всё разом стихло.

В следующее мгновенье из него вырывается музыка, хриплая, как с затасканной патефонной пластинки. Экран, жестко натянутый между старыми елями, тускло светится и как будто оживает.

Начинается индийский фильм. Я смотрю его с разных мест: разглядываю экран и рядом с киномехаником, привставая на цыпочки, и с обратной стороны — от пруда. Я слежу за соломенным пучком света, усеянного комарами. Слежу и сверху, забравшись на черемуху, но никак не могу понять, как и откуда появляются на нем живые люди.

Это был второй фильм в моей жизни...



## ИЛЬИН ДЕНЬ

### 1.

Гроза безумствовала всю ночь. Она ослепляла и, казалось, будто фосфорические белые бабочки порхали перед глазами. Гром поднимался откуда-то из глубины, из-за сорокового оврага, и, стремительно набирая силу, разлетался гремучими комьями прямо над садом. Даже баню потряхивало, как от судороги.

О стекло нахлестывал ливень, и тяжелые капли его звенели и превращались в мокрую пыль...

Встаю поздно. В бане влажно и душно, а за крохотным оконцем, омытым дождиком, качается сырья крапива с набухшими на листьях серебряными каплями. Выхожу в хлюпающий после дождя сад. Земля в бороздах даже причмокивает от удовольствия.

Утро теплое, но пасмурное. Дасть Бог, и день к обеду разгуляется.

Небо с бледными акварельными разводами над голубовато-розовым горизонтом, а под высоким куполом — с темными синими клубами.

Солнце уже высоко и, кажется, оно приподнимается на цыпочках, чтобы заглянуть, прищурившись, в узкие расщелины между плотными мутными тучами и побаловать сонную землю, мокрую от ночного дождя, теплым светом тихого и мирного утра.

Над полями висит туманная дымка, размывая и скрадывая очертания темных зубцов дальнего леса, а над сиреневыми долями дрожит зыбкая пелена живого света.

Над луговой травой поднимается светлая испарина и обещает жаркий и душный полдень.

Но в эти минуты трудно было загадывать, каким народится и каким будет этот июльский день?..

А он выдался неожиданно радостным и сладким. В обед, когда обсохли тропа и травы, пришли из Сумарокова папа с мамой и принесли брата Славу, чистенького такого, нарядного – в синей матроске и черной бескозырке с якорями на ленточках.

Давненько их в деревне не было. Братику уже четыре годика, а видимся мы редко. У меня к нему и чувств родственных пока мало. Знаю, что родной брат, а вот сердце при виде его нежностью не отзыается и не тает, как при встрече с мамой.

Слава толстый, как сбитень, с розовыми щечками и, по всему чувствуется, избалованный и капризный. Видно, в городе кормят его сдобными булками и разными сладостями. Мама и меня по приезду одарила конфетами в красивых фантиках и даже угостила большой шоколадкой. Фантики я сохраню и подарю Вальке Каюровой.

Славу водят в детский сад. Я не очень представляю, что это такое, но по рассказам мамы садик – это такой дом, в котором дети, пока родители на работе, играют, едят и спят под присмотром взрослых тётиенек. Мне тоже захотелось побывать в нём и погостить, хотя бы один денёчек, но я в Иванове еще не был. Меня туда увезут только в августе перед школой. Там, а не в Сумарокове, как мечтал, пойду я в первый класс. Так что Колька с Ленкой Семичевой будут ходить в школу без меня, но об этом я им еще не говорил.

Дед подарил маме мою карточку, на которой я стою на стуле с ивовым прутиком в руке. Маме она не понравилась. Она так и сказала деду:

– Шибко мутная и темная. Мы его потом в Иванове сводим к настоящему мастеру и пришлём вам другую карточку.

Мне стало обидно за нашего Василия Петровича. Может, его просто тренога подвела, прогнула и смазала карточку или попона неплотно легла на аппарат, а сам-то он хороший мастер, добрый и самый что ни на есть настоящий! Обиделся я за Василия, но виду не подал и маме ничего не сказал.

Отец, держа Славу на руках, долго ходил вокруг сруба, о чем-то серьёзно толковал с плотниками, оседлавшими десятый венец нашей новой избы, я их пересчитываю каждое утро, а мама с бабушкой хлопотали у костра, готовя для редких и дорогих гостей праздничное угощение.

Потом мы с Колькой нянчились с братом и, как могли, забавляли его на лужайке у пруда.



— А ну, Кутузов, — кричу я, и понарошку мягко шлепаю его ладошкой по белобрысому затылку.

— Бей французов, — подхватывает Колька.

Мы поддаемся брату, делаем вид, что убегаем от него, а сами нарочно падаем в траву. Он смеётся и изо всех сил бутузит нас пухлыми кулачками. Нам с Колькой и самим смешно и весело. Мы давно так не играли. К его брату Витьке мы уже привыкли и не относимся к нему как малышу, хотя ему тоже всего четыре годика.

Так до вечера и пробегали.

На ночь родители не остались, ушли в Сумароково — к Крыловым, а завтра вслед за ними мы с дедом и бабушкой поедем в Брызгалово на лошади к другой моей бабушке — Аграфене Николаевне.

У неё на Ильинское День рождения...

Родители ушли задворками, когда подул ветер, а за Соломинным полнеба закрыли всклоченные фиолетовые тучи с белорозовыми облаками, подсвеченными заходящим солнцем.

— Вот тебе и Ильин день, — сказал дед. — Гроза за грозой. Беги — грабай. Завтра уедем. Сгноим сено-то...

После ужина выхожу за окопицу, сажусь на изгородь и любуюсь мятежным небом над конюшней. Издалека, откуда-то из-за горизонта, там, где мы весной чистили лесную делянку, подал голос шаловливый гром, но не грозно, а пока вкрадчиво и доверительно.

А вот и слепые молнии чиркнули по краю тучи, но пока и они больше похожи на мирные, играющие друг с другом, зарницы и к ворчливому грому невинные небесные всполохи, кажется, не имеют никакого отношения.

Я смотрю на небо и без опаски жду, когда сквозь тучи прорвется молния, как оголенный провод, и, сверкнув, растворится в пучине бездонных туч, набухающих тяжелой лиловой синью.

Ветер крепчает, и тучи, громоздясь над заполошными кронами берез, тополей и осин, всей тяжестью своей наваливаются на потемневшее за соломининским оврагом ячменное поле, на котором будто гоняются друг за другом шелковые с золотистым отливом волны.

Чувствую, пора убегать под крышу. До бани — рукой подать, но я не тороплюсь, испытываю себя, терплю и сижу на изгороди до последней минуты.



Вот уже и дождь не сплошной стеной отвесно, а пока вразброс крупными случайными каплями робко, как бы предупреждая, оповестил меня о скорой буре – скороговоркой по дну железного корыта, звонко на пыльных листьях лопуха и глухо во взъерошенных кустах темно-зеленой крапивы и на соломенной крыше древнего амбара.

Я прыгаю в траву и бегу в баню, а за мной, осмелев, припустил, наступая на пятки, теплый и озорной июльский ливень с добродушной грозой, расшумевшейся над кроткой округой...

Спать я перед поездкой, как всегда, ложусь рано, чтобы поскорее настало утро...

## 2.

Утром чуть свет меня разбудила бабушка и шепотом сказала:

– Вовульк, с праздником тебя. Вставай, духонька, в дорогу пора...

Подбегаю босиком к запотевшему окну, протираю ладошкой стекло и смотрю на улицу. Майка, запряженная в телегу, уже стоит в заулке, а дед, приподняв колом телегу, смазывает солидолом колесные оси.

– Ну, скоро ли ты? – Зовёт бабушка к костру. – Каша стынет. Ешь да собирайся...

После скорого завтрака бабушка нарядила меня в белую рубашку и штаны с проймами, застегнутыми крест-накрест. Дед ждал нас на телеге. Поворчал для порядку, и мы выехали в Брызгалово. Однажды меня туда возили, но я был совсем маленький и мало что запомнил. Дед подстелил на днище фуфайку. Мы сидим на телеге спина к спине, дед лицом на Марьин дом, а я – на чужой порядок, на нём стоит изба Осиповых.

Утро выдалось ветреным.

Я люблю, когда на улице шумит ветер. Посмотрел на небо, как дед, и, смиренно вздохнув, понял, что к обеду ветер непременно нагонит дождь, но всё-таки у деда на всякий случай уточняю:

– Дюнь, а сегодня гроза будет?

Дед оглядывает облачное, но высокое небо и уверенно заключает:

– Нет, дорогой внук, нынче стороной обойдёт...



— Ну и, слава Богу, — подытожила бабушка. — И так два дня гремело. Пора уж и сено сушить...

Проезжаем сонной деревней.

На улице ни души, но чувство такое, что в Попове кипит невидимая жизнь и все с утра заняты праздничными делами.

Больше всего боюсь, чтобы Майка с горы не разбежалась. Она у бабушки горячая лошадка — с норовом. Бывает, и не удержишь. Но, слава Богу, в лощину спустились спокойно, но с тугонатянутыми вожжами, и, не поднимаясь в гору, свернули под Чубыкино, чтобы вдоль реки выехать сразу к Исакову, а там по лугу прямиком километра четыре и до жаровского холма.

Под Костиным я уснул на коленях у деда и проспал почти до самого Брызгалова.

Открываю глаза и оглядываюсь по сторонам.

— Что приснилось?

— Гроза...

Мне и впрямь приснилась гроза, которая застала меня как раз на этом самом месте, где мы сейчас едем. Ищу на поле остатки старой скирды соломы, в которой я во сне спрятался от грозы и ливня, но не нахожу, будто её спалила молния.

Гляжу на небо, и мне кажется, что оно еще дымное, как после ливня, минуту назад рухнувшего на землю.

— Вот и Григорово, — говорит дед. — А вон, видишь, дом на краю оврага, — показывает рукой, — в нём живёт Зоя, батькина старшая сестра, тётка твоя, а с ней — твои двоюродные братья и сестры. Вон, где бельё-то сушится...

Да, я вижу старый дом. Под окнами его висят детские фланелевые пеленки, развешенные на веревке, натянутой между старой берёзой с качелями и рябинкой. За избой через луговую низину открывается зеленый склон другого холма, густо заросшего лесом. Над верхушкой тополя, такого же, как и у нас в палисаднике, торопливо плывут расслоившиеся облака. Те, что пониже, похожи на сгустки растворенной в воде синьки, а те, что выше, — на белый дым, который густыми клубами вырастает над костром, заваленным еловыми лапами.

За Григоровым проезжаем островок шумных молоденьких осин. По их смиренным кронам, как жаркое и жадное пламя, пробегает снизу вверх до жидкой макушки расторопный ветерок, перебирая на трепетных ветках каждый листик.



— А вот и Брызгалово, внук дорогой, — дед обнимает меня за плечи. — Узнаешь избу баушки Аграфены? Чай, бывал в ней.

Я и, верно, будто узнаю дом, в котором и был-то всего один раз в жизни.

Вижу, окна распахнуты настежь, и на веселом сквозняке в их светлых проемах порхают — легко и беззаботно! — накрахмаленные занавески с узорными вставками.

Трава в заулке выкошена и прибрана, и сомлевшая под дождем рыжая копенка прикрыта красной в клеточку клеёнкой и придавлена щербатыми граблями, отполированными жесткими ладошами до костяного блеска.

Курицы гуляют в палисаде лениво, не они от петуха, а петух отбился от них и замер в глубоком раздумье под кустом плодовитой акции. Серая кошка, ухоженная и сытая, лежит на теплой завалинке, подставив рассеянному солнцу атласную спинку. Ни ей, кошке, ни курицам боятся у своего дома некого, хотя и сюда, наверно, прилетают хищные ястребы. Смотрю на мирное небо, провожаю глазами плывущие в синеве облака и тучи, слушаю ровный шум веселой листвы и чувствую, как душа моя откликается миру и до краев наполняется светом.

Я давно живу ожиданием праздника и знаю, что вот-вот и к притихшим избам с разных сторон — тропами и дорогами — потянутся гости из близких и дальних деревень нашей холмистой округи и забурлят в избах и заулках их радостные голоса, настраивая всю деревню на праздничный лад и веселое застолье...

Утро над Брызгаловым просторное и светлое, и само оно уже напоминает мне деревенскую избу в большой престольный праздник.

Бабушка Груния встречает у крыльца:

— Гости дорогие! Сват Михаил Семенович, сватья Анна Егоровна! Ждем с нетерпением! — Чуть ли не кланяется нам бабушка Груния и направляется ко мне. — Здравствуй, внук дорогой! Как давно я тебя не видела. Дай-ка, поцелую, радость моя. Не забыл бабку-то?

Я киваю головой и пытаюсь улыбнуться, но улыбка у меня получается какой-то вялой и скомканной.

— Ну, и хорошо! — Она помогает мне спрыгнуть на землю и радостно надо мной причитает. — Вон, ты как вырос-то! В школу-то собираешься? Время-то как летит! Ну, гости дорогие,



проходите в избу. Батька с мамой уже за столом сидят. Жалко, братика твоего, Славу, не привезли. В Сумарокове оставили – с нянькой. Проходите, родные мои.

Из дома выходит мама, целует меня и сует конфету. От мамы пахнет селедкой и пирогами.

– А я уж все глаза проглядела, – мама прижимает меня к себе и гладит ладошкой по щеке. – Уж думала, не случилось ли чего? Не заболел ли? Ну, слава Богу, приехали. Пойдем в избу...

Мы входим в крыльцо, и я чувствую, что полы в избе натёрты с вечера, они еще пахнут прудовой водой с щелоком.

А воздух на мосту и в избе прозрачен и чист, насквозь проходят сквозняковым ветром и напоен прямыми ароматами сдобы, вынутой из печки. Чего-чего, а запахи чистых половиц и пышных пирогов я хорошо запомнил...

### 3.

Бабушка Груня усаживает гостей за стол. Сама нарядная и свежая, как утро, – в зеленой юбке и красной бархатной кофте. На шее покоятся желтые бусы медового цвета, шевелятся, но не перестукиваются, как белые с волшебным лоском у бабушки Анны. И глаза у неё синие-синие, а голубизна в них какая-то неземная – небесная. Только нос у бабушки Аграфены большой и нависает тяжелой каплей над верхней губой, закрывая ноздри, и потому дышит она тяжело и всегда ртом. Дед говорит, что у меня нос бабушки Грунин. Нет, у меня он меньше и дышу я легко, если, конечно, не болею, и всегда носом.

В переднем углу избы над столом, не у печки, как у бабушки Анны, висит золотая икона. Сверху она красиво оправлена вышитым полотенцем. А по краям от сальной лампадки икона украшена бумажными цветами, давно потерявшими цвет, но протёртыми от пыли.

Бабушка Анна, слышу, откровенничает у печки:

– Счастливая ты, сваха! Дал Бог сыновей – за стол не усадить. И от всех почет, от всех уважение.

– Отстань, матушка, – отмахивается баба Груня. – Намаялась с ними, сил нет...

– За столом-то, погляжу, сидят один краше другого, – бабушка Анна будто и не слышит её, продолжая нахваливать сыновей. – Не у каждой такие-то – ладные! И снохи у тебя домовитые...

Я, как всегда, забираюсь на печку, чуть отдергиваю занавеску и, откусывая от рассыпчатой витушки, любуюсь сверху шумным застольем.

Во главе стола сидит дядя Коля. Он здесь старший. Папа говорит, что он у них теперь за отца. Мой второй дедушка погиб на войне. Дядя Коля тоже воевал. Я видел на его пиджаке медали, когда он приезжал к нам в гости. Но сейчас он сидит в белой рубашке с широко распахнутым воротом.

По правую руку от него сидит тётя Поля, его жена, сидит онемевшая, будто воды в рот набрала. На ней тонкая шелковая блузка, которая атласно переливается, когда из окна врывается в избу шаловливый ветерок. На голове аккуратно уложен тугой заплетённый крендель с воткнутой посередине гребёнкой.

Тётя Поля мне нравится, но она почему-то часто смотрит на моего папу. И смотрит как-то украдкой и потому подозрительно, будто он ей что-то должен, но за делами всё забывает отдать.

— С праздником, православные! — властным голосом усмияет застольный разговор дядя Коля и поднимает стопку над головой, выплёскивая из неё капли мутного самогона. — Выпьем, чтобы не было войны...

Голос у дяди Коли хриплый с баском, зубы желтые — прокуренные на фронте. Упругий чуб приплясывает на потном лбу, потому что в такие минуты дядя Коля весь дрожит от нетерпения. Он привычным жестом опрокидывает стопку в широко открытый рот, ставит запотевшую посудину на стол, будто ненавистную до отвращения, и ловко забрасывает в рот дымящуюся папироску, до того уже изрядно измусоленную. И папироска тут же, как приклеенная, зависает в уголке его искривленного рта. Он от души затягивается, глаза его сужаются до слезливых щёлок, и вот уже валом валит из черных ноздрей белый с синей окантовкой табачный дым.

Сидящий рядом с ним Шурка, морщась, отмахивается от дыма, но терпит и старшему брату не перечит.

Шурка такой же белобрысый, как и я. Может, потому он и нравится мне. Только у меня на ветру волосы на голове сеются и щекочут лоб, а у него слипшиеся прядки, не касаясь, нависают над ним, как перья бело-желтого голубя.

Знаю, что одно время он даже водился со мной, нянчил, когда я жил с родителями в Сумарокове. Мама, всякий раз, увидев Шурку, то ли в шутку, а то ли всерьёз, напоминает ему, как он



уронил меня с печки. Я, признаюсь, не помню, как я падал с печки на пол, но, слушая маму, уже начинаю верить, что именно Шурка не додглядел за мной, и что по его вине я сорвался с верхней ступеньки лестницы, приставленной с боку к нашей русской печке.

После этого случая мама приставила ко мне в няньки дядю Толю из инвалидного дома.

А Шурка, по словам бабушки Анны, среди братьев с малолетства слывет, как юродивый. Может, потому он всегда и в одной поре – худой с заострившимся носом и бледный, как снег в февральскую оттепель. И жену себе он никак не найдёт, потому что не может нагулять тело: подбородок узкий, щеки впалые, кадык острый, и кожа на лице обвисла, как у старичка. Волосы у Шурки хоть и выгорели до грязной белизны, но от них исходит запах вкусного тепла, растопленного солнцем.

Вижу, как он голодными глазками жадно рыскает и блудит по закускам, теснящимся на столе в мелких тарелках, глубоких блюдах и жарких сковородках.

Бок о бок с ним на углу стола сидит дядя Миша – самый младший папин брат. У него тоже по правую руку жена – тётя Тома. Она будто парит над стулом, такая нежная, румяная и светлая с запахами грибного дождя. Волосы у неё жесткие и на висках вьются. И такая смиренная и примерная: кружевной воротничок на синем платье пальчиками поправляет и, кося темные глазки, преданно поглядывает на дядю Мишу.

У дяди Лёши глаза тоже добрые, как у нашего телёнка. Лицо у него с весны потухло от загара, а щеки, побитые на холках освой, не раз уже отхлёстаны грозовым дождём и до шелушения высущены солоноватым ветром. Дядя Лёша такой тихий и безобидный, но, как ни странно, именно он в праздники дерётся с дядей Мишой.

А мой папа всё время оглядывается, будто кого-то ищет или высматривает, а кого и сам не знает, и в эти минуты никого не слышит, хоть и смеётся вместе со всеми. Он всегда куда-то спешит.

И среди братьев один он до сих пор учится. Ему дадут после учёбы в Иванове большую должность. Может, и не в колхозе, а даже в районе.

У всех братьев рубахи чуть ли не до пупа распахнуты, а у отца под жесткие воротнички заправлен строгий галстук в ко-

ую полоску. Дядя Коля называет его сухим партийцем, но не ругательно, а с уважением.

Рядом с ним моя мама с глазами, будто подсиненными, и пышной причёской. Она такая счастливая и на лице её цветёт и не гаснет неуловимая улыбка.

На маме новое сиреневое платье с короткими рукавами и воротником, похожим на белую лилию, лепестки которой бережно уложены и расправлены на её высокой груди. Я его раньше не видел. На левой руке для форса вложен за общаг маленький платочек цвета холодных подснежников, какие мы с Колькой собираем в овраге у Гремячки. Она бережёт платок и не вынимает его, хотя на щеках у неё, тронутых бледным румянцем, давно высыпал и матово светится драгоценный бисер горячего пота.

Какая же она у меня красивая! Я смотрю на неё и не могу глаз отвести...

Дядя Лёша – мой любимый дядя. У него одного выются волосы. Росту он маленького, ходит быстро, раскачиваясь и чуть наклонившись вперёд. Руки большие, пальцы толстые и, когда он закуривает, то долго шуршит в коробке, пока поймает и прихватит за кончик непослушную спичку.

Если он живой и суэтливый, то жена его – тётя Лиза – тихая и спокойная. Волосы она искусно в один слой зачесывает назад под гребёнку, лоб открытый и всё лицо белое до бледности, на нём ни родинки, ни осинки и ни прыщика, к нему, кажется, даже загар летом не пристает. Тётя Лиза сидит и не шелохнется, даже голову не поворачивает, лишь глаза серые переводят медленно с одного гостя на другого и по ним невозможно понять, какие у неё на сердце чувства.

Они живут в родительском доме вместе с бабушкой Груней. У них есть дочка Аля, но она еще совсем маленькая.

Тётя Зоя в семье старшая. Она и похожа на мать большого семейства. И у самой у неё уже пятеро детей. Правда, их я пока не видел. Глаза у тёти Зои потухшие и усталые. Волосы тоже зачесаны, но не так гладко, как у тёти Лизы – у висков пушатся, а на затылке выбиваются из-под красной гребёнки. Кожа на щеках гладкая, а темный загар на них отливает самоварным золотом. Руки тяжелые и будто припухшие, она их бережно уложила на широкие колени, кисти их обмякли и будто отдыхают. На плечах у неё покойится розовый шелковый платок.



Муж тёти Зои сидит в тюрьме.

Праздник в самом разгаре. В избе душно. Окна открыты настежь.

Из кухни входит Аграфена Николаевна и, оглядев сыновей, говорит:

— Спасибо, что приехали...

Николай поднимает гранёную стопку, налитую всклень, и выносит руку с ней для чоканья почти на средину стола:

— С праздником, Аграфена Николаевна!

Все дружно чокаются и окропляют вином и водкой опробованные пироги и нарушенные закуски.

Гляжу и слушаю, как дядя Коля, крявкнув со смаком и смачно закусив склизкой сырой едой, начинает по старшинству наставлять ершистого Шурку.

— Ты, Шурка, дурак. Ну, что за жизнь у тебя, скажи мне. Жены нету — бросил, дома — нету. Ничего у тебя нету.

— Как хочу, так и живу, — Шурка, когда волнуется, то начинает заикаться. — А ты м-моей жизни не к-касайся...

— И чего спорят, — слышу, переживаю на кухне бабушка Грунья. — А ты, сватъя, говоришь — счастливая.

Бабушка Анна сидит рядом с ней на лавке у окна и режет на доске зелёные перья.

— Жили бы по закону-то Божьему, — волнуется Аграфена Николаевна, — так и ладилось бы всё. Не куралесили бы...

— Да на что она мне — твоя жизнь, — это уже дядя Коля обижается на Шурку и выбивает о столешницу табак из белого мундштука папироски. — Беспутным был, беспутным и остаешься...

— Да, где уж мне до тебя-то, — поддразнивает старшего брата Шурка, и холки его болезненных щек наливаются холодным малиновым цветом. — Ты один у нас весь правильный. Один в люди вышел. А к-к матке-то р-родной раз в году приезжайешь...

Дядя Коля уже не слушает Шурку. Он утопает в табачном дыму и, щурясь, оглядывает с отцовской строгостью других братьев. Думает, наверно, кого еще сегодня уму-разуму поучить, чтобы не забывали, кто в семье старший...

— Шурку, вот, ругает, а за что? — Опять жалуется на кухне бабушка Грунья. — Характер у Шурки худой, ничего не скажу, а сердце-то, Егоровна, сердце, как у ребенка, — доброе. При батьке-то Никифоре не распустились бы так. Царство ему не-

бесное. Уж хоть бы Ванька, старший, вернулся. Нет, обоих воина забрала, будь она проклята! А ты говоришь – счастливая! Это ты, матушка моя, счастливая! У тебя-то мужик в доме, хоть и хромой, но – живой, с руками и ногами...

Свесился с печки и гляжу на бабушку Анну. Она сидит у окна, глядит испуганно во все глаза, будто виноватая, что у неё есть муж, руки обмякли, и она тяжелыми ладонями обжала черную юбку, скрыв под ними острые коленки.

– Пойдём-ка в сад, – спокойно говорит Аграфена Николаевна, – уж больно хрущкая у меня нынче малина вызрела. Попотчуйся...

Через полчаса Аграфена Николаевна появляется в дверном проеме перегородки, окрашенной в синий цвет, с белым блюдом в руках, а нём, как заря, полыхала садовая малина, дозревшая до фиолетового на боках отлива. Белесые ворсинки на студенистых ягодах светились и дрожали между их мягкими ядрышками, просвеченными изнутри парным духом полуденного солнца.

– Вот, попробуйте Божью ягоду, – угощает бабушка Груня, улыбается и оглядывает притихших сыновей. – Может, и себя в детстве вспомните...

Дядя Коля наигранно радуется:

– Ну-ка, ну-ка, сюда её, сюда. Уж мы её, сладкую, на языке побалуем, и детство босоногое вспомним...

Глаза у дяди Коли щурятся, будто их разъедает до слёз сладкий табачный дым. Волосы путаются над густыми с желтизной бровями, щекочут лоб и вызывают у него удущливый приступ хриплого кашля.

Он встает, протягивает над столом руки, а бабушка Груня покорно опускает в них блюдо с малиной.

– Дорогие гости – угощаю! – дядя Коля берет сверху самую бархатную ягоду, выдавливая из неё бледный сок неловкими с табачной желтизной пальцами, потом забрасывает смятую ягоду в рот и, не глядя, передает блюдо деду Михаилу.

Дед мой сидит, как сова на суху, опускает захмелевший взгляд на блюдо и без слов принимает его, долго раскачивает в ладонях, не зная, что с ним делать – передать ли кому или на стол поставить. Так и сидел бы, да выручает дядя Лёша, он раздвинул тарелки, взял у него блюдо с малиной и пристроил на уголке стола.



Бабушка Груня кланяется и уходит на кухню, а следом за ней и бабушка Анна, всё это время стоявшая рядом.

Братья настороженно переглядываются и замолкают. Они хоть и взрослые, но матери, чувствуя, боятся и теперь думают, чего не так сказали. Вижу, как Шурка бросает на дядю Колю гневный взгляд, нервно на клеёнке царапает вилкой корку черного хлеба и перебирает тонкими пальцами бахрому белой скатерти. Отец мой расстёгнул ворот рубахи и, ероша волосы, снимает через голову единственный на весь стол галстук.

Дядя Лёша курит, прикрыв глаза кудрявым чубом, и подолгу стряхивает пепел в пробку-бескозырку от бутылки. В его густых волосах путается весёлый дым от папиросы, только что прикуренной от запалённой спички.

Проходит минута, и за столом снова воцаряется престольный праздник.

Знаю, что потом братья будут играть на деньги. Я вижу на комоде липкую колоду карт. Она еще, кажется, не остыла от прошлой игры и лежит растрепанная потными пальцами азартных игроков.

Я слезаю с печки и выбегаю на улицу. В заулках играют гармошки.

Я, хоть и маленький, но чувствую, вызревает гроза. На этот раз дед не угадал. Вот уж будет потом оправдываться. Сизое облако, как ястреб, парит в небе над деревней и, кажется, выбирает время, чтобы внезапно камнем упасть на жертву, оставшуюся без присмотра.

От земли обдает жаром с тяжелым духом разомлевшей травы. Жар обволакивает и до тошноты перехватывает дыхание.

Не хочу думать о грозе, но знаю, что в такую душную жару праздник без драки не закончится.

Что ни говори, а сегодня Ильин день...

## СВАДЬБА

Сегодня у Цветковых свадьба! У Мары Васильевны женится сын Сашка. Он взял в жены красивую девушку из-за леса. Нас тоже пригласили. Как никак, живем в деревне по соседству.

С вечера бабушка замешивает в кадушке тесто и ставит выхаживаться. Потом, как перед престольным праздником, протирает в углу икону и зажигает лампадку. Почти невесомое пламя, отлетая от фитилька, зависает над ним и в тишине чуть слышно шелестит. Оно напоминает мне маленькое сердечко — живое и трепетное. На окладе тускло поблескивает мутная позолота. Тихий лампадный свет, мягко растекаясь по сальному надтреснутому стеклу, высвечивает под ним угловатые фигуры матери с ребенком.

Я знаю, что с иконы смотрит на меня сама Царица Небесная, Матерь Божия, наша заступница.

— Спаси и сохрани, матушка пресвятая Богородица, — шепчу и склоняю голову. Так научила меня бабушка. Перед завтрашим торжеством ложусь пораньше, чтобы поскорее прошла ночь, и наступило утро...

Просыпаюсь рано и радуюсь предстоящему торжеству. Свадьбы в Попове давно не играли. Скоро пойдем в гости! Я так люблю, когда в деревне праздник!

Дед по этому случаю затевает долгое бритьё. Правит на солдатском ремне бритву. На подоконнике пахтает в мыльнице помазком пену. Щетина у деда жесткая, легко бритве не дается. Он поскоблит щеки и пополоснет в кружке лезвие. Поскребет второй раз, и опять шлепает по шее помазком.

— Ну, скоро ты, — не выдерживает бабушка, — пора уж выходить...



— Не говори под руку, — сердится дед и, смачивая слюной заранее приготовленную бумажку, приклеивает её на ранку у виска. Редко когда он заканчивает бритьё без порезов.

Бабушка нарядно одетая суетится у чемодана. На ней голубое в горошек платье с длинными рукавами. Волосы гладко зачесаны и уложены в косу на затылке.

— Ну, слава Богу, — укоризненно качает головой бабушка, — никак отмаялся...

Дед звонко хлопает по щекам ладошами, и по бане клубами расходится терпкий запах тройного одеколона.

— Оболокайся! — командует бабушка и подает синюю косоворотку.

Я вспомнил фотографию, сделанную после их свадьбы. Когда в избе смотрел на нее, а потом на них, нынешних, сравнивал и успокаивался — нет, они еще у меня не старые...

Хозяйка встретила нас у порога. За столом уже гудела свадьба. Марья потрепала меня по голове и сунула в карман конфету. Я стоял перед ней в новых блестящих ботинках и в брюках с проймами крест-накрест.

Деда с бабушкой усадили в углу у окошка, а я, как и на всех других праздниках, залез на печку и сверху стал наблюдать за гостями. Застолье — это первая часть праздника, но я больше люблю вторую — плясовую и песенную. Жених ни жив, ни мертв — белей невестиного платья. Сидит, словно кол проглотил. Глядит на суженую и глаз с неё не сводит. А она дрожит, как перышко на ветру, трепещет. Того и гляди, вспорхнет над столом и закружится.

— Ой, хороша, ой, гожа девка! — слышу голос Вани Тяпкина.  
— Что ни щека, то красно яблочко...

Что правда, то правда. Мне тоже невеста очень нравится! Ваня Тяпкин не ждет, когда ему нальют, а сам за собой ухаживает и исправно потчуется. Жена у него ленивая, а дома у них, как говорит бабушка, всегда пусто, а на чужой свадьбе только и делай, что ешь, запивай да наливай. Вот Ваня в гостях и разговляется.

Вижу, как Коля Михайлов, плут и озорник, приталил Тоньку Круглову из Сумарокова.

, — Эх, ты чертова егоза, — толкает его в бок корявая с лица жена Фаина. — Постыдился бы, старое ошмётье...



Фаина ревнивая. Ей еда и питье теперь поперек горла. Вот и ерзает она на скамейке. Носом шмыгает и на мужа дуется. А Коля уже изрядно опьянел, и, знай, обхаживает Тоньку, а Тонька рада, даже выгнулась от удовольствия. То и дело отворачивается от Фаины и прыскает смехом в пухлый кулакочок.

В углу важно восседает Груня Мошкова. Руки на животе сложила, не шелохнется. Красная, как свекла. Бабушка так про неё и говорит — ей бы только пить да есть. Самый шумный гость, как всегда, Леха Семичев. Он, когда выпьет, делается очень разговорчивым. Бабушка его за это не любит. По правую руку от него сидит жена Алевтина. Тоже бойкая и голосистая женщина, а по левую — Семичиха, его мать. У Семичихи все лицо испятнано оспой. Она даже платок с головы никогда не снимает и так его повязывает, чтобы из-под него ни лба, ни щек не было видно. Зная характер сына, она и сейчас, услышав его голос, тут же под столом одергивает его за штанину:

— Не балаболь, балаболка...

— Ладно, мать, не шуми, — отмахивается от неё дядя Леша. — Дай с людьми потолковать...

Слыши смотрящие в прихожей сговариваются. Знать, скоро чарочку запоют. Никого не пропустят, всех гостей обойдут и с каждого себе на угощенье стребуют.

Панова идет, Нинка, — пробежал по избе говорок.

— Господи Исуся, — затягивает, перекрестившись на образа, Нинка, и начинается новое представление, — за девью красоту беруся. Из-под бруса выхожу, восковы свечи зажгу...

Плавно ведет, красиво. Нинка на все праздники ходит, и ей во всех домах рады.

— Мы за девьей красотой ходили, ручки озnobили, перчатки изорвали, нас маменьки ругали. Наш козел-то стар в гору стал, идти не идет — только бородой трясет.

— Гожо шпарит, — снова слышу голос Вани Тяпкина, — как прежде, ведет! И повадки гладки, и речь складна, и душа видна...

— Я по нолику ступаю, по тесовому ступаю. Эх ты, пятка-носок, соловийный голосок. Доступаюся до вас — побеспокою сватья вас.

Засуетилась Марья Васина, бутылку под фартук спрятала — довольнёхонькая!



— Здрасте, сватушки приезжие и свахоньки любезные! Не всем поименно, но всем низкий поклон. Здравствуй зять молодой с умной головой, с редкой бородой. Щечки налитые, кудри завитые. Дайте нам знать, как вашу нареченную невесту звать.

— Софья Андреевна!

— Софья Андреевна, дайте знать, как вашего нареченного жениха звать.

— Александр Васильевич!

— Александр Васильевич и Софья Андреевна, куда прикажите деву красную: в руках держать или на стол поставить?

— Ай-ай, — качает головой Ваня Тяпкин, — растерялась Софья, руками разводит, не знает, куда девать. Ай да, жених, Александр Васильевич — молодчина! Протянул руки и вся недолга...

Смеху-то за столом! Марья Крюкова и та в углу зашевелилась.

— Штрафную Нинке, — кричит Валюха Цветков. — За речи гладки наливай, сват, все вина сладки. Да поболе! Пей, Нинка, знай наших, слыши, Цветковых-то знай!..

Нинка выпила за один дух! И в пляс!

— Во, баба! — крякнул за неё Ваня Тяпкин. — Не каждый мужик так махнет...

Ваня Каюров — пьян ли, нет — поймал за ремень гармонь, уронил голову на самый её край и залихватски развернул мехи. Руки у него как будто трезвые — ладят и не путаются.

На горе стоят попы,  
Под горой апостолы.  
Вот и я пошла плясать —  
Слава тебе Господи...

Тонька Круглова грудь в грудь с Колей Михайловым. У Коли чуб, как грива у жеребца — трясется и рассыпается. Фаина ухватилась за концы платка и, как на крыльях, влетела в круг. Теснит Фаина Тоньку. У Фаины грудь богаче. А Коля, как воробей, топчется с боку припеку и всё норовит проскочить между ними. Изловчился и даже частушку спел:

Хорошо траву косить,  
Которая зеленая.

Хорошо девку любить,  
Которая ядреная...

Разгулялась свадьба! А вот и моя тетя Нина не удержалась и, уронив стул, выскочила из-за стола. Она пляшет так, как не умеет никто. В ней всё красиво: и высокая лебединая шея, и голова, чуть склоненная набок, и взгляд, словно она любуется сама собой со стороны, и руки — гибкие и сильные. Ее каблуки так часто дробят, что за ними нельзя уследить. Она выдаёт коленце за коленцем, а на груди её покоятся желтые под янтарь бусы и даже не вздрагивают. И поёт тетя Нина не как все. На носочки приподнимается, платок над головой подбрасывает и, пока он падает, успевает выпалить:

Я иду — они пасутся  
Два майора на лугу.  
Тут уж я и растерялась,  
Тут уж я и не могу...

С такой плясуньей и гармонист устали не знает. И у него пальцы, будто сами по себе по кнопкам мечутся. У Вани уже пот по щекам струится, и волосы рассыпались на обе стороны, а тетя Нина заходит на новый круг. Не только я — все на неё любуются, и никто на круг не выйдет, пока она с него не сойдет.

— Ваня, давай елецкого! — заказывает тетя Нина и, бросив на диван платок, вытаскивает из-за стола мужа. Раскрасневшийся кока Валя — я зову его кокой, потому что он мой крестный — не сопротивляется. Он тоже любит покуражиться. Вот он, не спеша, снимает пиджак, игриво встряхивает головой, поправляет пальцами волосы и, хлопая себя по груди и коленкам, всерьез выводит себя, как барина, на перепляс.

Довольная тетя Нина, ничего не подозревая, поднимается на носочки и хочет затравить его частушкой. Но тут кавалер ловко подхватывает ее на руки и кружится по избе вместе с нею.

Все смеются, а тетя Нина кричит и размахивает руками.

Жених с невестой поминутно поглядывают друг на друга. Теперь все внимание не на них, а на тех, кто пляшет. Но для меня все самое интересное уже закончилось. Пора идти к Кольке. Я слезаю с печки. Сказываюсь бабушке и выбегаю на улицу.

В заулке у Цветковых тоже пляшут, но не так, как в избе — дроби на земле не слышно...



# СТРАНА ЗАЛЕСЬЕ

## 1.

Теплый июньский вечер. Еще не остыл и теплится над Ивановым закат с розоватой грудкой январского снегиря. Еще вздрагивает он болезненной судорогой на оплавленных стеклах подслеповатых изб. Еще не осела над улицей слоистая пыль, поднятая деревенским стадом, и не угомонилась искусанная оводами скотина, разведенная хохляками по сумрачным духовитым дворам, а над деревней гаснут, как искры, звуки отзвевшего дня, и утомленным эхом певуче тают в напоенном прохладой воздухе.

Затаившийся вечер подает уже свои редкие, расцвеченные чуткой тишиной голоса: под горой сползает с валика в черную колодезную бездну гремучая цепь, и натужно поскрипывают у кого-то на плечах под полными ведрами дужки горбатых коромысел. У конюшни всхрапывают натруженные за день лошади, и ломятся в стойлах пружинистые жеребята. В пруду, запутавшись в густой тине, шлепает по воде крыльями суматошная Марьина утка, шумно стряхивая с клюва обрывки скользких зеленых водорослей.

Бабушка вышла доить корову. Слышно, как сначала затенькали, а потом зазвенели о стенку пустого подойника первые тугие струйки парного молока.

А вот пронесся на велосипеде, громыхая подсумком, единственный на деревне парень Толя Куликов. Поехал в Сумароково на гулянку.

По моей руке, судорожно перебирая ножками, ползет заблудившийся муравей. Я пересаживаю его на соломинку, за которую он цепко держится и не падает. Но мне сейчас не до него. Я сижу на соломенной крыше амбара и хочу заглянуть за горизонт. Смотрю в сторону Замятинова. Это последняя деревня за Шелками, которую я знаю. В ней всего два дома. И, как помню, почти под самыми их окнами начинается лес. Где-то за ним и скрывается моя сказочная страна Залесье.

После встречи с дядей Пашей я знаю точно, что такая страна есть. Он и сам живёт у того озера, где Жар-птица встречает солнце и клювом сбивает с него раскалённую окалину. Когда вырасту, то буду искать её, пока не найду. Я уже видел залесских людей, они не такие, как мы. В них есть что-то загадочное. Я пока не могу понять, что именно, но чувствую, все они посвящены в какую-то тайну.

Вижу, как по-за огородами из дальних лесных делянок возвращаются с сенокоса Цветковы. Впереди широко шагает дядя Саша. За ним семенит жена Софья, а за ней, переваливаясь с боку на бок, устало бредет сама Марья Васина. Идут молча, как привидения, в белых одеждах – с граблями и косами на плечах. Под их босыми ногами клубится взбитая до пудры белая дорожная пыль.

Не из моей ли страны Залесье они держат путь? И не туда ли ведут коровьи тропинки, по которым я ходил однажды с дедушкой слушать лесное эхо? Не оттуда ли текут и безымянные реки с живой и мертвой водой? Я знаю только, что там сматывает в клубок свои лучи нагулявшееся за день солнце.

Да, где-то там, за сороковым оврагом оно каждый вечер и садится у самых черных луж на синем озере, окруженном топким клюквенным болотом, а не пойманная еще Жар-птица сбивает с него закаленным клювом золотую окалину...

Я любуюсь, как в эти минуты полыхает прощально над горизонтом мягким-огненный закат. Я видел, когда вставал чуть свет на сенокос, как поднимается солнце из-за леса, заступая на дневное дежурство. Там после грозового ливня зарождается, как чудесное диво, и домотканая радуга. Через нее только и можно войти в страну Залесье.

...Однажды после грозы мы с Колькой, увидев над лесом радугу, добежали почти до самого выгона, но радуга, едва мы приблизились, растаяла, как снег на ладошке. От нее на синем небе осталась только светлая, как изморозь, дымная испарина. А мы, задрав головы, стояли на краю поля по колено в вязкой глине и с трепетом слушали, как доносится из ольховых кустов змеиное шипенье еще парящей в воде окалины. И видели – Колька не даст соврать! – как струились из лесной чащи наполненные светом прозрачные воздушные пузыри и как на макушках ощетинившихся иголками елок разлетались они радужными брызгами...



## 2.

Вчера к Саше Цветкову приехали в гости незнакомые мне люди. Когда они проходили мимо нашего сруба, бабушка, не поленилась, вышла из бани и долго вглядывалась в них. Потом, утолив любопытство, крикнула деду в прикрытину:

— Залесские! — И тут же уточнила. — Из Новоградского вроде?

— Из Новоградского, — уверенно подтвердил дед.

От неожиданности я даже вздрогнул. Меня вмиг осенило: значит, из Нового града. Я нескованно обрадовался своей догадке. Из того самого, выходит, града, который и есть столица еще неведомой мне страны Залесье.

Каково же было мое удивление, когда вечером я увидел их в заулке у Цветковых. На вид они были такие же, как и наши деревенские бабы и мужики. Они и плясали так же, и пели, и говорили на завалинке о том же самом — о сенокосе и скотине, о ягодах и грибах. Еще и в гости к себе звали:

— Ведь сто лет не бывали. Пора бы!..

— Будем живы-здоровы — отгостимся, — отшучивалась Марья Васина.

Нет, убеждал я сам себя, они должны быть другими. Я всё искал и искал в них что-то особенное и, наконец, нашел — на их лицах загар отливал перламутром. На всякий случай еще раз оглядел и своих — деревенских. Нет, у наших загар с глиняным отливом. Да, такой может быть только у залесских! Только они живут рядом с озером, и только они слышат, как склевывает Жар-птица с вечернего солнца пылающую окалину...

— Во-ва-а!.. — слышу аукающий голос бабушки.

Очнулся и чувствую, как дружносыпанули по спине муршки. Солому на крыше амбара давно уже окинула молочная роса и легкой испариной легла на мои волосы.

Я не откликнулся. Разгреб ногами колючую и пыльную солому, внутри еще теплую, а руки засунул под рубашку. Сразу и согрелся.

— Во-ва-а!.. — зовёт бабушка. — Иди ужинать...

Я осторожно слезаю с амбара и бегу к дому. Мне так захотелось в тепло, чтобы поскорее лечь спать и снова увидеть во сне мою таинственную страну Залесье...



---

## ЯРМАРКА

### 1.

Ура! Завтра утром я первый раз еду на ярмарку в Сусанино. Дед за ужином так и сказал:

— Пора и тебе, внук, посмотреть мир.

Бабушка по привычке попеняла деду:

— Чего удумал-то! Дело ли — в такую дорогу, а если случится что.

— Что случится, то и будет, — спокойно ответил дед, и она по его голосу поняла, что лучше не спорить.

Спать ложусь рано, но, как назло, долго не могу уснуть. Так бывает всегда, когда я с нетерпением жду утра. Будь моя воля, выехал бы с вечера...

А долгожданное утро опять застаёт меня врасплох. Открываю глаза, а надо мной стоят дед с бабушкой.

— Не передумал? — спрашивает дед и, не дожидаясь ответа, командует, — тогда одевайся!

Бабушка подает мне белую рубашку и выглаженные черные брюки.

Но вот все сборы позади. На скрипучей телеге, груженной валенками и граблями, мы медленно и неизвестно куда выезжаем из обжитого и родного заулка.

До Костина дорога скучная, потому как она мне знакома: здесь, у Исаковского холма, я пас скотину с Колькой Корзинкиным. А вот за Костиным, если спуститься с холма на холм, уже другая деревня — Ивашево. Там я еще не бывал. Это на её крыши, если смотреть с Колькиного крыльца, опирается горизонт, за который мне так хочется заглянуть. И это за её околицей скрывается мир, пока мне неведомый.

Колеса натужно скрипят. Лошадь, уткнувшись носом в колею, рывками тянет телегу в гору и с храпом отфыркивает. Бабушка по привычке подергивает вожжами и, причмокивая, ласково её понукает. Дед сидит сзади и думает о чем-то своем.



Я спрыгиваю с телеги и бегу за ней. Небо, еще минуту назад лежавшее на трубах деревенских изб, с каждым шагом поднимается вверх и на глазах отодвигается в даль, а рядом, по обеим сторонам, бьют мне поклоны такие же, как и у нашей дороги, запыленные кусты бредины, и сонно зевают заросшие бурьяном канавы.

Когда мы въехали в гору, горизонт от меня вдруг взял да и отскочил за резные верхушки дремучего леса и, уже в который раз, испытывая меня, таинственно за ним притаился.

Дорога петляет между перелесками. За каждым поворотом открываются новые деревушки. Такие же, как и Попово. В закулках бродят полусонные курицы, над крышами громоздятся густые кроны берез и тополей, а под самыми окнами свисают охапками с палисадов кусты сирени и акаций.

Только лица людей, припавших к оконным стеклам, чужие. И собаки при виде нас оскаливаются зло и даже свирепо. Лают громко и подбегают к телеге так близко, что приходится поднимать ноги и прятать их за спиной у бабушки.

За деревней, когда собаки от нас отстали, я снова спрыгиваю на землю и иду рядом с телегой по обочине. Трава под ногами жесткая и пыльная. В канавах на самом дне покоится подернутая липкой пленкой застоявшаяся вода. Солнце припекает даже через камилавку.

— Далеко еще? — спрашиваю у деда.

— А вон за той деревней, — показывает дед в сторону осиновых зарослей, — видишь, за кустами крыши. За ними еще одна гора, а там, на большом холме, уже и Сусанино.

Смотрю на тележное колесо, окованное железом. Оно по самый обод утопает в горячей пыли. Мутное облачко сначала висит между спицами, а потом долго дымится над проселком, оседая на мои черные брюки и на придорожные лопухи. Колеса, густо смазанные солидолом, не скрипят, но посапывают. Сбруя на потных лошадиных боках елозит, а над лоснящимся хребтом Майки чиркают в раскаленном воздухе слепни да мухи.

Так и едем.

Дед всю дорогу молчит, выкинув над телегой хромую ногу в коричневой тапке.

Бабушка, опустив вожжи, для порядку понукает послушную лошадь и скользит взглядом поверх канавы, будто пересчитывает на обочине бледные васильки и растрепанные дождем и

ветром сиротливые ромашки. А я иду чуть поодаль от них и на-  
свистываю.

В траве на все лады стрекочут кузнечики. Над желтыми лу-  
жами с парной водой беззаботно порхают белые невесомые ба-  
бочки. Над ухом гудит надоедливая, голодная и прилипчивая  
мошкара. Ни ветерка в поле. Ни облачка на небе.

— Бовулька! — Позвал меня дед. — Иди, что покажу.

Украшенное лиловым бархатом клеверное поле осталось  
позади. Лошадь, почувствовав прохладу, сама ускоряет шаг и чуть  
не вбегает под широкие лапы вековых елей. Плотная тень, как  
влажная марля, благодатно касается моего лица и сразу снимает  
жар с разгоряченных щек.

Я запрыгиваю на телегу и сажусь рядом с дедом на подсте-  
ленную фуфайку.

— Сейчас я покажу тебе часовню, — говорит дед и прижимает  
меня к себе.

Мы выезжаем на поляну. На взгорье под старой берёзой вижу  
маленькую одноглавую церквушку из красного кирпича.

— Вот она, — дед крестится, — видишь, какая красавица! — И  
сразу оживает. — В честь Ивана Сусанина. Помнишь, я тебе рас-  
сказывал, как он царя русского спас. Поляков в болото завёл  
и погиб. Тут дом его и стоял. Деревни давно нет, а память о  
Сусанине жива.

— Дюдь, а где болото, в котором он утонул?

— Не утонул, а погиб, — поправляет меня дед. — Он жизнь от-  
дал, а ты говоришь — утонул. А болото вот за этим лесом как раз  
и будет. Между холмами — в низине.

Часовенка и верно была ладная, как будто из одного камня  
выточенная. С любовью, знать, мастера её строили. Кирпич к  
кирпичу ровно подогнан. Даже наличники на окнах выложены  
узорно.

— Ну вот, скоро уже и прибудем, — подбадривает дед. — Не  
одни мы, внук, на ярмарку едем. С разных сторон народ со-  
бирается. Будет на что посмотреть. А пока погрызи витушку, а  
нет — так ложись на колени и подремли.

Не так скоро, как обещал дед, но часам к одиннадцати утра  
добрались мы до Сусанина. Далеко, однако, возит бабушка по  
первопутку колхозный лен!



## 2.

Столько народу, как здесь, я в жизни своей еще никогда не видел. Оставляем бабушку у телеги, а сами идем осматривать ярмарку.

— Сначала, внук, надо оглядеться, — говорит дед, — и прицениться, и уж только потом свой товар раскладывать.

Дед крепко держит меня за руку. Я кручу головой, но пока ничего, кроме людей, не замечаю. Опущу глаза и вижу, как у земли мелькают, семенят и топчутся на мостовой, мощенной булыжником, десятки ног — в сапогах и в ботинках, в туфлях и в тапках. Подниму глаза и сразу уткнусь взглядом в чью-нибудь спину, а посмотрю чуть повыше — вокруг распаренные лица да вспотевшие затылки. Пыль стоит выше меня и такая густая, что забивает до сухоты нос и до слез разъедает глаза.

Деду с хромой ногой в бестолковой толпе совсем худо, но он правит через неё на удивление уверенно. Я иногда отстаю и наступаю ему на пятки. Тогда он рывком вытаскивает меня из-за спины и снова приставляет рядом с собой. Все куда-то бегут и чего-то ищут. Друг друга задевают и толкают. Что-то через головы кричат и привстают на цыпочки, вытягивают шею и тянут руки. У меня от всего этого даже закружилась голова. А дед вдруг наклоняется ко мне и, как ни в чем не бывало, говорит:

— Ярмарка-то бурлит! Такого народа и я не помню.

Наконец, выходим на край площади. Здесь не так людно и пыльно. Под березой, укрывшись в тень, стоят подводы с разложенными на них товарами. Подходим к крайней.

— С прибытием, Иваныч! — Здороваются дед с мужиком, разделенным до пояса. — Как нынче торговля?

— А никак — только подъехали.

На телеге парами лежат такие же валенки, как и у нас. Было видно, что дед с этим каталем знаком давно, но встречаются они с ним только на ярмарке.

— Уж не знаю, будут ли и брать — в такую-то жару, — вздыхает Иваныч и почесывает загорелой пятерней мокрую волосатую грудь. — На валенки глянешь — и совсем дух испустишь.

— Уж как пойдет, — соглашается дед. — Хороший хозяин и сани летом готовит...

— Так-то оно так. Хоть бы дорогу оправдать и то ладно.



---

Пока дед разговаривает с Иванычем, я гляжу на гудящий под палящим солнцем пестрый ярмарочный улей. И так мне не хочется вновь пробираться сквозь него и дышать пылью. Стоять бы тут в тени под березой, а еще лучше сесть на край телеги, свесить босые ноги и наблюдать, как из засады, за суетливой торговой площадью.

Но вот дед подхватывает мою руку, зажимает её в свою потную ладонь, и мы снова растворяемся в многоликой, по-праздничному веселой и разноголосой толпе...

Бабушка, поджидая нас, заметно нервничает и сходу ругает деда за долгую отлучку. Около нас уже толпится любопытный люд. Дед, не торопясь, распаковывает кули, раскладывает на днище валенки, выставляет грабли, снимает кепку и садится на край телеги, а мы с бабушкой уходим по магазинам.

На ярмарке я немножко пообжился и теперь не чувствую себя среди людей так растерянно, как полчаса назад. Да и сама площадь была не такая уж и большая, какой показалась мне поначалу. Народ тоже вроде как поуспокоился. У телег и у прилавков места хватает всем. К ним можно без труда подойти и рассмотреть привезенные на продажу товары.

Разглядываю те, к которым приценивается бабушка. Она меня не отпускает ни на шаг. Останавливаемся у лотка с пряжей и нитками. Каких цветов тут только нет! Переливаются, как радуга. На соседнем столе желтеют банки с медом. Чуть дальше, но уже на земле стоят ребристыми стопками круглые решета и отливают на солнце отполированными до блеска боками и тоже, как будто медовыми.

У красной стены кирпичного дома белеют рядом деревянные санки. Такие санки, круто загнутые, дед умеет делать сам. И не только санки и лыжи, но и кадки для грибов, и черенки для вил и лопат, и стол раздвижной.

Бабушка идет медленно. Я успеваю краем глаза заглянуть даже в картонные коробки с конфетами. Какие на них красивые фантики! А вот телега, сплошь уставленная новенькими фигурными кринками и глиняными горшками. Одни красноватые, но какие-то сухие и потухшие, а другие покрыты глазурью и празднично блестят на солнце. На телеге они теснятся, как птенцы в гнезде, и кричат во все горло.

Наконец, заходим в магазин, и тут от неожиданности у меня перехватывает дыханье. На полке за спиной у продавца я вижу



резиновые сапоги, такие же блестящие сапоги, как у Кольки. Я с надеждой дергаю бабушку за руку:

– Баб, купи!

Бабушка рукой же и одергивает меня: дескать, подожди, не мешай.

– Баб, купи! – не отступаюсь.

Тогда бабушка строго поглядела на меня и попросила толстую продавщицу показать сапоги.

– Ну-ка, примеряй!

У меня даже сердечко остановилось от счастья и страха. А вдруг не подойдут?

Сапоги у меня в руках. Даже не верится. Какой сладкий запах исходил из красного голенища. Я украдкой ощупывал их потными пальцами. Какие скользкие они снаружи и какие бархатные внутри! Мне показалось, что сапоги, когда я их примерял, поскрипывали с радостью и надеждой, что мы с ними уже никогда не расстанемся.

Слава Богу! Сапоги пришли впору.

На этом ярмарка для меня закончилась. С новыми сапогами мы возвращаемся к деду. Он уже все распродал и сидит на телеге, отгоняя от лица березовой веткой одиноких сытых слепней. Увидев нас, дед оживился.

– С покупкой, милый внук. А ты боялся, что останешься без сапог. На, держи-ка, и мой подарок, – он с улыбкой протягивает мне глиняного петушка. – По дороге волков отгонять будешь.

Я беру с его широкой ладони раскрашенную под петуха игрушку и, радуясь подарку, подношу ко рту и, что есть силы, дую в дырку на хвосте. Раздается сиплый с шипящим воздухом свист.

– Не так, давай покажу – сильней надо. И дырку на боку пальцем прикрывай.

Дед берет петуха и по-мальчишески раздувает спаленные на солнце щеки. У него свист получается чистый и громкий.

– Вот так – пробуй.

Теперь я свищу, как надо, чтобы только успокоить деда.

– Молодец!

Пока мы с дедом свистели, бабушка наскоро прибралась на телеге и, видя, что дед успел с кем-то выпить и изрядно захмелеть, скомандовала:

– Пора домой.

Мы послушно садимся, и бабушка, сердито причмокнув губами, подхлестывает вожжами лошадь.

Обратную дорогу я уже с телеги не слезал, положил под голову пахнущие магазином сапоги и где-то за Сусаниным уснул счастливый у деда на коленях...



## ДОМ

### 1.

Вчера с дедом ходили в Сумароково. Дед выправлял в кontoре какие-то бумаги, и потом мы зашли на хуторе в гости. Дядя Ваня, так зовут хозяина, встретил нас приветливо:

— Проходите, гости дорогие, — кланялся он. — Уж не случилось ли что? Не знаю, на что и подумать. Сам Михаил Семёнович пожаловал. Присаживайтесь, чайку не побрезгуете.

— Не побрезгuem, — оборвал его дед. — Мы по делу к тебе, Иван Павлович. Слышал, ты дом для внука поставил. Правда ли?

— Чистая правда, — засуетился хозяин вокруг самовара, зашуршал углями в жаровне и забрякал о ведро ковшиком. — Стоит, как на картинке. Хочешь поглядеть? Покажу. Да и ты, слышал, Михаил Семёнович, новый дом срубил.

— Рублю Иван Павлович, уже под крышу вывел. И тоже для внука.

— По такому случаю, не грех бы и по стопке выпить, как ты думаешь?

— Выпьем на новоселье.

Иван Павлович поставил самовар и присел к столу. Только теперь я и смог к нему приглядеться. С виду он сухонький и маленький, на голове шапка-ушанка, на подбородке бородавка дряблая, а глаза, как заведённые. Губы синие, как с холода, нос с горбинкой, на шее набухшие жилы. Кожа на пальцах грубая и в трещинах, заперебирал ими по столу, будто костяными.

— Мы с тобой, Михаил Семёнович, еще при царе-батюшке родились, а дети и внуки уже при советской власти. Век один, а в нём у меня уже пять поколений. Я тебя постарше буду. Мой внук уже из армии скоро вернётся, а у тебя, гляжу, еще только к школе готовится. Ходишь в школу-то?

— Нынче пойдёт, — ответил за меня дед.

— У тебя сколько внуков-то?

— Трое.

— А у меня-то, не поверишь — двенадцать. При мне-то, правда, только четверо. Остальные по городам живут. Ты, чай, знаешь, деток-то моих — шестеро их у меня. Нынче мало кто такой оравой похвастается. Вот и у тебя-то всего двое. А я, Михаил Семёнович, так думаю: чем больше семья, тем дружнее. Я и на внуков не пожалуюсь. Спроси, любой из них скажет, что главное в жизни — семья. Вон Петрович, сам с женой в казенной квартире живёт, а рядом дом для сына поставил, а сын в доме жить не хочет. Так и стоит пустой. И уж не первый год. Приедет ли — не знаю. Петрович-то еще надеется, а я думаю, не вернётся, раз городской жизни вкусил. А я уже внука приземляю. Как свадьбу сыграем, так сразу и в дом въедет с молодой хозяйкой. Худо ли так жить, а?

— Это, Иван Павлович, я так понимаю — жить с думой о будущем. Люди-то нынче больше одним днём живут. Все на казенное жильё надеются. А дом-то, Палыч, покажи. Пусть и мой внук посмотрит. Хочу ему тоже дом ставить. Чтобы и он из армии в свою избу вернулся.

— А чай-то как же?

— А чай в другой раз...

Дом мне понравился. Четыре окна по лицу, только без светёлки. Уже и палисадом огорожен. Даже клумбы под окнами разбиты. Только следов на крыльце мало, но скоро в доме появится хозяин.

Всю дорогу дед молчал, а я, когда мы спускались с горы, думал о доме, который мне поставит дед, пока я буду служить в армии. А он обязательно срубит дом. В этом я ничуть не сомневаюсь. Я представил, как введу в него Ленку Семичеву и скажу — будь в нём хозяйкой. Всё так живо представилось, что я запнулся о кочку и чуть не упал.

— Не в небо смотри — под ноги. Не в городе, не по асфальту идёшь.

— А почему люди в город уезжают, — спросил у деда.

— А потому что ума нету, — ответил, недолго думая, дед, — вот и уезжают. Всё легкой жизни ищут, а сами того не поймут, что лёгкой-то она нигде не бывает

А когда мы поднимались в гору, я думал о двенадцати внуках Ивана Павловича. Как, должно быть, им весело, когда они собираются вместе. У меня только брат Слава, да сестрёнка двоюродная — Ленка, но она живёт в Костроме, и потому вижу



---

её редко. Еще приезжает к бабке Жене Наташка, она тоже приходится мне родственницей. Есть и другие двоюродные братья и сестры, это по папиной родне, но они живут далеко, и с ними я ещё ни разу не встречался. И пока не знаю, когда и встретчусь...

## 2.

Утром встал рано, наскорс перекусил и вышел на улицу. Всё лето пробегал вокруг сруба, на котором с утра до вечера сидели плотники, и не заметил, как он неожиданно, будто в один день из-под земли вырос и превратился в красивый дом. Ещё с вечера решил, что утром непременно полюбуюсь на него. Мне перед дедом было стыдно: ведь я так мало проявлял к новой избе интереса. А дед для меня дом-то рубит!

С утра моросит нудный дождь, сеется, как сквозь бабушкино сито, и нет ему конца. Тучи висят над крышами неподвижно и так низко, что, кажется, рыхлыми животами касаются верхушек высоких берез и тополей.

Неуютно и зябко. Нахлобучаю на самые брови выгоревшую до желтизны кепку и, съежившись, сажусь у пруда на осклизшее и уже потемневшее осиновое бревно. Я сижу на нём каждое утро перед тем, как идти к Кольке.

И вдруг в сонной и туманной измороси передо мной, будто по-щучьему веленю, открылся не дом деревенский, а сказочный терем с горницами и светлицами. Теплый, еще неостывший от летней жары, он стоял под кронами темных деревьев и будто готовился вознести в небо и воспарить под облаками над промокшей и скучной землей. Уж не показалось ли новой избе, погруженной в тишину, что её все бросили, и она осталась одна на краю деревни коротать свой непредсказуемый век. У меня такое чувство бывает, когда бабушка ругает деда и грозится уйти из дома.

Я разглядываю еще не украшенный резьбой и не опущенный терем и не скрываю удивления. В погожий день он видится не так, как в день ненастный. Им надо любоваться, когда нет солнца. Сейчас вокруг моросно и серо. А еще тихо — ни привычного стука молотков и звона топоров, ни голосов весёлых плотников, сидящих в раскоряку на шершавых бревнах, ни шороха стружки под бабушкиными граблями, ни надрывного



дедова кашля. Но именно в этих сырых сумерках он излучает тот несказанный свет, от которого и в промозглую погоду становится вокруг радостно и уютно. Хочется подойти к дому и приложить ладошки к теплым ошкуренным венцам, желтым от вытопленного света, вдохнуть медовый запах смолы, мягкой и липкой, и прижаться спиной к торцам брёвен, чтобы почувствовать, как гудят натянутые до звона годовые кольца.

Да, вот он каков – дедов дом! Он и впрямь явился передо мной, как долгожданное чудо!

Солнечные венцы плотно прижались друг к другу, а в пазах между ними топорщатся усы коричневого и жесткого, как проволока, мха. Я помню, как дед расстилал привезенный из леса мох на подволоке для просушки. Тогда он был еще сырым и кудреватым. Да и цвет у него был бледный – болотный.

А сегодня и стекла в окнах кажутся праздничными. Они, как глаза, – живые, синюю наполненные, а в них – томительное ожидание хозяев и многочисленных их гостей. На окнах пока нет наличников, но мы с дедушкой в прикрытине их потихоньку выпиливаем. Дед мне дает и лобзик и не боится, что я вдруг что-то испорчу. Бывает, правда, что и порчу, но дед на меня не сердится. А какая на крыше дранка! Кажется, она нащипана не из дерева, а из лучей восходящего солнца. Даже дождь и тот не может её остудить и приглушить солнечное сиянье.

На крыше уже красуется и печная труба. Она заняла свое почетное место. Но пока над ней не вьётся дымок. Но и дым скоро будет! Как только бабушка затопит печь, и как только в ней заиграет на поленьях ласковое пламя, так и потянемся из трубы легкий дым, торжественно возвещая миру о рождении новой избы и навсегда привязывая её к высокому небу.

Есть в новом доме и светелка с балконом. Дед её сделал для меня. Там, когда вырасту, я буду в теплую погоду спать. Балкон тоже украсим резьбой, и буду я с него гладить рукой верхние листья рябины и тополя.

...Дождь не перестает. Только окрепший ветерок чуть развернулся на небе серые и жидкые облака. Кое-где между ними появились мутноватые проталины, но солнцу через них пока не пробиться. И тут решил я спрятаться от дождя не в бане, в которой прожил целое лето и уже привык к её жжено-кирпичному запаху, а в нашей новой избе. А в ней, признаюсь, я и сам давненько не бывал.



Открываю дверь. Она подается тugo. Еще не отстоялась – сырватая. То ли дело была старая. Косяки сверкали, как отполированные, и порог был надежный – изношенный, как сапоги. Правда, и та дверь тоже скрипела. В избе просторно и пусто. Украшает её одна русская печь. Она еще обсыхает, и потому вся в пятнах – белых и желтых. От неё и запаха-то печного нет, ни разу не топлена. Пахнет кирпичами, глиной и песком да еще ма-хорочным дымом печника дяди Васи из Сумарокова. Пока печь холодная и чужая. Рядом с ней нет еще и полатей. Но пройдет время, привыкну и к ней. Обживусь и полюблю.

Я не знаю, где и как дед с бабушкой расставят мебель, но, вспоминая старую избу, примерно догадываюсь. Там у стены, у бокового окошка, что выходит на пруд, будет стоять наша с дедом железная кровать. Там, в простенке, бабушка установит комод, а рядом с ним на лавке водрузит фикус в кадке и под него задвинет швейную машину «Зингер». Шкаф и шифоньер, сделанные дедом, скорее всего, будут стоять в углу ближе к печке, а к самой печке, конечно, прижмется диван с тугими пружинами. На стенах дед развесит коврики с оленями и фотографии в рамках под стеклом.

На пол, еще не крашенный, бабушка постелет цветные половики, сотканные в старой избе. На окна (насчитал восемь) повесит узорные занавески. Трюмо опять задвинут в угол у нашей кровати.

Круглый стол займет место посередине, а над ним повесим керосиновую лампу с дужками по бокам и зелёной шляпкой, и будет она по вечерам загораться, зазывая в поседки близких и дальних соседей по деревне. Икону с лампадкой бабушка пристроит в углу перед печкой. Да, похоже, всё так и будет. Хотя, может, что-то будет и не так. Но как бы ни было, знаю, что в доме у нас всегда будет чисто, тепло и мирно.

А дед молодец! Обещал к осени срубить дом и к сентябрю поставил. Из него, из дедова дома, я должен был пойти в Сумароковскую школу – в первый класс. Вместе с Колькой Осиповым и Ленкой Семичевой, но родители забирают меня в Иваново. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Не своя воля. Через год папа закончит учебу, и мы снова вернёмся в деревню.

А к школе у меня всё готово. Даже куплены новые блестящие сапоги!..



## БОЛИТ ДУША (вместо послесловия)

1.

Болит душа. Болит...

И не знаю и не ведаю, когда и где успокоится, кем и чем она утешится.

Вблизи у дома ли родного, у знакомых ли с детства берез, у колодца ли с полусгнившим срубом.

Теперь-то знаю, «было бы смирение, тогда был бы внутренний душевный мир». Вот и томится дух от великой скорби, а «бедная душа мечется, точно рыба, выброшенная на берег» (Иоанн Алексеев).

Чувствую, «скоро, скоро промчится земная жизнь! – уже готова каждому человеку вечная мзда его за кратковременную жизнь его, за дела его, за образ жизни его, за чувствования его» (Игнатий Брянчанинов).

Чем старше становлюсь, тем явственнее и глубже осознаю, что «жил как-то легко, ветreno, как бы шутя, как бы веря и не веря вечности, двоякому воздаянию в ней».

Теперь вся моя жизнь, на этот день свершившаяся, наполняется смыслом лишь здесь, на месте дедова дома, где она однажды возвестила миру о своем появлении на свет Божий.

Для меня этот священный миг рожденья остается вечной и непостижимой тайной. Я родился ни где-нибудь, а здесь, в избе деда, которая стояла на древнем холме в деревне Попово в семи километрах от болота, в котором Иван Сусанин, спасая царя и Отечество, погубил врагов Земли Русской.

И этот, а никакой другой лесной уголок стал для меня с пелёнок самым святым, и назван он был моей родиной, и был он незримыми нитями таинственно и смертно связан со всей Землей-Матушкой. Именно здесь, выйдя из лона матери Алевтины, я уже через её род и род моего отца Валентина был воссоединен на земле и со всем родом человеческим, и со всем Божиим на ней творением.



Может, и о моей душе сокрушался святитель Игнатий Брянчанинов, когда взывал к своим современникам: «Бедная душа человеческая! Как совершишь ты путь по морю житейскому? Как спасешься от волн, от ветров, от подводных камней, от разбойников, от плена, от смерти? Не иначе как Христом». Но некому, да и не позволено было на душе моей «изобразить портрет Христов, сообщить ей сходство с её первообразом». Некому было приступить к «живописи духовной», а ведь тогда душа, «как чистое, новое полотно» была приготовлена «для этой живописи и способна была принять на себя всё – и самые тончайшие черты, самые нежные краски и оттенки». Кто показал бы тогда мне душу грешника, чтобы я увидел и содрогнулся, как «она нечиста, осквернена, расстроена, унижена и безнадежна!» (Иоанн Златоуст).

Но оказалось «легче преодолеть земное притяжение на пути к космосу, чем на пути, показанному нам праведниками к человеку, до которого пять веков назад было гораздо ближе, чем теперь» (Валентин Распутин). Подспудно я, конечно, всегда хотел «иметь ясное, прозрачное, целостное восприятие мира и растить бескорыстную мысль – чтобы под старость можно было сказать, что в жизни взято всё лучшее, что усвоено в мире, все наиболее достойное и прекрасное. И что совесть не замарана сором, к которому так льнут люди и который, после того, как страсть прошла, оставляет грубое отвращение» (Павел Флоренский).

Внушала мне бабушка, что «в заповедях – истина и смиление, в заповедях – любовь и Дух Святой» (Игнатий Брянчанинов).

Вроде, в миру жил и «старался исполнять свое дело добросовестно, на которое был поставлен Божиим Промыслом», и вёл он меня в вечную жизнь не иноком, а «мирской супружеской жизнью», но, наверно, не всегда «жил семейной жизнью ради Христа». Не зря Святой Исаак Сирин сказал: «Мир – листец и обманщик»; и поймешь это только тогда, когда будешь отходить в вечность», но я жил и помнил, что «не мудрее Соломона, не кротче святого пророка Давида и не ревностнее святого апостола Петра» (Иоанн Алексеев). Знал, что никогда «душа моя не подойдет к совершенству духа, когда становится она вся светом, вся – оком. Вся – духом, вся – радостью. Вся – успокоением, вся – ликованием. Вся – любовию, вся – милосердием, вся – добротою и кротостию» (Павел Флоренский).



---

«Божие, – говорят отцы, – приходит само собою, когда ты не ожидаешь его. Так! Но если место чисто, а не осквернено».

Вот и езжу я на родину для очищения от скверны. Родина для меня и по прошествии лет, пусть и прожитых вдали от неё, остаётся той божественной ипостасью, через любовь к которой я познал, может быть, самое главное в своей жизни. Познал ту, выражаясь словами Сергея Булгакова, «не кричащую, благородную скромность и правду, высшую красоту и благородство целомудрия, материнскую тихость и ласковость».

Только здесь, где я шаг за шагом открывал Божий мир, пытаясь заглянуть за горизонт, манящий в иные – неземные пределы, я мог видеть и «сны небесные», и слышать усталое дыхание земли, и вспоминать о «потерянном рае, о той надмирной обители, откуда мы все пришли».

Только здесь с молоком матери впитал, а через молитвы бабушки, обращенные к Господу, и через землю, принявшую меня, прочувствовал и духовным зрением увидел внутри себя неизреченный «образ невидного и обаятельного в задушевности своей пейзажа русского, русской души. В нём наши ржи и васильки, берёзы и зеркальность вод, ласточки и кресты, и несравнимое ни с чем благоухание России. Всё – взведенное к предельной легкости, чистоте» (Борис Зайцев).

Потому и возвращаюсь я сюда всякий раз, когда у меня болит душа, возвращаюсь на горькое пепелище уже пустынного холма, чтобы побывать наедине с благословенной и светоносной родиной...

...Здесь она и проклонулась – душа моя, как листочек из набухшей почки, и после крещения в Соболевской церкви принял её к берегу Ангел небесный, посланный ко мне Вседержителем. Так мне полушепотом, как будто по большому секрету, объяснила бабушка Анна, когда я чуть подрос и спросил у неё об иконе, висевшей в углу над фикусом. И помню, сразу я почувствовал Ангела рядом, у себя за плечом, и, кажется, не раз даже видел его воздушный, едва уловимый лик и белые, отливающие атласным шелком, бесшумные за спиной крылья.

Это теперь я понимаю, как часто Ангел предостерегал меня от беды и сколько раз спасал от разных искушений и от сблазнов.

Могу вслед за святителем Игнатием Брянчаниновым с горечью признаться, что «не раз я видел полное оскудение



---

помощи человеческой; не раз был предаваем лютости тяжких обстоятельств; не раз я находился во власти врагов моих. Видя многие волны, через которые преплыла душа моя, видя опасные места, через которые перенеслась ладья моя, радуюсь невольно. По соображению человеческому, погибнуть давно бы надо. Уверяюсь, что вел меня странными и трудными стезями непостижимый Промысел Божий».

Так и есть. И это правда.

И один ли я так живу на земле? Один ли ищу беспрестанно правды о жизни человеческой и выхода к ней, ищу и не нахожу? Один ли я ныне «обеспокоен нравственно»?

Нет, не один.

«В русском человеке всегда жили и живут «неутолимая жажда Правды и нетленная красота души» (Иван Шмелев).

А красота душевная, по словам Иоанна Златоуста, «всегда цветет, никогда не увядает, она не боится никакой перемены: ни наступившая старость не наводит морщин, ни приключившаяся болезнь не заставляет увядать, ни беспокойная забота не вредит ей, – она выше этого».

Что касается правды, то она, как я теперь понимаю, «растет в человеке вместе с верой и открывается по мере мужания души, не вредя ей, а только укрепляя и вооружая её, готовя к прозрению трезвых и ясных путей и самой души, и человеческой истории» (Валентин Курбатов).

## 2.

«Душа наша потому называется душою, что она дышит духом Божиим, т.е. она так называется от Духа животворящего...», – пишет Иоанн Кронштадтский.

Значит, душа моя от Христа. Потому, может, так властно жизнь, спеша обрести смысл, и возвращает меня, с детства отлученного от Бога, к спасительной христианской идеи. Она и не оставляла меня никогда, дожидаясь своего времени, чтобы приподнять меня над повседневной суетой и придать смысл моему земному существованию.

Она примерялась ко мне и к моим возможностям, чтобы не возложить на меня такую ношу, которая окажется мне не по силам.

Она, эта христианская идея, «доступная, по мысли Петра Яковлевича Чаадаева, всякому разумному существу, сочетаясь с каждым биением нашего сердца, о чём бы оно ни было», увлекает за собою, и самые препятствия, встречаемые ею, помогают ей расти и крепнуть.

С гением она поднимается на высоту, недосягаемую для остальных людей; С робким духом она движется ощупью и идет вперед мерным шагом; В созерцательном уме она безусловна и глубока; В душе, подвластной воображению, она воздушна и богата образами; В нежном и любящем сердце она разрешается в милосердие и любовь;

И каждое сознание, отдавшееся ей, она властно ведет вперед, наполняя его жаром, ясностью и силой».

Но душа по-прежнему остается для меня тайной. Я, наверно, еще не вышел в жизни на ту дорогу, на которой смог бы понять и «догадаться, что всё, что случилось в мире, – случилось с тобой и ради тебя, и живо только в тебе» (Валентин Курбатов).

### 3.

Кто только не пытался постичь душу и заглянуть в неё! «Измерить бы и вывесить душу» (Игнатий Брянчанинов).

Кто не пытался найти её разгадку! А она, как была тайной, таковой и остается. Она бездонна.

А душа и есть человек.

Как живёт человек, так и душа себя чувствует, она есть сила свободная – «может сделаться или доброю, или злую силою. Смотря по тому, какое ты сам задашь ей направление».

Если жизнь суетна, а у многих она такая и есть, то «напрасно пропадают дни жития нашего для вечности». Мы, сами того не осознавая, относимся к жизни как к «детской игре», только игра эта у нас «не невинная, а греховная, потому что, при крепком уме и познаниях цели своей жизни, мы небрежем об этой цели и занимаемся делами пустыми, бесцельными...»

Нет, «не для играний – человек на земле! Не для играний! И никто так не опасен для нас, как мы сами» (Игнатий Брянчанинов).

Нет, настоящая жизнь – это и, правда, не шутка, это мы сами бездумно превратили её в игрушку и каждый день «легкомысленно играем временем, данным для приготовления



к вечности, играем праздными словами. Все любим жизнь, хлопочем о счастливой жизни, а у самих жизнь тлеет в страстях. Отчего? Оттого, что не там, где надо, ищем жизни...» (Иоанн Кронштадтский).

«Человек есть тайна, ее надо разгадать, и ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» (Фёдор Достоевский). А Николай Васильевич Гоголь клялся, утверждая, что «человек стоит того, чтоб его рассматривать с большим любопытством, нежели фабрику и развалину».

«Среди предметов необъятного мироздания вижу и себя – человека. Кто я? Откуда и для чего являюсь на земле? Какая вообще цель моего существования? Какая причина и цель моей земной жизни, этого странствования, краткого в сравнении с вечностью, продолжительного и утомительного в отношении к самому себе? – повторял вечные вопросы святитель Игнатий Брянчанинов и для себя на них отвечал так: – тайна – человек – отверзается в степени, доступной и нужной для нас».

Душа моя, да и душа каждого человека мучительно «ищет истинной жизни, сродной себе пищи, пиши уму – истины, сердцу – покоя и блаженства, воле – нормального направления или законности». Человеку трудно и неестественно жить «без веры в свою душу и в её бессмертие» (Фёдор Достоевский)

#### 4.

Читаю русских поэтов и писателей, философов и богословов, труды святителей и жития святых, делаю выписки о «загадочной» русской душе, чтобы через озарения, посетившие их, уж если не войти в её таинственное пространство, то хотя бы почувствовать его и с ним соприкоснуться.

Гоголь тоже всю жизнь искал «ключ к своей собственной душе», чтобы, найдя его, «отпирать» чужие души, и всю жизнь он стремился достичь и взойти «именно на ту ступень состояния душевного», на которой он мог бы больше «сделать пользы России».

Как актуально звучат слова Гоголя, которые он обращал еще к своим современникам, когда замечал что «у многих честных и даже весьма умных людей зародилась близорукая мысль, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать

для России, и будто они ей уже не нужны совсем». Напротив, писатель с болью взывал к каждому, «кто русский и кому дорога честь земли русской», тот должен становиться в ряды «противу неприятелей спасать родную землю, потому что неправда велика и много опозорила».

Он тогда уже, говоря о России, чувствовал, что «душа в ней болит, и раздаётся крик её душевной болезни». Гоголь, как никто другой, знал и понимал, «что такое для русского Россия».

Потому, может, и кружит душа моя, как птица раненая, у разоренного гнезда, у пруда, заросшего осокой, над тихой проселочной дорогой. То опустится на корявую ветку высохшего клена, то взмоет ввысь – в испуге иль в отчаянье? Иной раз будто слышу я, «как утешительно перекликаются со мною многие души среди таинственной ночи мира сего с различных стран своих: иная с одра болезни, другая из изгнания, иная с берегу Волхова, иная с берегу Двины, иная с поля Бородинского, иная из хижины, иная из дворца царского» (Игнатий Брянчанинов).

А бывает, замкнётся линией горизонта пространство её метаний и бьётся она, обреченная, о небо, как о стекло, не в силах вырваться за его пределы и насладиться свободой.

Бьётся она – то затихая обессиленной, то окрылённо взрываюсь. Чего ищет она? Кого оплакивает? Дом ли, испепелённый огнём, стихи ли, изреченные навзрыд, песню ли, до конца недопетую?

Не знаю, чего она ищет? Не ведаю, кого она оплакивает? Себя, грешную, наверное...

Только чувствую я, как осенней порой, когда поднимаются с болот журавлиные стаи и оглашают притихшую в покорном смиренье округу прощальным своим курлыканьем, душа моя, как будто воскресая, устремляется вслед за этим печальными птицами, улетающими на юг – в неведомые, но манящие с детства края.

Устремляется, словно верит, что там, за горизонтом, она откроет другой мир, полный добра и света, мир, и похожий и непохожий на тот, который так дорог и близок. Устремляется, словно надеется, что там, на чужой сторонке, найдет она – и желанное ей успокоение и обретет потерянный в жизни покой.

И вот, словно песня однажды поднимется она в поднебесье и, сверкнув опереньем, растает в вечернем сумраке, позолоченном лучами заходящего вечного солнца...



На фото слева направо:

Это и есть тот самый дом, который дед Михаил строил для внука – с балконом и светёлкой. Для оконных наличников выпиливал узоры и я. Перед окнами – тополь, акация, черёмуха, рябина, берёзы и клён.

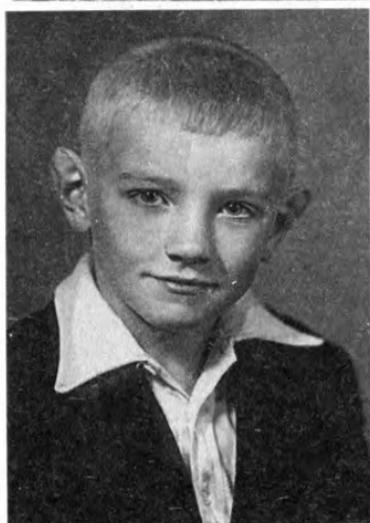
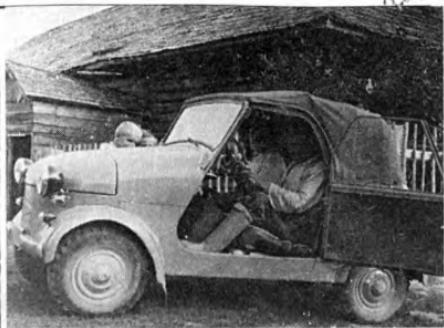
На месте сгоревшего дома и поставили ученики Сумароковской школы знак моего в нём проживания. Рядом окно старого дома. Мама, папа и я. Мама, Александра Михайловна (Соколова) в молодости. Это фото сделал тот мастер, о котором я пишу в рассказе «Путешествие к фотографу». Дед Михаил был одно время лесником и ходил в форменной одежде, которую я очень любил.



На фото слева направо:

Судя по всему, фотография сделана в праздничный день. Из Попова только мы с дедом (крайние слева), здесь мой дядя Валентин с женой Ниной Павловной и моей двоюродной сестрой Леной (крайние справа).

Я на велосипеде «Орлёнок». Дед Михаил в парадной форме лесника. Папа с мамой в Сумарокове. Папа тоже часто носил флотский бушлат.



На фото слева направо:  
Отдых после прогулки в лес – племянница бабушки Анны – Алла из Ленинграда, однодеревенцы – Анатолий Куликов и Сергей Семичев. Единственная частная машина на всю округу, принадлежала мужу-инвалиду сестры моего деда Екатерины Семёновны.

На колхозном празднике (вторая справа – мама). Эти праздники – конец посевной и окончание уборочной страды – любили не только взрослые, но и мы, школьники (каждую осень выходили вязать снопы).

Мой портрет, сделанный в начальной школе.



На фото слева направо:

В школьном походе у часовни Ивана Сусанина (пять километров от Сумарокова). Мы любили путешествовать по родному краю. На скамейке у колхозной конторы: крайний слева папа крайний справа – дед Михаил. Рядом с ним ветеринар – Николай Михайлович Смирнов из Соломинки – соседней деревни.

На посильную колхозную работу мы выходили уже в начальной школе. Крайняя справа Тамара Мошкова из Попова.



На фото слева направо:  
Мой брат Слава (справа) с Юрий Виноградовым. Застолье по поводу приезда внука – бабушка Анна, дед Михаил. Я в отцовской бескозырке. Наша семья жила в Сумарокове. Папа работал директором совхоза.

Виды села Сумарокова. Развалины Никольской церкви с колокольней. Сосна, а за ней – собор в честь иконы Божьей Матери-Скоропослушницы Свято-Троицкого монастыря – в своё время одного из процветающих монастырей Костромской епархии.

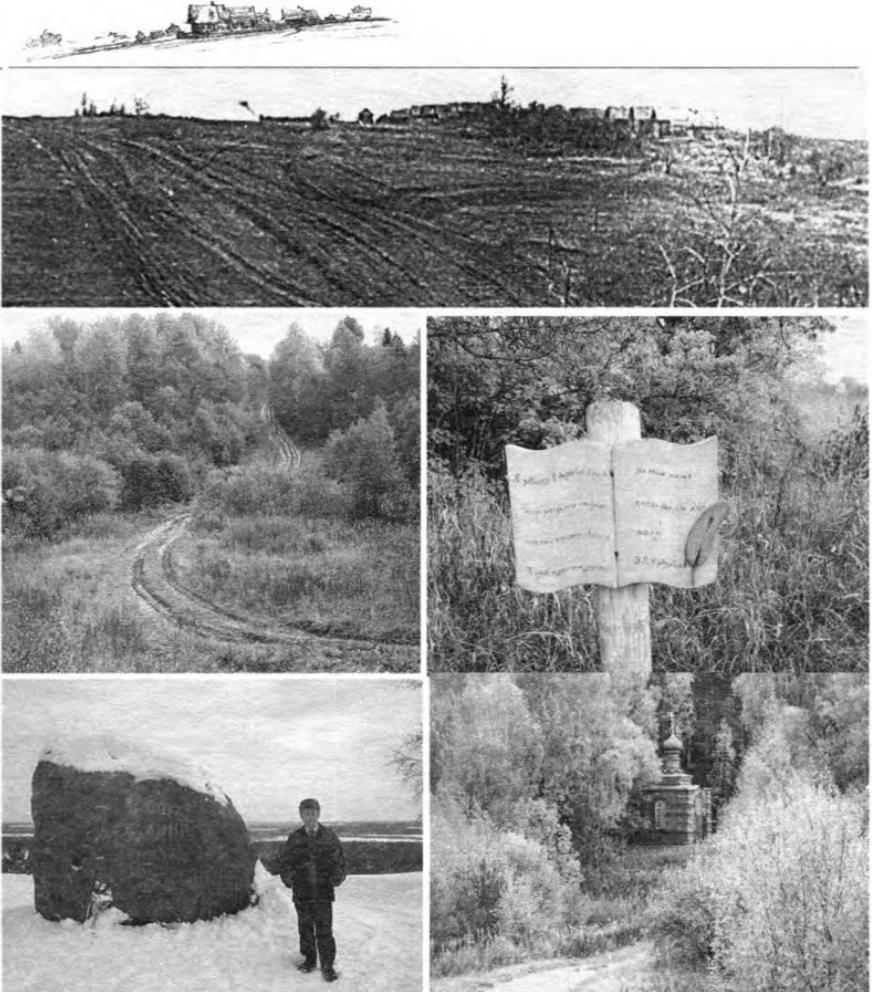


Фото слева направо:

Вид на холм и деревню Попово с сумароковской «горы». Дорога с холма на холм с вечно разбитым мостом. По весне низину заливало водой. Знак установили ученики Сумароковской школы. На нём надпись:

Я родился в деревне Попово,  
Здесь родная моя сторона,  
Если что и осталось святого  
В этой жизни – так это она.

На этом месте стоял дом, где жил поэт В.В.Кудрявцев.

Папа у памятного камня, на котором выбито «Иван Сусанин. 1613». За камнем открывается былинный вид легендарного болота. Отсюда до Попова семь километров. Часовня в память о герое-земляке построена на месте бывшей деревни Деревеньки, в которой жил Иван Сусанин.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

НА РОДНОМ ПЕПЕЛИЩЕ. Предисловие.....	6
<b>ОСЕНЬ</b>	
День рождения .....	48
Дед Михаил.....	58
Бабушка Анна .....	76
Колька .....	93
Овин .....	104
Убийство хуторянки .....	115
<b>ЗИМА</b>	
В зимовке .....	129
Ночь в Шелках .....	143
Печка .....	155
Пожар .....	163
Поседки .....	172
Путешествие к фотографу .....	185
<b>ВЕСНА</b>	
Март .....	196
Масленица .....	203
Чудо .....	211
Баня .....	216
Подснежники .....	226
Водополь .....	233
В делянке .....	239
Смерть прабабушки .....	247
Лесное эхо .....	257
Плотники .....	263
<b>ЛЕТО</b>	
Июльский полдень .....	274
Пастушня .....	278
Гроза .....	286
Сенокос .....	289
Кинопередвижка .....	297
Ильин день .....	305
Свадьба .....	318
Страна Залесье .....	323
Ярмарка .....	326
Дом .....	333
БОЛИТ ДУША. Послесловие .....	338

**Литературно-художественное издание**

**Владимир Валентинович Кудрявцев**

**СТРАНА ЗАЛЕСЬЕ**

**РАССКАЗЫ О ДЕТСТВЕ**

Корректор – О. Алексеева

Компьютерная вёрстка – М. Сорокина

В оформлении книги использованы фотоработы Сергея Бутусова  
и фотографии из семейного архива.

Отпечатано в ООО ПФ «Полиграф-Книга»  
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.  
Тел.: (8172) 72-55-31, 72-61-75  
Заказ № 264. Тираж 300 экз.